ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

АЛЬМАНАХ

ОДЕССКИЙ

30

ОДЕССА, 2007

ББК 84(4Укр-4Оде-2Од)63-47я430+63.3,014(4Укр-4Оде-2Од)63я430
Д 362
УДК 821.161.2'06=161.1(477.74-21)-92(082.1)+908(477.74-21)(09)"452.2"

Д 362 Дерибасовская — Ришельевская: Одесский альманах (сб.) / кн. 30 Всемирн. клуб одесситов: Сост.: Ф.Д. Кохрихт, Е.М. Голубовский, О.И. Губарь. — Одесса: "Печатный дом", 2007. — 320 с.

ISBN 966-8099-99-0

Д $\frac{4702640204}{2004}$ $\frac{0503020902}{2004}$

Редактор Феликс Кохрихт
Редколлегия: Евгений Голубовский (заместитель редактора)
Олег Губарь

Редакционный совет:
Виталий Амурский (Париж), Андрей Добролюбский, Игорь Коваль, Татьяна Липтуга, Игорь Померанцев (Прага), Аркадий Львов (Нью-Йорк), Александр Мардань, Юрий Стоянов (Санкт-Петербург), Михаил Рашковецкий, Нелли Харченко (Берлин), Кармелла Цепколенко.
Фото:
Вячеслав Теняков, Иван Череватенко, Олег Владимирский.

Editor Felix Kokhrikht
Editorial board: Yevgeniy Golubovsky (deputy editor)
Oleg Gubar

Editorial council:
Vitaliy Amoursky (Paris), Andrey Dobrolyubskiy, Igor Koval, Tatyana Liptuga, Igor Pomerantsev (Prague), Arkadiy Lvov (New York), Alexander Mardan, Yuriy Stoyanov (St. Petersburg), Mikhail Rashkovetsky, Nelly Kharchenko (Berlin), Karmella Tsepkolenko.
Photos by:
Viacheslav Teniakov, Ivan Cherevatenko, Oleg Vladimirskiy

ISBN 966-8099-99-0
© Авторство художественных текстов, 2007

От редакции

Читатель, ты держишь в руках тридцатый номер нашего альманаха "Дерибасовская – Ришельевская" и разделяешь с нами скромную радость и, вероятно, суетную гордость. И все же – у нас есть на то определенные основания. По заверениям авторитетных знатоков издательского дела, это своеобразный рекорд. Были до нас альманахи и журналы, может, и поинтереснее, и повеселее (смотри постоянную рубрику "Наши предшественники"), но никто в Одессе за все 213 лет ее (нашей!) истории не выходил столь долго и регулярно.

Спасибо тем, кто стоял у истоков нашего издания, чьими тщаниями оно выходит, авторам и тебе, читатель, ибо без тебя наша деятельность потеряла бы малейший смысл.

Дерибасовская, Ришельевская – кто только не пересекал эти улицы в разных направлениях и в разное время... В доме Рено жил Пушкин – наше Всё... В его одесской онегинской главе – первый портрет юного города. С проницательностью гения поэт подметил разноязычный, интернациональный, карнавальный характер наших предков, их стремление к общению. Он назвал наши улицы "веселыми"!

Спустя много лет эту же особенность одесского менталитета, образа жизни жителей южного города вспоминал выдающийся ученый и гуманист академик Лихачев, проживший в детстве несколько лет в Одессе. В предыдущем номере альманаха мы цитировали Дмитрия Сергеевича: "Одесская культура располагает к уличной жизни... к общению, к легкости знакомств". И вот – новое тому подтверждение, и тоже от выдающегося человека – сценариста ("Мимино", "Не горюй!", "Кин-дза-дза"), режиссера, скульптора, художника Резо Габриадзе. На встрече во Всемирном клубе одесситов он говорил о многолетней душевной связи с нашим городом. С немногословностью и образностью истинного таланта Резо сказал: "По Одессе гуляют тихо...". И первым эту краткость и точность оценил Михаил Жванецкий...

Еще один член клуба – Анатолий Контуш (выпускник Одесского университета, ныне – профессор, работающий в Париже, писатель, автор нашего альманаха), – продолжая тему городской топонимики, рассказал о том, что в столице Франции есть Одесская улица. Она находится на Монмартре – в районе поэтов и художников. Здесь расположены кафе, турецкая баня, носящие имя нашего города, и даже китайский ресторан "Одесское счастье"...

Эта улица, подчеркнул Анатолий, характеризуется особым, свободолюбивым и творческим духом своих обитателей... И мы единодушно пришли к выводу: а разве могло быть иначе – при таком-то имени! Даже в Париже!



На памятник Бабелю — всем миром

И еще раз одесситы всех стран должны подтвердить, что они объединены любовью к родному городу.

По инициативе Всемирного клуба одесситов началась реализация проекта, включающего конкурс, а затем и сооружение в Одессе памятника писателю, который во многих странах мира и для многих миллионов людей олицетворяет собой Одессу, как и Оперный театр, Воронцовский маяк, Потемкинская лестница...

Много раз я говорил и решусь повторить это вновь: не Одесса научила Бабеля говорить, а писатель научил город яркой и образной речи.

Сразу же нужно подчеркнуть, что многие горожане, городские власти поддержали инициативу Всемирного клуба одесситов. Уже открыты гривневый и валютный счета, начали поступать деньги. Первые взносы сделали депутат Одесского горсовета Борис Литвак, автор этих строк, а также главный раввин Одессы и Одесской области Шломо Бакшт. Это было в день презентации счетов в клубе. А затем тоненьким ручейком деньги начали поступать ежедневно. Принес свой вклад приехавший в родной город президент Всемирного клуба одесситов Михаил Жванецкий. Заходят в клуб незнакомые люди и оставляют от сотен долларов до десятка гривен. И пока они рассматривают книжную полку клуба, пьют кофе, секретарь клуба Галина Любарская переходит дорогу, оформляет деньги в банке и вручает дарителям сертификаты, удостоверяющие их взнос.

Пока еще остается много вопросов. Когда будет разработан проект международного конкурса на лучший эскиз памятника, кто войдет в жюри, где будет установлен памятник... Но все эти вопросы решатся, как только будут собраны первые 100000 гривен — сумма, необходимая для объявления конкурса открытым. Верится, что это произойдет в 2007 году. А в 2010, в год 70-летия гибели великого писателя, в нашем городе будет установлен памятник Исааку Эммануиловичу Бабелю, автору "Одесских рассказов" и "Конармии", пьес "Закат" и "Мария"...

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

Реквизиты для перечисления средств в гривнах:

Банк ГУГКУ в Одесской области
МФО 828011
Код ЕГРПОУ 23862106
Счет 31519931700002
Получатель УГК в г. Одессе
Код бюджетной классификации 50110000 "Целевой фонд Одесского городского совета"
Назначение платежа:
Финансовая помощь на сооружение памятника И.Э. Бабелю

Реквизиты для перечисления валютных средств в долларах США:

Correspondent bank:
SWIFT Code IRVT US 3N
Bank of New York, New York USA
Account # 890 0341 629
Beneficiary's bank:
SWIFT Code NADRUAUX
Bank Nadra Odessa Branch
Beneficiary: In favour of Odessa Financial Department
Account 25456002366501
Purpose of payment:
Financial assistance in erecting the monument to Babel I.E.

Реквизиты для перечисления валютных средств в евро:

Correspondent Bank:
SWIFT Code COBA DE FF
Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
Account # 400/8868606/01
Beneficiary's bank:
SWIFT Code NADRUAUX
Bank Nadra Odessa Branch
Beneficiary: In favour of Odessa Financial Department
Account 25456002366501
Purpose of payment:
Financial assistance in erecting the monument to Babel I.E.



Александр ТРЕТЬЯК

Граф Рошешуар

От редакции. В этом году издательство "Optimum" предполагает выпустить новую книгу Александра Третьяка "Юная Одесса и Северное Причерноморье в воспоминаниях графа Рошешуара". С любезного разрешения автора и издательства мы публикуем одну из частей этой работы, посвященной Одессе.



Граф Рошешуар

Есть много красивых и привлекательных европейских городов, и Рошешуару удалось увидеть немало из них. Но Одесса навсегда осталась для него, и далеко не только для него, самым лучшим и прекрасным. В чем состояла эта феноменальная привлекательность Одессы XIX века, объяснить практически невозможно. Но факт остается фактом. Для огромного количества русских, украинцев, французов, поляков, итальянцев, испанцев, немцев, греков, евреев, болгар и еще представителей десятков других национальностей, которым пришлось прожить хотя бы несколько лет в городе, Одесса становилась родной и любимой навсегда. Это поразительное пристрастие к юному городу на берегу Черного моря вряд ли поддается какому-то логическому объяснению. Вероятно, что именно дух созидательности, возможность увидеть собственными глазами, как в считанные годы в малозаселенной степи возникает первоклассный европейский город, и создавало это неповторимое очарование Одессы, где кипела подлинная жизнь, не признававшая лжи экономических и социальных условностей.

В разных местах своих мемуаров и писем Рошешуар оставил крайне любопытные зарисовки быта первого поколения одесситов, к которому, разумеется, относился и он сам. Эти заметки тем более занимательны, что описывают именно то время, когда и создавался фундамент неповторимого уклада жизни Одессы. Естественно, что в центре всех реалий культурной и хозяйственной жизни города находились люди, масштаб которых

и определял уровень умственного и экономического бытия. А в данном отношении можно смело утверждать: Одессе повезло необыкновенно.

Великая революция во Франции, опустошившая все внутренние ресурсы страны, перебросила свой всепожирающий огонь на соседние регионы. Ни в одном уголке Западной и Центральной Европы люди, даже весьма далекие от политики и войны, не могли чувствовать себя в безопасности. Отсутствие стабильности в настоящем и уверенности в будущем в конечном итоге приводило их к мысли о поиске более устойчивого положения в других местах. Северное Причерноморье в этом отношении представлялось многим едва ли не раем земным. И дело вовсе не в том, что здесь было легче жить и надо было меньше трудиться для этого. Напротив. Чтобы поднимать целинные земли и заводить практически с нуля новые предприятия, требовались колоссальные усилия. Но сколь много значит для нормального человеческого уклада уверенность в том, что завтра в твою деревню или город не войдет кучка солдатни и не ограбит твой дом!

Невзирая на молодость, Рошешуар, за плечами которого уже был значительный жизненный опыт, мог со всей полнотой осознавать как преимущества, так и очарование жизни в Одессе. Вместе с тем нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что Одесса являла собой не только наиболее динамично развивавшийся город Европы, но она стала и одним из самых дешевых в чисто бытовом смысле. Кстати, таковым она оставалась на протяжении всего XIX века. Так, Леон Рошешуар беспристрастно зафиксировал в своих мемуарах: "Жизнь в Одессе была очень дешева: в мясной лавке мясо, отменного качества, стоило три су за фунт (парижский фунт — 489,5 г. — **А. Т.**); Черное море предоставляло рыбу в изобилии; степи в избытке давали дичь, овощи и фрукты привозились из Крыма, края, который имел в этом отношении очень высокую и заслуженную репутацию; позднее сад, созданный в Одессе под моим наблюдением, стал обильно приносить продукты для нашего потребления; вина Франции и Испании приходили без какой-либо оплаты таможенной пошлины".

Касаясь бытовых вопросов, заметим, что сам Ришелье был весьма непритязательным человеком. Учитывая его высокое положение, когда от его воли зависели судьбы тысяч людей на огромном пространстве Новороссийского края от Кавказских гор до причерноморских степей, он всегда оставался скромным, но исполненным истинного благородства правителем. Для герцога не существовали сословные препоны. Нужды простых горожан, купцов, ремесленников, крестьян, матросов и т. д. были для него

так же важны, как и выполнение задач высшей государственной важности. Любой житель города мог запросто вступить с ним в беседу по волнующему его вопросу и получить дельный совет или помощь. По поводу какого-то мздоимства либо злоупотребления властью даже тени подозрения не могло быть. И хотелось им этого или нет, но все чиновники, находившиеся в его подчинении, должны были следовать этим правилам поведения. Рошешуар достаточно точно отметил эту формулу в своих записках:

"Я был очень молод, окруженный людьми, буквально обхаживающими меня в качестве племянника генерал-губернатора, ищущими мою протекцию, и пытаясь приобрести ее, делавшими мне предложения по оказанию любых услуг. Какое искушение этим воспользоваться, и даже злоупотребить! Если бы перед моими глазами постоянно не было образа самой строгой порядочности, соединенной с истинным бескорыстием!"

В качестве второго адъютанта Ришелье Леон занимался хозяйственными вопросами. Но помимо забот по дому и загородному саду, известному ныне как Дюковский парк, герцог возложил на него целый ряд других обязанностей: контроль над строительством тротуаров, работы по благоустройству города, посадка зеленых насаждений, организация морских купален, которые стали привлекать значительное количество иностранцев, администрирование казино и т. п. Однако самым приятным заданием для молодого человека стала организация театра и салона для бальных танцев.

Меркантилист по экономическим воззрениям, герцог Ришелье был убежден, что Одесса должна быть обустроена по образцам лучших европейских городов, дабы привлекать сюда и иностранных купцов, и помещиков близлежащих и удаленных губерний. Превратив свой товар в деньги, купец или помещик должен был получить возможность приобрести в городе то, что у себя дома он снискать никак не мог. Касалось ли это предметов роскоши, элегантных модных платьев и шляпок, выписанных из лучших европейских салонов, возможности увидеть театральное действо, доступное до этого разве что узкому кругу в обеих столицах, испробовать вкусную заморскую еду в ресторациях — неважно. Главное, что деньги возвращались косвенным путем все в ту же городскую инфраструктуру, давая новый виток для ее развития. Жить в таком городе было и приятно, и удобно.

Деловая жизнь города буквально кипела. И все же рискнем утверждать — не она определила своеобразие Одессы, вернее, не только она. Когда в середине XIX века приезжавшие в город наблюдатели не без удивления для себя отмечали, что здесь даже извозчики насвистывают арии из модных итальянских опер, то это было сущей правдой. Ибо еще тогда, когда городу

едва исполнилось десять лет от рождения, а количество его жителей не превышало восьми тысяч, Ришелье принял решение о строительстве городского театра, который мог бы вмещать более тысячи зрителей. И это не было гигантоманией, но здравым расчетом одесского градоначальника.

Музыкальность подлинной Одессы, ее органичное восприятие изящных искусств, включая архитектуру и беллетристику, все начиналось именно тогда, в начале позапрошлого века. И в этом отношении свидетельства Рошешуара, стоявшего у истоков этого неповторимого явления в мировой культуре, приобретают особый интерес. Приведем некоторые из них:

"Зал театра, большого здания с элегантной архитектурой, имел три ряда лож, амфитеатр, как в Парижской опере, и партер. Первые представления были даны польскими актерами; вскоре прибыли итальянские и, наконец, балетная труппа. Главный распорядитель императорского двора, обновляя гардероб Большого театра в Петербурге, послал нам комплект костюмов, бывших в употреблении, но еще весьма презентабельных. Для того чтобы использовать их, были составлены две любительские труппы — одна французская, а другая итальянская; я принимал участие в обеих, и не без успеха. Я пел и играл на итальянском языке так, что никто не мог заподозрить во мне иностранное происхождение. Наша моло-



дая французская прима была дочерью Леонарда, знаменитого куафера королевы Марии-Антуанетты; она управляла в Одессе модным магазином, в чем ей помогали две французские девушки; все три весьма выгодно вышли замуж благодаря своему отменному поведению".

Не менее занимательными были для Леона балы и маскарады. Вообще, в ранней истории Одессы итальянское влияние было, пожалуй, наиболее существенным, особенно в увеселениях и развлечениях. Так, к примеру, Рошешуар описывает одно из карнавальных празднеств в Одессе:

"Вслед за клубом офицеров, гражданских служащих, или консульского корпуса, было построено танцевальное помещение, называемое бальным залом. Французский купец г-н Сикар был президентом этого клуба, а меня сделали распорядителем бального зала. Очень красивые маскарады были организованы при содействии нескольких итальянцев, людьми весьма сведущими в вопросах развлечений и празднеств. По случаю "жирного воскресенья" они представили весьма оригинальное представление: по условленному сигналу с двух противоположных дверей в бальный зал вошли два волшебника, взгромоздившиеся на ходули; шесть одетых в белое пажей и шесть облаченных в черное развернули огромный ковер, представляющий собой гигантскую шахматную доску. Под звуки фанфар двери распахнулись, и в одной из них показался черный король, державший под руку королеву того же цвета. За ними следовали два офицера, два кавалериста, две туры и восемь пешек, или солдат, также в черном, занявшие соответственное место на шахматной доске, тогда как параллельная армия, но одетая в белое, вошла с противоположной двери и расположилась лицом против первого войска. Два волшебника вживую разыграли шахматную партию. Своими волшебными палочками они дотрагивались до фигур своего цвета, которые маневрировали согласно правилам. После развития, атак, защит и захватов одному из королей был объявлен шах и мат. Это представление имело очень большой успех, который оно заслуживало и за свою оригинальность, и за безупречное исполнение. Русские, как и все восточные люди, большие любители шахмат, были восхищены. Вечер закончился прелестным балом".

Для молодого француза жизнь в Одессе была воплощением мечты. И единственное, о чем он сожалел на склоне своих лет, было то, что это прекрасное время не могло продлиться навсегда. Здесь он чувствовал себя как рыба в воде — общество очаровательных дам, значительный круг умных и тонко чувствующих знакомых, за плечами которых был огромный жизненный опыт, приобретенный во всех уголках земли, постоянное

ощущение новизны, поразительная деловая активность, не заслонявшая, однако, вкус к чувственному и изящному. Это ли не предел желаний для любого нормального человека, чьи первоначальные годы прошли в атмосфере перманентных интриг, грязи, предательств и ненависти. И Леон в полной мере мог по достоинству оценить и прочувствовать это новое для себя состояние.



Герцог Ришелье

Порой ему приходилось пускаться на маленькие хитрости, чтобы совместить непосредственные служебные обязанности с безудержным желанием быть в центре общественных развлечений. Так однажды в Одессу прибыл младший брат лорда Атчинсона, того самого, который командовал английской армией еще в период египетского похода 1798-1799 гг. Направляясь из Константинополя сухопутным путем, английский джентльмен испросил в Бухаресте у командующего русской армии графа Ланжерона паспорт и рекомендательное письмо к герцогу Ришелье, дабы самолично осмотреть вновь рожденный город, с тем чтобы — не без сарказма добавляет Рошешуар — "установить торговые отношения, цель всех англичан". Как и всех гостей, Ришелье принял англичанина радушно, приглашая ежедневно за свой стол. Однажды за обедом речь зашла о штурме Очакова в 1788 г., и англичанин выразил желание увидеть те достославные места сражения, в котором его старший брат принимал участие в качестве волонтера русской армии, а потому очень часто рассказывал ему об этих событиях. "Нет ничего проще, — воскликнул Ришелье, мой племянник завтра же отвезет вас туда". Это простое, и при любых других обстоятельствах даже приятное задание, едва не стало причиной душевной травмы для Рошешуара. Дело в том, что на вечер следующего дня был запланирован костюмированный бал, и открывать его должен был именно Леон полонезом в паре с очаровательной Аникой Филипеско.

Выехав рано утром в Очаков в открытой коляске, чтобы таким образом иметь возможность лицезреть местный ландшафт, Рошешуар со

своим спутником двигались по дороге вдоль побережья. У Леона крутилась в голове только одна мысль — каким образом ускорить эту ненавистную ему поездку, но, естественно, не обидеть при этом английского джентльмена. И вдруг его осенило. Дело было в середине декабря, и проезжая мимо красивой лагуны, он нарочито вздохнул, сожалея о конце купального сезона, добавив, что готов спорить на десять гиней, что никто не рискнул бы искупаться в море в такой дикий холод. Англичанин попался на удочку и тут же заключил пари. Пока попутчик Рошешуара купался, их кучер беспрестанно крестился, приговаривая по-русски: "Это, конечно, именно окаянный пытается гасить огонь ада, который его растрачивает".

Через полчаса спутники были уже в Очакове. Продрогший после морской ванны до костей англичанин несколько отошел, откушав горячего чая с ромом, но интерес к обозрению местности у него явно понизился. Ограничившись ускоренным осмотром развалин бывшей Очаковской крепости, где, по сути, ничего уже почти и не осталось, они вернулись в Одессу. Вечером, как и планировалось, Леон вместе с прелестной Аникой Филипеско открыли бал. Он потерял десять гиней, но что стоит золото для юноши по сравнению с полученными им минутами упоительного наслаждения от роскошного танцевального вечера!

Одесса, как, впрочем, и весь Новороссийский край, аккумулировала в себе десятки национальных культур, каждая из которых, в свою очередь, в той или иной степени обогащала ее самобытность новой гранью формировавшегося жизненного уклада. В городе царила атмосфера дружелюбия, без тени намека на ксенофобию или сословную неприязнь. Здесь людей оценивали по их деловым и личным качествам, а не по праву и месту рождения. Более того, и это можно утверждать смело, для первой половины XIX столетия Одесса была наименее криминогенным городом империи, где воровство, бандитизм и разбой пресекались на корню как собственно жителями, так и властями. Ибо вести широкомасштабные торговые отношения в атмосфере мошенничества практически невозможно. В свою очередь, горожане, чей доход на душу населения был самым высоким в Восточной Европе, включая Москву и Санкт-Петербург, являлись людьми ответственными. Человек, обладающий имуществом, не будет вести себя безрассудно и глядеть на жизнь, как лакей в замочную скважину. Свобода — вот суть альфа и омега юной Одессы, не знавшей ни рабского уклада, ни крепостничества.

В числе одесских знакомых Рошешуара было немало любопытных личностей. О некоторых из них Леон поведал в своих мемуарах: "Поль-

зуясь случаем, представлю читателю официальный бомонд, так называемый консульский корпус, и одесское общество.

Генеральный консул Франции: г-н Мюре, весьма храбрый человек, состарившийся на консульской службе в Леванте. Был женат на очень красивой гречанке, от которой у него была дочь. Эмигранты, мы находились при встрече с ним в деликатной ситуации; между тем мы всегда имели способ налаживать наши взаимоотношения.

Генеральный консул Англии: г-н Джеймс, родился в России, женился на немке, родившейся в Петербурге. Хорошо образованный и приятный, имел дочь и сына, высоко ценимые в нашем обществе.

Консул Испании: г-н Дулайс дель Кастильо, прелестный человек во всех отношениях, допущенный в интимный круг нашего дома, остававшийся всю свою жизнь преданным герцогу Ришелье; у меня будет возможность в дальнейшем достаточно часто говорить о нем; дополнительно он управлял также консульством королевства Обеих Сицилий.

Генеральный консул Австрии: г-н Том, родом венгр, человек для лучших компаний, женат на польке, превосходной музыкантше; имел очень большой дом, я был близко связан с двумя его дочерьми. Он рассказал одну историю, быть может, несколько легкого свойства, но уж очень комическая, героем которой был его отец; для целомудренных ушей просьба не слушать: "Г-н Том, отец, был губернатором небольшого австрийского городка, расположенного на турецкой границе. Однажды армия, возглавляемая самим Великим визирем, угрожала захватом. Глубокое огорчение из-за невозможности сопротивляться было всеобщим. Населению была понятна предстоящая участь: город разграблен, женщины проданы в качестве рабынь на невольничьих рынках Стамбула, мужчины перебиты... Г-н Том попробовал успокоить жителей; он легко говорил на турецком языке, вдобавок длительное пребывание в Константинополе позволило ему изучить мусульманские обычаи:

— Дайте мне карт-бланш, — сказал он им, — имитируйте все, что делаю я, не говоря ничего, что бы ни случилось, и, я надеюсь, вы выйдете из этой ужасной ситуации; вы передадите через самых знатных своих представителей подарки от вашего имени.

Пока собирали подарки, г-н Том подготавливал комплиментарную речь Мустафе. Городские ворота были открыты, Великому визирю были предоставлены самые лучшие апартаменты; депутация представилась, оратор превзошел самого себя; все, казалось бы, шло наилучшим образом, когда Великий визирь, повернувшись к г-ну Тому, сказал ему:

— Ты говоришь слишком хорошо на нашем языке, не являешься ли ты одним из тех изменников, которые оставили Пророка, чтобы следовать за христианскими собаками?

— Я бедный христианин, длительное пребывание в Стамбуле позволило мне выучить ваш язык и узнать ваши обычаи.

Видимо, этот ответ не убедил Великого визиря, и г-н Том добавил:

— Вот дополнительное доказательство этому. Все мусульмане подвержены обрезанию: посмотри, я не был!

Приблизившись, он продемонстрировал доказательство своим словам. Сорок нотаблей, составлявших делегацию, верные полученному наставлению "Имитируйте все, что делаю я", расположились вокруг Мустафы и, снимая с себя одновременно одежду, продемонстрировали доказательства своих христианских качеств. Посреди этого столь странного и холодящего кровь актерам представления Великий визирь разразился хохотом; он был обезоружен, а город спасен".

Из своих одесских знакомых Рошешуар особо выделяет несколько человек, чьи имена вписаны в раннюю летопись Одессы золотыми буквами. Это, прежде всего, его соотечественник, бывший марсельский купец Сикар, переселившийся в Одессу в 1805 году и запечатлевший ее раннюю летопись в своих знаменитых письмах, опубликованных на французском и русском языках. Затруднительно говорить с достоверностью, но, вероятно, Сикар был первым одесским купцом, чье состояние оценивалось более чем в миллион рублей. Впрочем, это право вполне мог оспорить и соотечественник Рошешуара купец Раймонд, который, как и Сикар, получил право на поставки продовольствия и амуниции в русскую армию. А ведь был еще маркиз Кастельно, чья документальная трехтомная работа "История Новороссийского края" вдохновила великого Байрона на написание трех глав в "Дон Жуане", где главным героем выводился герцог Ришелье.

И все же центральной фигурой одесских знакомых Рошешуара стал его коллега, ставший с 1808 года третьим адъютантом Ришелье, Иван Александрович Стемпковский. В парижском Национальном архиве в фонде Рошешуара хранятся письма Стемпковского графу Рошешуару, датированные преимущественно временем после 1812 года, то есть тогда, когда Леон покинул Одессу, став участником войны 1812-1814 гг. в качестве адъютанта Александра I, а затем заняв пост коменданта Парижа в период царствования Людовика XVIII. Эти письма, а их сотни, не только представляют собой доказательство постоянного жадного внимания

Рошешуара ко всем событиям, происходившим в Одессе после его отъезда, но и дают нам целую энциклопедию жизни города вплоть до смерти полковника Стемпковского в 1831 г. А ведь речь идет о великом ученом, по сути, основателе археологических изысканий в Северном Причерноморье и инициаторе открытия музеев древностей в Одессе и Керчи, ставших первыми в Российской империи. Между прочим, именно Стемпковский унаследовал имущество Ришелье в Одессе, предназначавшееся вначале Рошешуару, и именно он подарил городу столь любимый герцогом сад, взлелеянный трудами Рошешуара.



Олег ГУБАРЬ

Пассаж
(Дерибасовская, № 33, Преображенская, № 34)

Продолжаем серию публикаций, посвященных традициям градостроительства, архитектуры, риэлторства Одессы и связанным с ними общественным бытом. Неизменный спонсор этой рубрики, агентство недвижимости "Капитал", уже 11-й год плодотворно работает на отечественном рынке недвижимости. Настоящее публикация посвящена одному из самых приметных архитектурных раритетов – Пассажу.

Известнейший историко-архитектурный комплекс, нынешний Пассаж, пережил в своей эволюции три основные стадии. О ранней его истории, а точнее, предыстории, сохранились прелюбопытные документы в Государственном архиве Одесской области. Первый из них — обстоятельная запись в "Крепостной книге Одесского коммерческого суда". Из нее мы узнаем, что 3 марта 1822 года одесский купец первой гильдии Михаил Антонович Крамарев купил два дома в VI квартале, места №№ 54, 57 и 58, у доверенных лиц, представляющих наследниц покойного владельца статского советника Федора Петровича Бенкена. Доверенными лицами выступали мужья дочерей последнего, Елены и Марии, полковник Охотского пехотного полка Василий Тимофеевич Соловкин и подполковник 31-го егерского полка Петр Степанович Лишин.

Вероятно, брат Бенкена, Клосс (Клодт?), который значился тогда комиссионером 8 класса (одно время он служил смотрителем местного военного госпиталя), и его супруга Констанция Антоновна упоминаются в архивном деле 1808 года как владельцы участков в Малом переулке и по вновь проектируемой улице, впоследствии получившей название Надежная, Надеждинская и, наконец, Гоголя. Впрочем, это может быть одно и то же лицо, ибо современные означенным событиям писари нередко воспроизводили иноязычные имена и фамилии довольно приблизительно, что, случается, можно проверить, если оригинальные подписи самих просителей латиницей разборчивы. Еще раз комиссионер 8 класса Бенкен упоминается как владелец участка, отведенного 4 мая 1811 года и впоследствии переданного коллежской советнице Каролине Бларамберг, супруге небезызвестного пушкинского знакомца, основателя одесского музея древностей.

В свою очередь, Ф.П. Бенкен приобрел один из перешедших к Крамаре-

вым домов "по купчей от жены умершего придворного метрдотеля Ивана Бертена Марии" 16 июня 1811 года, а второй — у коммерции советника Ивана (Жана) Рено 16 марта 1812 года. Из прошения, поданного этим последним в Строительный комитет 12 февраля 1812 года, впрочем, видно, что и тот, в свою очередь, приобрел дом на местах №№ 57-58 у коллежского асессора Андрияша, который на момент подачи этого прошения уже имеет чин надворного советника. Что говорит о некоторой давности означенной покупки, однако это не могло произойти ранее 1801-1802 годов, ибо А.А. Скальковский фиксирует: "Недавно переселившийся в Одессу коммерции советник Иван Рено получил от русского правительства позволение принять на себя звание агента коммерции (то есть консула) Французской республики в Одессе и других черноморских портах (указ 3-го июля 1802 года)". Во всяком случае, изначально, в ходе межевания города, оные места были отведены инженерной командой некоему капитану Беляку.

Оба дома куплены Крамаревым за 23 тысячи рублей государственными ассигнациями, а габариты их таковы: "По площади к дому купца Хаджи Мими (по Преображенской в сторону Греческой. — **О. Г.**) — тридцать семь с половиною, а по Рыбасовой улице — тридцать саженей и два аршина". Старинный греческий род Мими и упомянутый дом, которым они владели многие десятилетия, начиная с 1810-го, хорошо известны в региональной истории. В метрических книгах греческой Свято-Троицкой церкви есть запись о кончине Ефимии Хаджиевны Мими, двухлетней дочери Хаджи Мими, последовавшей 24 мая 1822 года. После смерти хозяина, в 1824 году, дом отошел к его супруге Марфе и сыну Николаю Мими.

Другие архивные документы, относящиеся к этим домам, хранятся в фонде Одесского строительного комитета. 20 февраля 1825 года М.А. Крамарев подает в этот комитет прошение на выдачу ему открытого листа, то есть владельческой квитанции на выстроенные на указанных участках домостроения. Через два дня, после положенной процедуры освидетельствования, архитектор Ф.К. Боффо докладывает, что строения соответствуют заведомо утвержденному комитетом плану, и 26 февраля Крамарев получает открытый лист. В новом доме Крамарева вскоре обосновался магазин мод г-жи Гейдеман. Через несколько лет, а именно 22 мая 1830 года, Городовой магистрат в лице бургомистра Якова Тихова запрашивает Строительный комитет о свидетельстве на оные дома Крамарева, вероятно, в связи с оценкой и раскладкой налога с недвижимости в городскую казну.

На плане города, составленном архитектором Г.И. Торичелли в 1828 году, конфигурация всех флигелей отлично просматривается. Они зани-

мали большую часть нынешнего квартала по Преображенской и весь квартал от Дерибасовской до Колодезного переулка (с 1830 года). На пересечении Преображенской и Греческой располагались два флигеля упоминавшегося греческого семейства Мими: меньший, угловой, где теперь казино "Мираж", а за ним, торцом к Преображенской, — другой, в форме клюшки. А далее, в направлении Дерибасовской, — два симметричных, почти равновеликих, в форме угольника, флигеля, а между ними проезд в обширный двор. Во дворе помещался еще один двухэтажный флигель, прямоугольный в плане и параллельный фасадным. Со стороны Дерибасовской эта часть комплекса замыкалась еще одним домом, по красной линии, разобщенным с угловым другим въездом в тот же двор.

Если сравнить план 1828 года с более ранним, 1814 года, то отчетливо видно, что конфигурация строений на участках №№ 54, 57 и 58 изменилась: так, например, появился фасадный флигель со стороны Преображенской, построенный до момента выдачи Крамареву открытого листа, то есть не позднее начала февраля 1825 года. Сроки строительства можно уточнить, если учесть, что после покупки Крамаревым двух домов они некоторое время сдавались в аренду под различные заведения. Скажем, в 1822-м и первой половине 1823 года знаменитый Цезарь Отон содержал здесь кухмистерский стол и выражал желание завести гостиницу. Вскоре, однако, он перебазировался в дом Рено в начале Ришельевской, где открыл ресторацию при существовавшей там гостинице, и, судя по всему, именно по причине начавшейся перестройки зданий. Очень может быть, что Пушкин бывал у Отона в доме Крамарева еще до окончательного переезда в Одессу летом 1823-го, в ходе предыдущих вояжей из Кишинева.

Вторая часть принадлежавших Крамареву строений (Дерибасовская, № 31) образовывала в плане прямоугольник, обращенный длинной стороной к Дерибасовской, а короткой — к Колодезному переулку, и имела въезд во двор со стороны первой. Это были места №№ 55 и 56 в том же VI квартале, купленные летом 1830 года. Прежде места и дома на них принадлежали наследникам поручика Сильвестра Дельсасова (итальянского происхождения, del Sasso) и его жены Марии, а первым владельцем при межевании города значится прапорщик Клаудерист. Занимательно, что подпись Сильвестра дель Сассо мы находим под письмом членов Одесского магистрата к императору Павлу от 8 февраля 1800 года, приложенным к знаменитому подношению — 3000 отборных померанцев. Дель Сассо был попечителем сооружения католического храма, что характеризует его как авторитетного прихожанина. В его доме, к слову, в середине 1820-х

помещалось заведение французского булочника Луи Николаса, приготовлявшего знаменитые "франзоли". Оная недвижимость поступила в публичную продажу по решению Одесского коммерческого суда уже в начале 1828 года и была оценена в 25.500 рублей государственными ассигнациям, принося ежегодно 2.670 рублей. По ряду причин торги затянулись. На этом месте Крамарев на общий с супругой Анисьей капитал выстроили новый дом, освидетельствованный Г.И. Торичелли, который, судя по всему, и составил проект фасада, 19 октября 1837 года. Дворовые постройки дома № 31 были тоже двухэтажными и сохранились по сию пору! Оба въезда с Дерибасовской — как в доме № 31, так и в доме № 33, — в ходе этой перестройки ликвидировали.

Домовладелец Михаил Антонович Крамарев был человеком весьма известным и уважаемым в Одессе 1810-1830-х годов. Купец первой гильдии, один из директоров Одесской конторы Государственного коммерческого банка от купечества, член совета Приказа общественного призрения, попечитель Городской больницы, во время чумной эпидемии — один из деятельнейших комиссаров, сотрудник Строительного комитета, Крамарев пользовался огромным авторитетом и влиянием, скажем, выступал оценщиком недвижимости, исполнял обязанности думского казначея и проч. Созданный им торговый дом упоминается еще в реестре крупных коммерческих фирм эпохи Ришелье.

А теперь — совершенно авантюрный сюжет в духе современных телесериалов. Во втором томе очерков быта старой Одессы А.М. де Рибаса, недавно изданном Одесской государственной научной библиотекой имени М. Горького, сообщается удивительная история о Крамареве, каковая, вероятно, могла произойти только в юном приморском городе. По словам Александра Михайловича, солиднейший негоциант на поверку оказался беглым крепостным! И вот однажды его признал бывший хозяин, крупный землевладелец (то ли Шереметьев, то ли Бахметьев), приехавший в Одессу по каким-то торговым делам или просто для развлечения и "морских купаний". Помещик этот, что называется, "сделал скандал" и потребовал возвращения беглеца. Формулировка "за давностью лет" тогда не работала, и возник юридический казус. С одной стороны, мы имеем заслуженного гражданина, а с другой — личную собственность помещика.

А вот разрешение этой коллизии в пересказе де Рибаса выглядит несколько анекдотическим. Он говорит, что самодур помещик согласился все забыть и простить, если Крамарев, надев простое крестьянское платье, проедет с ним по городу на запятках его кареты в первозданном качестве

дворового человека, лакея. И что именно так оно и получилось, то есть немолодой уже купец первой гильдии вынужден был принять это предложение, за что получил "вольную", но, будучи посрамленным, сильно захворал, а потом и преставился. Как было на самом деле, сказать трудно. Полагаю, что вся история основательно "отредактирована". В молодой Одессе некоторые беглые действительно составляли головокружительную, буквально фантастическую карьеру. На первых порах отдельных из них уличали и возвращали назад. Но едва ли такое было возможно во второй половине 1830-х, тем более что всемогущий М.С. Воронцов в таких случаях всегда умел постоять за своих и уладить дело миром. Кроме того, в Государственном архиве Одесской области сохранилось немало собственноручно написанных Крамаревым деловых бумаг, из которых видно, что был он человеком довольно образованным, а это как-то не вяжется с биографией беглого крепостного.

И еще один красноречивый факт. Согласно архивным документам, Крамарев причислен в одесское третьей гильдии купечество 26 ноября 1803 года. Рассказанная же де Рибасом история может относиться ко времени, отстоящему от этой даты почти на 35 лет! Трудно поверить, что в подобной ситуации вообще возможно "опознание".

Упомянутая история как-то не состыкуется и со следующим эпизодом биографии семейства Крамаревых. Как раз тогда, когда Михаил Антонович приобрел дома на Преображенской и Дерибасовской (ему также принадлежало несколько лавок на Греческом базаре), греческие купцы, получив соответствующее разрешение, заложили тут же, на Александровской (Греческой, Северной) площади, Сретенскую церковь. Возведенный до цоколя, этот храм по ряду причин, прежде всего, материальных, достроен не был. В 1833 году неоконченная постройка была продана с торгов М.А. Крамареву, который обязался довести дело до конца, однако это ему было не суждено: в 1838 году он ушел из жизни. В 1839 году цокольный этаж разобрали (позднее на его месте свои дома построил близкий к Воронцову чиновник А.И. Маюров), а в 1842-м его вдова на свои средства развернула сооружение Сретенского храма на площади Нового базара, каковой храм благополучно освятили в 1847-м.

Но вернемся к домам Крамарева. Тот, что по Преображенской и Дерибасовской, — один из самых лучших, а судя по материальной оценке, и вовсе самый лучший в Одессе тех времен: построенный в духе русского классицизма, с пилястрами по фасаду, самый протяженный, двухэтажный, на высоком цоколе. Как достопримечательность дом Крамарева по-

казывали Николаю I в ходе визита императора в Южную Пальмиру — тут как раз проходила первая Одесская выставка, демонстрировавшая российскому монарху "народные достижения" города и края под руководством Воронцова в 1823-1837 годах. Несколько отделов обширной экспозиции занимали, понятно, много места. В естественнонаучном отделе экспонировались, например, строительные материалы: все типы известняка ("дикарь", "плитняк", "штучный камень"), местные и бахмутские глины, черепица заводов генерала Лехнера и полковника Третеского. Выставлялась флористическая коллекция Новороссии и Бессарабии, в том числе гербарий профессора Ришельевского лицея и директора местного ботанического сада А.Д. Нордмана, семена полевых и садовых растений, садовые плоды, собрания насекомых "и особо саранчи в разных ее возрастах", работы таксидермистов.

В другой части экспозиции можно было видеть производимую в крае шерсть тонкорунных овец, шелк (один из производителей — "майор де Рибас"), пух ангорских коз, канаты и шпагаты (Новикова, Плотникова, Афанасия и Ивана Мешковых), искусственные минеральные воды, ликеры, наливки, ром (ром производил один из первых жителей Одессы — коллежский советник Гамалея), сало, свечи и мыло Санценбахера, крахмал Пишона, макароны Жюльена и Розетти, сигары, нюхательный табак и проч. В ремесленном отделе экспонировались слесарные изделия немецких мастеров Ангерта, Гутьяра, Риппа и Виса, столовые приборы ювелира Дютфуа, стол с виньетками известных исторических персонажей Гавриленко, люстра художника Ковшарова, эполеты Вишневецкого, корсеты Цеткиной и др.

В числе технических новинок презентовались изобретения известного ученого и инженера Жюста Гаюи: "насос, употребляемый для приготовления минеральных вод", ручная мельница, модель установки для бурения гидрогеологических скважин, "сеносжимательный пресс". В художественном отделе выставили многочисленные произведения искусства: картины Бокаччини, Валентини, Ваникина, Контини, Михайлова, "два портрета работы госпожи Гаюи", рисунки Боссоли, литографии Кленова, "картины, шитые шерстью", "ящик из кораллов", ювелирные изделия (Лардон, Сантамария, Розегутта), музыкальные инструменты (Гааз), часы, оптику, мебель (Коклен) и даже "конфектную пирамиду кондитерской Замбрини". Короче говоря, дом Крамарева был и в самом деле грандиозным сооружением в масштабах Одессы тех давних лет. Между прочим, тут квартировали и давали уроки живописи профессиональные портретисты Андрей

и Александр Гинц, исполнявшие и миниатюрные портреты, в том числе и монтирующиеся в кулоны и брегеты.

Как видно из сохранившихся гравюр и литографий, упоминавшийся проезд между двумя флигелями дома со стороны Спасо-Преображенского собора был ликвидирован, и его заменил парадный вход, украшенный классическим фронтоном с шестью колоннами. Жилье здесь считалось чрезвычайно престижным. В доме Крамарева квартировал "брат милый", Лёвушка Пушкин, служивший чиновником в одесской портовой таможне. В свою очередь, в гости к нему приходили представители интеллектуальной элиты города, именитые приезжие. Как свидетельствуют мемуаристы, Николай Васильевич Гоголь "не раз приходил" ко "Льву Сергеевичу в дом Крамаревой, на Дерибасовской".

Но мы говорим уже о второй половине 1840-х — начале 1850-х годов, а задолго до этого, еще при жизни М.А. Крамарева, в первые месяцы 1832 года тут обосновалась одна из старейших и заслуженных в городе аптек — немецкого фармацевта Карла Вильберга. Здесь можно было приобрести не только медикаменты, в том числе гомеопатические, но и косметические товары, а также семена, доставляемые из знаменитой "Петровской аптеки" в Лубнах, из Крыма и т. д. В начале 1840 года аптека на долгие годы перешла в ведение другого фармацевта из Германии — Генриха Кохлера, который, между прочим, числится в энциклопедии русского масонства. Кохлер именовал свое заведение не иначе как Фармацевтическим магазином, в котором, кстати, тоже можно было найти не только традиционные аптечные товары и косметику, но, например, "чернила, нарочно для стальных перьев". Зубная паста, именовавшаяся "зубным тестом", появилась у Кохлера впервые в Одессе, в середине 1860-х: коробочка стоила по тем временам не так уж мало — 1 рубль. Он же первым снабжал одесситов патриархальными дезодорантами.

В 1867-м аптекарский магазин Кохлера перешел к новым владельцам, известнейшим в дальнейшем содержателям отдельных собственных аптек — Кестнеру и Пискорскому. Помимо фармацевтических материалов они реализовывали "химические препараты, снаряды и предметы для фотографии". Что касается бывшего владельца, то он целиком занялся парфюмерией и оставил за собой косметический магазин все в том же доме Крамаревой. В начале 1870-х, когда хозяевами дома были уже Синицыны, Г. Кохлера сменил Ф. Залесский, продержавшийся тоже довольно долго. Вот объявление его заведения 1872-1873 годов:

"*Депо разных заграничных косметических товаров Ф. ЗАЛЕССКОГО, на углу Дерибасовской и Преображенской ул., в доме Синицыной, в Одессе.*

Пудра, помада, душистые масла, духи, мыло, туалетный уксус, краски, фиксатуары, сухие и жидкие белила, кольд-крем, крем для бритья, амбре, колонская вода, курительные свечи, курительный порошок и прочие и т. п. вещи для туалета, из фабрик: "Виолет", "Любен", "Легрант", "Желе фрер", "Сосиете Гижиеник", "Доктора Перье" и проч. в Париже и "Бейлэй и К", "Аткинскон и Римеля" в Лондоне.

Вновь открытый магазин галантерейных принадлежностей с огромным выбором ДЕТСКИХ ИГРУШЕК лучших русских и иностранных фабрик. Магазин помещается рядом с косметическим магазином".

В середине 1870-х Кохлер вновь возвращает себе аптекарский магазин. Аптеки и косметические магазины традиционно базировались в этом доме вплоть до самого строительства Пассажа в конце 1890-х, о чем будет сказано ниже, здесь же квартировали городские и вольнопрактикующие врачи. Однако с первых десятилетий XIX века тут помещались и другие заведения и институции. Так, во второй половине 1830-х — 1840-х годах в доме Крамарева находилась одна из лучших виноторговых фирм — Ивана Иснара, действительного члена Общества сельского хозяйства Южной России, выдающегося садовода, виноградаря и винодела, владельца завода шампанских вин — первого в Одессе, выкупленного им у графа Льва Нарышкина. Не следует думать, однако, будто здесь реализовывались исключительно вина: четкая специализированная торговля появилась позднее, а тогда (10 апреля 1837 года) в "Одесском вестнике" можно было прочитать, например, следующее: "В магазине купца Иснара, на де-Рибасовой улице, в доме Крамарева, продаются по сходной цене свежие семена сахарной свекловицы". Позднее сюда, уже в "дом генеральши Синицыной", переехал с Греческого базара огромный бакалейный магазин Ильи Пано:

"Магазин снабжен самым богатым выбором всякого рода бакалеи, — сообщает реклама, — как русского, так и заграничного производства. Господа потребители найдут в нем по самым умеренным ценам хороший чай, табак, заграничные и крымские вина, всевозможных сортов консервы лучших заграничных фабрик, местные и заграничные фрукты и проч. Заказы для иногородних как в большом, так и в малом количестве исполняются добросовестно и аккуратно".

Крайне любопытно, что летом 1873 года в дом Синицыной перебралась знаменитая кондитерская Евгения Замбрини — вход помещался со стороны Дерибасовской. Тогда же, в 1870-х, в доме на углу Преображенской и Дерибасовской находилась Контора нотариуса Одесского округ-

ного суда, известного юриста В.О. Половинского. 9 октября 1876 года здесь открылась библиотека Максимова и Бортневского (впоследствии — Дубецкого), одна из лучших в городе. В разные годы тут помещались Земская управа, Цензурный комитет, Одесская уездная земская управа и прочие казенные учреждения.

Но поговорим о смене владельцев: сначала в 1840-е, а затем — в начале 1870-х.

Как видно, например, из реестра домам и прочим строениям, подлежащим полупроцентному сбору в доход города с 1848 года, два больших флигеля угольной формы, впоследствии соединенные парадным входом, о которых говорилось выше, принадлежат уже разным владельцам. Угловой, граничащий с Дерибасовской, — "жене коммерции советника Крамарева", упоминавшейся Анисье, а следующий, по Преображенской — "коллежской асессорше Анне Синицыной", каковую впоследствии именуют уже "генеральшей". Часть дома, принадлежащая Крамаревой, оценена в 44 тысячи рублей серебром, а вторая, доставшаяся Синицыной, — в 38.600 рублей. Как это можно объяснить?

В числе сотрудников Одесской конторы Государственного коммерческого банка первой половины и середины 1830-х годов помимо М.А. Крамарева мы находим и "директора от правительства" — чиновника 5-го класса и кавалера Ивана Пахомовича Синицына. Сын его, чиновник 9-го класса Андрей Иванович, служил в том же учреждении бухгалтером. Синицын-младший впоследствии сделал карьеру, дослужившись до старшего директора этого банка в чине коллежского советника. Другой сын, Дмитрий Иванович, действительный статский советник, в 1860-е был председателем в Комитете иностранной цензуры и обитал в доме Крамаревых. А потому и выходит, что супруга его автоматически повышала свой социальный статус. Совершенно очевидно, что семейства Крамаревых и Синицыных просто-напросто породнились посредством брачных уз. В середине 1850-х Синицыным принадлежал уже и весь комплекс строений по улице Дерибасовской, № 31, впоследствии купленный у них видным предпринимателем и общественным деятелем А.М. Бродским, а далее — и дом по Дерибасовской, № 33.

К слову, много лет спустя владелицу дома на углу Дерибасовской и Преображенской, Синицыну, принуждали уплачивать дополнительный налог в городскую казну за то, якобы, что колоннада со стороны Преображенской — как бы несанкционированный заступ на городскую землю. На самом же деле, по словам муниципальной газеты, "дом ее существует

уже около 50 лет, построен по утвержденному правительством плану и фасаду, возведен и укреплен на колоннадах, служит украшением центра города, от начала своего существования никакими выступами не увеличивался". Оценка этого домостроения сначала выросла до 62 тысяч, а в начале 1879-х — до 75 тысяч, а это автоматически означало 20-процентное увеличение налога по недвижимости.

В первом выпуске "Трудов Одесского статистического комитета" (1865) имеется перечень городских колодцев, составленный в 1861 году, из которого видно, что в доме "почетной гражданки Крамаревой" на Дерибасовской улице эксплуатируется самый глубокий в 1-й части колодец — в 23 сажени! В том же томе есть и реестр мин (подземных выработок типа катакомб) под жилыми домами. Так вот здесь мы находим и две мины с одним ответвлением под домом Синицыной на Дерибасовской и еще две мины с четырьмя ответвлениями под домом Крамаревой на Преображенской. Мины эти были довольно обширными и использовались как складские помещения.

В 1870-1880-х бакалейную торговлю в доме Синицыной представлял роскошный гастроном М.П. Полинова: "Товары лучшего качества, цены умеренные, заказы господ иногородних покупателей по требованиям высылаются немедленно и аккуратно". В середине 1870-х он реализовывал, например, лучшее отечественное шампанское, так называемое "ланинское": "РУССКОЕ ШАМПАНСКОЕ Н. ЛАНИНА. Похвальный отзыв. Медали: 1852, 1860, 1864, 1865, 1869, 1870, 1871 годов. Продается в бакалейных магазинах М. Полинова, Дерибасовская ул., д. Сницыной, и Полицейская ул., д. Бернштейна". Любители более крепких напитков тоже не были обойдены вниманием рачительного хозяина: "ВАРШАВСКИЕ ВОДКИ получены и продаются в магазинах М.П. Полинова". Этот видный "гастрономист", между прочим, жертвовал самые изысканные продукты в пользу российских волонтеров, сражавшихся в Сербии в 1876 году.

Тут же помещался "Склад всех сортов бумаг, галантерейных вещей, конторских, чертежных, рисовальных и живописных принадлежностей, большой выбор багетов для рам — от дешевых до самых изящных" немецкого предпринимателя Г.Г. Гезелле, отец которого занимался в Одессе переплетным ремеслом с 1833 года. При магазине функционировала мастерская переплетных и галантерейных изделий. В 1900-1910-х годах Густав Густавович издал одну из интереснейших серий почтовых открыток с видами Одессы. Здесь уместно сказать, что задолго до Гезелле, в 1875 году, сюда, в дом Синицыной, были перенесены из дома Абрамсона, на Ека-

терининской, "СКЛАД БУМАГИ высочайше утвержденного товарищества Дитятковской фабрики, ПЕРЕПЛЕТНАЯ и ГРАФИЛЬНЯ И. МАХА". Иван Мах впоследствии стал самым известным в городе фабрикантом и торговцем канцелярскими товарами, некоторые из которых сам и производил — в первую очередь, гимназические тетради, различные папки, альбомы, амбарные и конторские книги и проч.

Продолжал функционировать парфюмерный магазин Ф. Залесского, "снабженный всеми косметическими средствами — как заграничного, так и русского производства, равно и собственного изделия". В этом же доме, со стороны Преображенской, помещалась и одна из самых известных в городе фотографических мастерских — "Русская фотография" братьев Грабяж, заслужившая отличия на ряде выставок. Еще в самом начале 1880-х партнером аптекаря В.Л. Пискорского стал А.Э. Гаевский. Знаменитая впоследствии аптека Антона Гаевского обосновалась в доме Синицыной до второй половины 1890-х, когда перебралась в дом Руссова, на улице Садовой, № 21, где и находится по сию пору. После ухода Пискорского напарником его сделался А. Поповский. Помимо медикаментов аптека торговала, например, стерилизованным молоком.

В начале 1890-х бакалейный и винный магазин М.П. Полинова переживал свой наивысший расцвет, словно бы прогнозируя рождение своего потомка — легендарного Центрального гастронома. "Магазин снабжен всевозможными бакалейными и колониальными товарами, — сообщает рекламное объявление 1893 года, — а также имеются в продаже: консервы разные заграничного производства, кондитерские товары лучших петербургских и московских фабрик. ВИНА: бессарабские, крымские, кахетинские и иностранные, собственного и заграничного разлива: бордоское, рейнское и испанское, а также ром, коньяк и всевозможные ликеры. Русские и заграничные водки: московских, петербургских и рижских заводов. ШАМПАНСКИЕ ВИНА заграничных марок и русские".

В 1894 году этот магазин перешел во владение К. Канцлерова. Тогда же в доме Синицыной, со стороны Дерибасовской, открылся склад чаев московского торгового дома Д. и А. Расторгуевых. Во второй половине 1890-х здесь же помещалась известное книготорговое предприятие Е.П. Распопова, который чуть позже выпускал карманные путеводители по Одессе. Аптеку Гаевского и Поповского в это время репрезентовал аптекарский магазин Бера. В доме помещалось представительство Дитятковского товарищества писчебумажных фабрик, торговля нефтью и керосином вдовы Вейнштейн, крупнейший мануфактурный магазин Пташни-

кова, цветочный салон Тейхман и масса других заведений, вплоть до танцклассов Адамовских.

Из сохранившихся изображений дома Синицыной этого периода видно, что он был почти одного "роста" с соседним домом Бродского, по улице Дерибасовской, № 31, где помещалась гостиница "Франция" (он был ниже его лишь на высоту карниза). Это был протяженный, в 15 окон, но довольно строгий, без затей, двухэтажный дом с цокольным этажом; по центру фасада со стороны Дерибасовской имелся лишь один скромный балкон, а со двора — протяженные галереи и обширный ледник в полуподвальном этаже. Наличие цокольного этажа обусловило, например, необходимость устройства крыльца со ступеньками, ведущими в аптеку А. Гаевского и А. Поповского.

В 1898 году дом Синицыной приобрел солидный одесский предприниматель Моисей Яковлевич Менделевич. Он был главой крупной торгово-промышленной фирмы "М.И. Менделевич" — экспортной компании, занимавшейся хлебной торговлей и базировавшейся на Еврейской улице, в доме Ксиды. Ему принадлежали и другие значимые домостроения в историческом центре Одессы — на Пушкинской и Маразлиевской улицах, на Екатерининской угол Греческой и другие, но этот поистине обессмертил его имя, ибо возведенный по заказу владельца торговый комплекс стали называть не иначе как "Пассажем Менделевича".

Теперь вряд ли кто знает, что еще в середине 1880-х Пассаж едва не возник совсем в другом месте. Его предполагалось устроить близ Нового базара, в огромном доме Вильгельма Санценбахера, "представляющего собою как бы каре" и выходящего одновременно на три улицы: Садовую, Торговую и Коблевскую. Но затея эта трансформировалась в иную, в результате чего вместо "Пассажа Санценбахера" был построен одноименный, впоследствии знаменитый цирк.

Пассаж, который замечательный писатель-одессит Лев Славин когда-то остроумно сравнил с "огромным пирожным с кремом", строился всего два года — 1898-1899, во что сегодня даже трудно поверить. Главным создателем этого, без всякого сомнения, выдающегося историко-архитектурного ансамбля следует считать блестящего зодчего — Льва Львовича (Леона Леоновича) Влодека. Краткая творческая биография Л.Л. Влодека помещена нами в очерке о гостинице "Большая Московская", а потому здесь мы ее опустим.

Пассаж представлял собой новый тип торгового центра. Ушли в прошлое времена, когда братья Фраполли, Георгий Торичелли и Иван Козлов

строили и перестраивали протяженные патриархальные торговые ряды в один или два этажа, окаймляющие городские рынки и представляющие собой лавки с галереями. Торговые операции перемещаются внутрь сооружений — в торговые комплексы, крытые рынки, пассажи. "Внутри здания (Пассажа. — **О. Г.**), — пишет известный историк градостроительства Одессы В.И. Тимофеенко, — устроен перекрытый световым фонарем Г-образный в плане зал, по сторонам которого располагались торговые помещения. Интерьеры и экстерьеры пассажа пышно декорированы скульптурой и насыщены барочными лепными украшениями, которые выполнили скульпторы Т.Л. Фишель и С.И. Мильман". Это были те самые скульпторы, с которыми Л.Л. Влодек вскоре изваял еще один свой шедевр — дом Дементьевых и Васильева по улице Дерибасовской, № 29, больше известный как гостиница "Большая Московская" (1901-1904 гг.).

Как справедливо замечает искусствовед А.Е. Голубовская, в облике Пассажа уже явно проявляется крутой поворот от рокайльной эклектики к модерну. "Достаточно обратить внимание, — продолжает она, — на вход в здание, чтобы в свободных позах обрамляющих фигур, в складках одеяний, изогнутых стеблях роз уловить чувственность, несвойственную эклектическим мотивам". А построенная чуть позже, на пике развития стиля, "Большая Московская" поражает бьющей через край фантазией, разнообразие декора создает ощущение пульсации стен, живого, не окостеневшего организма. Новый ренессанс, предвидение кардинальных культурологических перемен — вот настроения модерна, выраженные в стилизованных формах: "Не случайно на аттике одесского Пассажа как символ нового времени застучал колесами паровозик".

Торжественное освящение Пассажа состоялось 23 января 1900 года, а все его подробности сообщают газеты "Одесские новости" и "Южное обозрение". Торговые места, более и менее престижные, были тотчас разобраны многочисленными желающими, поскольку торговля-то была, простите за тавтологию, на бойком месте. Никто и вообразить себе не мог, что уже в следующем, 1901, году Пассаж постигнет настоящее стихийное бедствие — катастрофический пожар. 31 октября "жемчужина Одессы" полыхала средь бела дня и при большом стечении народа: огромные толпы окружали торговый комплекс со всех сторон. К чести одесской пожарной команды, она самоотверженно спасала постояльцев гостиницы и великолепно справилась с тушением: Пассаж почти не пострадал, начисто сгорела лишь башенка, возвышавшаяся над главным входом, на углу Преображенской и Дерибасовской. К ремонтно-восстановительным рабо-

там приступили, что называется, по горячим следам, и вскоре все выглядело так, будто никакого пожара не было вовсе.

Трудно даже перечислить все торгово-промышленные и художественные заведения, предприятия и учреждения, каковые "квартировали" в Пассаже 1900-1910-х годов. И тем не менее, многие стоят упоминания. Начнем непосредственно с одноименной гостиницы и приведем следующее оригинальное объявление тех лет: "Едущим в Одессу рекомендуется самая большая и комфортабельная на Юге России гостиница "Пассаж", Дерибасовская угол Преображенской, в пассаже, против Собора. Владелец А.С. Кулинец. Контрагент Одесского городского общественного управления по отводу нумеров для квартирования господ генералов, штаб- и обер-офицеров по удостоверению коменданта г. Одессы. Расположена в самой центральной, оживленной и коммерческой части города, близ бульваров, морских купаний, почты, в районе торговых, административных и правительственных учреждений. Гостиница эта по устройству, безукоризненной чистоте, удобствам и образцовому порядку лучшая в г. Одессе. 162 роскошно обставленных номера, от 1 рубля, с электрическим освещением. Ресторан, читальня, парикмахерская, ванны и души, центральное отопление. Собственная электрическая станция. Подъемная машина. Отделение почты. Просят извозчикам не верить".

Последняя фраза нуждается в комментарии. Суть в том, что одесские извозчики, подкарауливавшие приезжих у вокзала и на пристани, состояли в сговоре с владельцами второстепенных отелей и меблированных комнат, получая от них оговоренный процент в случае доставки новых постояльцев. Об этом-то соглашении и предуведомляется в объявлении, дабы дилетанты не очутились в каком-нибудь клоповнике.

Что касается содержателей, то о них в Государственном архиве Одесской области можно найти кое-какую информацию. Так, в одном из дел, связанных с открытием отелей, говорится, что с 1 января 1904 года Пассаж содержат одесские купцы Яков Кулинец и Иовель Малис. Впрочем, в справочниках при этом обычно упоминается только первый из них — между прочим, тот самый, что упоминается в перечне жертвователей на сооружение памятника-фонтана Пушкину.

Из крупных предпринимателей, сохранивших место со времен "дома Синицыной" назовем, прежде всего, мануфактурную фирму "Наследники В.Т. Пташникова", предлагавшую "в большом выборе всевозможные сезонные товары: суконные, шелковые, шерстяные, модные бумазеи, мебельные материи, ковры бархатные, джутовые и другие, портьеры, занавеси, теплые

платки, пледы, одеяла, столовое белье, полотна ярославские, костромские и заграничные, а также форменные материи всех учебных заведений". На месте осталась и частная "Библиотека для чтения Е.П. Распопова".

В начале 1900-х в Пассаже обосновались: гастрономический магазин Густава Беккеля, салон открытых писем (то есть почтовых открыток) Г. Эйшиского (между прочим, только в этом салоне можно было приобрести серию почтовых открыток, запечатлевших обстоятельства упомянутого пожара), посудный магазин знаменитого "Товарищества М.С. Кузнецова", здесь реализовывали чаи, кофе и сахар не менее именитое московское "Товарищество В. Перлова и сыновей", магазин Е. Власопуло. Тут же устроилась одна из лучших в Одессе ювелирных мастерских, В. Де-Морея. Позднее в Пассаж вселилась известная в городе с давних пор парфюмерная торговля Аудерского-сына. Вот ее объявление 1911 года: "Парфюмерия английская, французская, немецкая и русская. Туалетные принадлежности. Гребни дамские. Расчески черепаховые и роговые. Портмоне. Ридикюли. Перчатки. Туалетные зеркала. Щипцы и лампочки. Дорожные флаконы и мыльницы. Щетки: зубные, ногтевые и головные. Парижские брошки и шпильки для шляп. Р.Н. Аудерский. Преображенская, здание Пассажа".

Въехал в Пассаж и еще один авторитетный книжный магазин — "Нового Времени" А.С. Суворина. Здесь не только продавались новые книги по различным отраслям знаний, но и производилась подписка на разнообразные газеты и журналы. Еще один функционировавший здесь книжный магазин — "Посредник", в котором, помимо прочих, продавались издания, уцененные на 30-50%. Кроме того, тут же располагалась еще и книжная торговля "Просвещение". Из других солидных заведений рубежа 1900-1910-х назовем две фирмы, реализующие граммофоны и музыкальные инструменты: "Полякин и сыновья" и Лауры Иозефер (перебралась из соседнего дома Мими), которые торговали также нотами. Скрипки, виолончели, мандолины, гитары, балалайки, народные цитры, флейты, корнеты, пианино от "Блютнера", "Юлиуса Фейриха", "Рихарда Липпа" и другие, ценою от 450 рублей. Пианино можно было приобрести, обменять, взять на прокат, отремонтировать или настроить в любой момент. Широко практиковались покупки в рассрочку. Не было никаких проблем с приобретением и техническим обслуживанием граммофонов — "Сирена-рекорд", "Клингзор", "Фонотипия", "Акционерного общества граммофонов в Риге", "Патe" и др., покупкой пластинок: односторонних (были и такие!) — от 40 копеек, и двухсторонних — от рубля.

Отдельно следует сказать о ювелирной торговле Якова и Софьи Кохрихт, успешно представлявшей свои изделия на одесской Торгово-промышленной и художественной выставке 1910-1911 годов. В доме их праправнука, редактора историко-краеведческого и литературно-художественного альманаха "Дерибасовская — Ришельевская" Феликса Давидовича Кохрихта, бережно хранятся семейные реликвии: великолепные каминные часы, мельхиоровая ложка с клеймом фирмы, упаковочная коробочка с ее атрибутикой, рекламные объявления магазина и т. д. В годы первой мировой войны Кохрихты первыми наладили производство особо прочных водонепроницаемых часов "для господ офицеров". Магазин Якова Кохрихта открылся в Пассаже одним из первых, тотчас после салона Пташниковых, о чем свидетельствует объявление, помещенное в "Одесских новостях" от 27 января 1899 года.

Тогда же в Пассаже располагался лучший магазин медицинской техники фирмы "В. Нурик", салон живых цветов семейства одесских старожилов немецкого происхождения Роте, занимавшихся садоводством на протяжении многих десятилетий, мужской конфексион М.-И.А. Крумберга, оптический магазин Л. Корсунского, галантерейные лавки А.М. Мировской, С.М. Тайкача, "Депо белья и модных галантерейных товаров И. Малис", Городское агентство (бюро путешествий) небезызвестного Русского общества пароходства и торговли (РОПИТ), пивной зал одесского пивоваренного завода Матильды Кемпе и целый ряд других заведений. Опять-таки отдельно надо упомянуть о парфюмерной торговле Ф. Никитена и С. Рапалло, одной из лучших в городе, прославившейся экзотическими сортами мыла, приготовленного по собственной рецептуре. Правнук первого из них живет во Франции, преподает историю в университете, недавно наведывался в Одессу в поисках "корней".

В хрестоматийных 1913-1914 годах помимо перечисленных в Пассаже обитал кондитерский магазин известнейшей фирмы "Bonbons de Varsovie". Разумеется, содержала "Варшавские конфеты" польская предпринимательница Лаура Келбасински. В магазине открытых писем "Художник", где продавались также и писчебумажные товары, хозяйничала Зельда Юделевич. Филателистическую лавку, тоже внутри Пассажа, содержал одессит с экзотической фамилией Фауст, правда, звали его Шимон. Со стороны Преображенской помещалась кофейня Осипа Гургелева, фотосалон Т. Портера и др.

Пассажем к этому времени давно уже владели многочисленные наследники М.Я. Менделевича. А содержателем гостиницы оставался все тот же

Абрам Шмулевич (Самуэлевич) Кулинец, человек довольно состоятельный и уважаемый, домовладелец, состоявший так называемым окладчиком (то есть официальным оценщиком недвижимости, с которой взимался налог в доход города) одного из городских раскладных присутствий.

В 1917 году Пассаж по-прежнему вмещал ювелирную торговлю И. Кохрихта, а также В. Другова, парфюмерную и галантерейную — Аудерского-младшего, магазины: белья — В. Кацмана, галантереи — Я. Гальперина, граммофонов и музыкальных инструментов — Л. Иозефер и торгового дома "Полякин и сыновья", губок — Ф. Георги, игрушек — А. Шиловой, книжный — "Новое Время", ламп — З. Финкеля, обуви — знаменитого Товарищества Петроградского механического производства обуви "Скороход", оптики — Л. Корсунского (в начале века он содержал здесь же салон игрушек), мужской одежды — М. Крумберга, посуды — М. Финкеля, сахара, чая и кофе — Товарищества В. Перлова, чая — А. Власова и др.

В годы нэпа помимо гостиницы в доме часто размещались различные советские учреждения, в том числе — кооперативные, например, Одесское паевое строительное товарищество. Тогда же бывшие работники знаменитого кафе Печеского организовали трудовую артель "Меркурий", занимавшуюся приготовлением изысканных кондитерских изделий, и устроили одно из двух заведений по их реализации на "улице Лассаля, № 33, у входа в Пассаж". В это время гостиница "Пассаж" числится по адресу "улица Троцкого, № 34". В дальнейшем Преображенская получила название улицы 10-летия Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). А Пассаж, как и другие дореволюционные отели, несколько уплотнили: из 162 прежних номеров соорудили 181.

В конце 1920-х — начале 1930-х в помещении нынешнего Центрального гастронома, словно бы продолжая традиции дореволюционной книготорговли в Пассаже, обосновалось Государственное книжное издательство Украины (то был вообще единственный непродолжительный период отсутствия в оном помещении бакалейной, винной и вообще гастрономической продажи). Рядом, по Преображенской, — торговля канцелярскими принадлежностями и настольными играми, за ними — винный магазин, мастерские готового платья и обуви, далее — вход в гостиницу и галантерея, а еще ближе к улице Греческой — легендарный ТОРГСИН.

Чуть позднее в апартаментах издательства поселился центральный гастроном, просуществовавший многие десятилетия, одно из самых посещаемых торговых заведений советской и постсоветской эпохи. В 2006-м легендарный ЦГ неосмотрительно выселили, заместив его очередным без-

ликим ювелирным салоном, каковых с полдюжины на двух кварталах Дерибасовской. А гастрономов здесь отныне нет совсем: фасадный вход в "Овощной" только что тоже заблокирован. При существующей системе супермаркетов и "шоппинга" в выходные дни гастрономы, подобные центральному, служат для повседневных, неотложных покупок. Уничтожать их — означает создавать горожанам неудобства. Полагаю, впрочем, что авантажный "ювелирный пассаж" тут продержится недолго, и все вернется на круги своя.

Как свидетельствует уникальная фотографическая открытка из коллекции М.Б. Пойзнера, запечатлевшая внутренний вид Пассажа в годы оккупации (1941-1944 гг.), функционировал он вполне исправно. Причем вывески магазинов на украинском языке здесь в неприкосновенности сохранились с предвоенной поры: "Дитячий універмаг", "Готовий одяг" и тому подобное.

Остается выразить пожелание об установке на здании Пассажа мемориальных знаков в память пребывания здесь Левушки Пушкина (он ведь и похоронен был в Одессе, на варварски разрушенном во второй половине 1930-х годов Старом кладбище!) и Николая Васильевича Гоголя. Они, право, заслужили. А Пассажу это будет только на пользу.



Валентина ОНОПРИЕНКО

Шабо

Осенью этого года исполняется 185 лет со времени основания уникальной швейцарской колонии в с. Шабо Белгород-Днестровского района.

Основанное турками, это село благодаря песчаным берегам лимана и климату, благоприятному для произрастания виноградников, известно более чем восьмьюдесятью сортами винограда — некоторые из них были привезены сюда и культивировались турками. Первые виноградные сады около Аккермана были разведены еще греками, а также генуэзцами. Первый письменный источник, подтверждающий существование населенного пункта, — географическая карта Валахии, Молдавии и Бессарабии, составленная в 1788 году.

В первом десятилетии XIX в. в Шабо насчитывалось всего 28 жителей. Они продолжали заниматься виноградарством. Интенсивное заселение этой местности, длительное время подвергавшейся нападениям турецко-татарских орд, началось с победным завершением русско-турецкой войны 1806-1812 гг. Еще до присоединения Бессарабии русское правительство начало воплощать мысль о насаждении на юге виноградарства. Присоединение Бессарабии с ее богатыми садами и виноградниками заставило обратить на эту ценную статью хозяйства новой провинции самое серьезное внимание, в особенности непосредственно позже 1812 г., когда значительные массы мусульманского населения оставили край, и сады и виноградники были брошены и стали гибнуть. Однако прошло несколько лет, прежде чем Бессарабией занялись надлежащим образом: борьба с Наполеоном и ряд других сложных вопросов отвлекли внимание и силы правительства.

В 1807 г. в Шабо переселили несколько десятков семей из близлежащих сел. К 1820 году здесь проживали 275 человек — 172 украинца и 103 молдаванина. Но добиться заметных успехов в условиях феодально-крепостнической системы и при отсутствии у большинства должного опыта возделывания винограда у переселенцев не получалось. Так как заниматься хлебопашеством на песчаных землях Приднестровья они не могли, то их преимущественным занятием сделалось рыболовство. По договору с откупщиками рыбных ловель они продавали рыбу. Часть из них нанималась также на работу к аккерманским чиновникам и прочим жителям.

Для сохранения и развития виноградников, а также для улучшения культуры виноделия и были приглашены императором Александром I

швейцарские французы, основавшие колонию, непосредственно граничившую с Шабо. Эта колония была организована при содействии Фредерика Сезара де ля Гарпа (Frédérik-César de la Harpe), наставника Александра I (в течение 10 лет занимался с будущим императором французским языком, историей и географией, а после женитьбы императора был его советником), выходца из Швейцарии, из кантона Во (Vaud). Бывший наставник не только обратил внимание воспитанника на своих соотечественников, но и настоял на привлечении их в Россию и выступил при переговорах в роли посредника.

Швейцарский журналист Оливье Грива в своей книге о колонии Шабо "Швейцарские виноделы царя", вышедшей в 1993 году, пишет так об идее основания винодельческой колонии в Бессарабии: "...ля Гарп был советником царя Александра I с 1814 по 1816 год. И благодаря его влиянию и влиянию генерала Жомини на Венском конгрессе в 1815 году из 19 швейцарских кантонов (округов) была образована швейцарская конфедерация... Одним из кантонов был Во. После возвращения в Во ля Гарп, который являлся депутатом Великого совета Во, обращается к русскому царю со следующим письмом: "Господин де Салоз рассказал, что в Бессарабии произрастает государственный виноградник, коим сильно пренебрегают. Об этом информированы виноградари моей страны, и если правительство даст свое согласие и разрешение, то они обратятся с просьбой позволить им работать на этих землях... И возможность приехать в Бессарабию им улыбается больше, чем для основания своего поселения ехать в Бразилию или Америку. Они хотели бы получить уверенность в возможности улучшения своей судьбы, своей работы...".

Это письмо было отправлено в 1819 году. Согласие российского императора получено. Главный ветеринар в южных губерниях Российской империи де Салоз, выходец из Швейцарии, составил и предложил своим соотечественникам условия поселения на аккерманских виноградниках, предусматривающие, что если четыре депутата сочтут местность подходящей, то два из них вернутся, чтобы осуществить необходимые приготовления, а два других — чтобы давать полезные советы и служить проводниками. В предисловии к книге О. Грива отмечает: "Ни одной строчки не посвящено этому таинственному "Шабо" в книжках о швейцарской истории... В то же время Шабо — единственная колония, которая существовала в истории Швейцарии. С согласия русского царя эти земли предназначались "для всякого швейцарца с репутацией честного и хорошего земледельца, который мог быть полезен коммуне каким-либо мастерством".

Однако на территории Российской империи существовала еще одна швейцарская колония — Цюрихталь Крымского водворения — с немецкоязычным населением.

Еще в 1846 году одна из основных улиц колонии Шабо называлась Лягарповская.

Период конца XVIII — начала XIX вв. известен как время большого наплыва колонистов в южные земли России. В Южную Бессарабию (Буджак) переселились, в основном, болгары, гагаузы и немцы. В 1841 году здесь было 83 болгарские колонии, 23 немецкие и одна швейцарская, в с. Шабо. Это единственная швейцарская колония с франкоязычным населением на территории России.

Топоним Шабо существовал значительно раньше швейцарской колонии. Это слово турецкого происхождения и означает оно *нижние сады*, названные так сравнительно с более северными садами Аккермана, расположенными, к тому же, на более возвышенном месте, чем Шабо. Во времена турецко-татарского владычества это слово звучало, по-видимому, A*cha-Abag* (*нижние сады*). Почему в русском языке произошло изменение конечного *а* на *о*, до конца неясно. Некоторые местные старожилы уверяют, и не без основания, что изменение конечного *а* на *о* было сделано по инициативе самих колонистов, желавших как бы "офранцузить" ставшее непонятным слово. Соответственно, в произношении можно иногда услышать Шаб*о* наряду с Шаб*а*, особенно в устах людей, знающих или знавших французский язык. В основном, ударение остается на первом слоге: Шàбо.

Хотя фактически это было одно и то же село, с переездом швейцарцев стали различать Шабо-посад и Шабо-колонию, тем более что колонисты жили долгое время обособленно и замкнуто. О дате основания колонии в литературе существуют самые различные мнения.

Наиболее достоверным источником для истории этой колонии является изданная в Аккермане книга Андре Ансельма (A. Anselme. La colonie suisse de Chabag (Bessarabie). Notice historique 1822-1922. — Cetatea-Alba, 1925). Книга А. Ансельма была издана незначительным тиражом в 300 экземпляров и является сейчас библиографической редкостью, чем, по-видимому, и объясняется то, что последующие историки и авторы работ о с. Шабо не имели возможности ее использовать. А. Ансельм был швейцарским колонистом, инженером по образованию, и при написании этой работы использовал архивные материалы колонии, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Эта книга была издана в связи со 100-летием колонии, которое отмечалось 10 ноября 1922 года. Таким

образом, устанавливается с глубокой достоверностью, что первые колонисты прибыли в Шабо осенью 1822 г. Этот же год упоминается в книге, написанной другим колонистом — М. Бюньоном (M. Bugnon. La Bessarabie ancienne et moderne. Lausanne — Odessa, 1846, p. 188).

В Госархиве Одесской области (далее ГАОО) хранятся документы по истории колонии Шабо. Они немногочисленны и отложились, в основном, в фондах управления Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора и Попечительного комитета об иностранных поселенцах Южного края России, образованного в 1818 г. в связи с увеличением количества иностранных поселенцев и ведавшего управлением всех иностранных колоний.

Идея переселения в Россию была встречена в Швейцарии сочувственно, так как страна переживала в тот момент серьезные экономические затруднения. Первым решившим перебраться в Россию был Луи Венсан Тардан (Tardent) из Верхнего Ормона (Ormonts-dessus, родился в Вевэ (Vevey), Кантон Во в 1787 г., умер в 1836 г.), педагог, ученый-ботаник, виноградарь, член Гельветического общества естественных наук, эрудит, человек высокой культуры (привез с собой в Россию 400 работ своей библиотеки, гравюры, эстампы, музыкальные инструменты — скрипку и лиру), соратник и друг великого Песталоцци. Личность основателя колонии Тардана была основой успеха этой колонии. К большому сожалению, не существует ни одного портретного изображения Тардана, — в отличие от его жены Урани Сюзанны Генриетты Гранжан, портрет которой (в возрасте 19-ти лет) принадлежит сейчас наследникам Тарданов, живущим в Австралии.

Тардан собрал группу из нескольких виноградарей, согласившихся на переселение в Россию. Группа организовалась в 1820 г. и после обсуждения вопроса отправила на разведку самого Тардана. Тардан обращался к полномочному наместнику Бесарабии А.Н. Бахметеву: "Мой соотечественник и мой друг господин Салоз... сообщил мне о виноградниках в Аккермане, которые принадлежат правительству... Этот виноградник не ухожен и сегодня почти покинут, он нуждается в улучшении и мог бы представить большую пользу... для России и поэтому... если ваше правительство заинтересовано в этих виноградниках, то нужно тридцать виноградарей, трудолюбивых отцов семейств... мы имеем больше мужества, чем денежных средств, чтобы не только оплатить расходы по нашему путешествию, но и организовать в этом месте прочное и выгодное хозяйство..." (письмо от 19 декабря 1819 г.).

Прибыв в Одессу, Тардан просил Бахметева разрешить ему осмотреть местность. Л.В. Тардан, поселившийся в с. Шабо рядом с Покровской цер-

ковью и проживавший там некоторое время, нашел этот край достаточно богатым и довольно благоприятным для учреждения здесь швейцарской колонии. Из донесения председателя Попечительного комитета об иностранных поселенцах Южного края России И.Н. Инзова управляющему министерством внутренних дел графу В.П. Кочубею: "...Означенный депутат (Тардан), явясь ко мне, изъяснил предложения на счет желания швейцарских виноградчиков произвести поселение их в Бессарабской области. По поводу сего я предоставлял ему обозреть лично просимое им для водворения швейцарцев место близ Аккермана. Он, исполнив сие и удостоверясь к поселению виноградчиков, предоставил ко мне описание местоположения с изъяснением, какие места при заселении для какого употребления могут быть обращены...".

Учитывая, что границы Южной Бессарабии надежно обеспечены от турецкого вторжения, Л.В. Тардан ходатайствовал об отводе для своих соотечественников береговой полосы Днестра в районе Аккермана. При этом он заверил русское правительство, что колонисты сумеют завести здесь производство лучших швейцарских вин. Будучи знатоком виноградного дела, Л.В. Тардан, по-видимому, был уже известен окружающим жителям, среди которых были и французы. Так, в Шабо еще до приезда Тардана недалеко от его будущего дома жил врач Невери, по происхождению француз, а в Аккермане комендантом замка был француз подполковник Кюрто, петербургский знакомый А.С. Пушкина.

А.С. Пушкин приезжал в Шабо в декабре 1821 года и посетил здесь основоположника колонии Л.В. Тардана. Находясь в ссылке в Кишиневе (сентябрь 1820 — июль 1823 гг.), он изъявил желание сопутствовать своему другу И.П. Липранди, автору военно-исторических, публицистичеких и библиографических работ, бывшему тогда полковником Якутского пехотного полка, в поездке в Измаил и в Аккерман, где Липранди по поручению генерала Орлова должен был произвести следствие в 31-м и 32-м егерских полках. В Аккермане А.С. Пушкин и И.П. Липранди были с 12 по 14 декабря 1821 г. и остановились у командира 32-го егерского полка А.Г. Непенина, на доме которого до сих пор имеется мемориальная доска в честь посещения его А.С. Пушкиным.

В Шабо у Л.В. Тардана А.С. Пушкин был утром 14 декабря. Подробности этого посещения известны из дневника и воспоминаний И.П. Липранди, где он пишет: "В Аккермане мы заехали прямо к полковому командиру Андрею Григорьевичу Непенину (старому моему соратнику и бывшему в 1812 и 1815 годах адъютантом у князя Щербатова) и поспе-

ли к самому обеду, где Пушкин встретил своего петербургского знакомца подполковника Кюрто, кажется, бывшего его учителем фехтования и месяца за два назначенного комендантом Аккерманского замка на место полковника фон Троифа.

Поутру мне хотелось повидаться со швейцарцем Тарданом, учредившим колонию в деревне Шаба, в 3 верстах от Аккермана. Пушкин поехал со мной. Тардан ему очень понравился, а Пушкин Тардану, удовлетворявшему бесчисленные вопросы моего спутника. Мы пробыли два часа и взяли Тардана с собой обедать к Непенину. Отобедав, выехали в шесть часов в Измаил".

В 1946 году Лягарповская улица была переименована в Пушкинскую в связи с посещением А.С. Пушкина колонии.

Л.В. Тардан, изучив на месте обстановку и торопя своих единомышленников с отъездом, писал: "...О, если б вы знали, сколько несчастных людей нашли бы здесь средства для жизни! Мы в своей Швейцарии думаем, что нет страны лучше, — это заблуждение. Там мы получаем плоды труда, затрачивая много времени и сил, а здесь погода почти все время прекрасная, земли плодородные, легко обрабатываемые, много скота и по низким ценам. Зима не была страшной с 1812 года. Снега мало. Уже в марте можно раскрывать и подрезать виноградники".

Л.В. Тардан не зря упомянул зиму 1812 года. Испытавшая на себе свирепые морозы и метели, разбитая армия Наполеона разнесла по всему миру слух о невыносимой стуже, царящей всю долгую зиму на просторах России. Впечатления его, которыми он письменно поделился со своими земляками, были положительными, но это не смогло рассеять сомнения, овладевшие швейцарцами после отъезда Л.В. Тардана. Видя, что никто не трогается с места, в 1822 г. он решил вернуться в Швейцарию и сделал членам группы доклад, устранивший их колебания. Отважному ученому потребовалось привлечь убедительные аргументы, чтобы развеять страхи соотечественников, после чего в июле 1822 года первая партия двинулась в путь через Буковину на Кишинев. В своем письме к генералу И.Н. Инзову от 25 июня 1822 г. Тардан сообщал об их прибытии к середине сентября и выражал надежду на его покровительство.

В ее состав входили кроме семьи Тардана (жена и 7 детей): аптекарь Даниель Берже (Berger, вернувшийся в 1825 г. в Швейцарию), Жак Самюэль Шевалле (Chevalley, родом из Рива), Жан-Луи Герри (Guerry, из Турле-Лейлоз), Франсуа Нуар (Noir, из Лозанны), Жан-Луи Плантен (Plantin, позже перешедший на службу к губернатору Крупенскому) и садовод Генрих Цвикки (Zvicki, из Карентца, кантон Гларус). К этой первой

группе присоединился живший уже ранее в Аккермане, где занимался торговлей, Жорт Тестю (Testuz, из Рива). К числу первых подписавших договор о переселении относится и Шарль Огюст Гранжан (Grandjean, тесть Тардана, из Бютт, Невшатель). Договор был заключен у нотариуса Жентона в Вевэ; согласно условиям, каждый колонист должен был иметь при себе Библию и карабин.

В Государственном архиве Одесской области сохранился уникальный документ — рапорт Новоселицкой пограничной таможни И.Н. Инзову о прибытии швейцарских переселенцев, датированный [26] сентября 1822 года (число месяца повреждено после проведенной реставрации, до реставрации дата была читаема): "Прибывшие вчерашнего числа из-за границы к посту сей таможни по 8 паспортам г.[осподина] действительного статского советника барона Криднера швейцарцы обоего пола в числе 24 душ четырьмя повозками, семью лошадьми с надлежащей таможенною надписью на их письменных видах, во исполнение предписания вашего высокопревосходительства, пропущены беззадержно с тем, чтобы по прибытии в город Кишинев явились в канцелярию вашего высокопревосходительства...". Именно этот архивный документ, поступивший в канцелярию И.Н. Инзова 2 октября 1822 года, устанавливает точное время прибытия швейцарских переселенцев в Россию.

Ценное свидетельство об этом путешествии — дневник жены Тардана, которая записывала свои впечатления в маленькой записной книжке. В ее описании этот длинный путь выглядел хорошо организованным путешествием, поскольку во главе каравана был образованный человек — ее муж. Дневник также хранится сейчас у австралийских потомков Тарданов.

Л.В. Тардан в письме описал трудности дальнего пути и встречу переселенцев на новом месте: "По приезде нашем в Кишинев, столицу Бессарабии, губернатор, почтенный генерал И.Н. Инзов, принял нас как своих детей. Он пожелал побеседовать даже с самыми незначительными из нас и проявил ко всем самый живой интерес, а так как тогда был конец года, то он отдал приказание, чтобы нас устроили на квартирах у частных лиц, в Аккермане, где мы и провели ту суровую зиму".

С этого момента начинается первый период истории новой колонии, который продолжается до 1872 года, то есть до закрытия Попечительного комитета. По замечанию О. Грива, "...Шабо — это пример хорошо развивающейся перспективной колонии, которой завидовал весь Юг России до 1918 года... Колония Шабо... сохранила свою целостность, единство, лидерство... ее первые колонисты мужественно преодолевали сначала тоску

по родине, а также засуху, холод, нерадивых чиновников... Они сумели выстоять и вести достойную плодотворную жизнь".

В 1823 г. прибыли семьи Гербо (Guerbauld) и Мейо (Meillaud), в конце 1826 г. — семьи Форне (Foreney), Кампиш (Campiche), Бессон (Besson), Мишу (Michoud) и др.; в 1828 г. — семьи Доньи (Dogny) и Лоран (Laurent); в 1829-1830 гг. — семьи Теваназа (Thévanaz), Хаклер (Hackler), Жатон (Jaton), Мьевилль (Miéville), Бюксель (Buxel), Декомба (Descombaz), затем Данц (Dantz) и Коре (Corey) и др.

В 1846 г. прибыли последние колонисты Жак Берте (Berthet), Луи Марго (Margot), Жюль Кавало.

Почти все колонисты были из кантона Во. Лишь несколько человек приехало из Берна, Эльзаса и Лотарингии (Коре) и из других мест. Последняя представительница семьи Коре, жившая в Шабо, умерла в 1959 г.

В целом, колонизация шла медленно. Швейцарцы неохотно трогались с мест, и Л.В. Тардан встречал большие трудности при заселении предоставленной колонистам территории. В письме он убеждал своих соотечественников не искать счастья в безвестных пустынях и лесах Северной Америки, а спешить на плодоносные земли Новой России, где виноградные лозы, персики, шелковица поспевают рано. Дом основоположника колонии Л.В. Тардана был хорошо известен среди жителей Шабо. Одним из последних жителей этого дома была некая Ванда Михайловна Тардан, сдавшая квартиру столяру швейцарцу Жану Мишу. Дом был разрушен во время Великой Отечественной войны. До последних лет на чердаке сохранялись остатки телеги с большими деревянными колесами, на которой приехали первые швейцарские колонисты. В книге А. Ансельма помещена фотография этого дома. Около дома — Ж. Мишу. Дом был расположен в самом начале б. Александровской улицы (теперь ул. Ф. Дзержинского) по правую сторону, против Покровской церкви.

В одном из писем Л.В. Тардан пишет: "Наша деревня, которой я дал название Гельвецианополис, великолепно размещена на берегу лимана, имеется прекрасная церковь, возле которой находится мой скромный дом. У нас большой двор, огороженный стеной. Позади дома прекрасный сад, усаженный деревьями и спускающийся к плавням. Там, когда я наберусь силы, выкопаю канал, который соединится с лиманом, где у меня будет лодка, и я смогу пользоваться ею для выезда к морю через Бугаз".

Семья Тардана была очень многочисленной. До 1941 г. здесь было три дома, принадлежавшие трем семьям Тардан. Напротив описанного дома жил Рауль Тардан. Этот дом также был разрушен во время войны. Третья

семья жила далеко от Покровской церкви, по ул. Садовой, 25. Этот дом существует и теперь.

Водворение швейцарских поселенцев было поручено главному попечителю колонистов Южного края России И.Н. Инзову, который отнесся к вопросу об их поселении с большим вниманием. Он считал, что передача запущенных садов опытным виноградарям целесообразна, прежде всего, с хозяйственной точки зрения, так как земли вдоль Днестра принесут в этом случае максимальную пользу. В то же время ему представлялось важным, чтобы эти земли остались за казной и не перешли в частные руки помещиков, как это случилось с левым берегом Днестра. И.Н. Инзов полагал, что местные жители не проиграют от перевода их с песчаных берегов Днестра на другие, пригодные для хлебопашества места, если переселенцы купят их землянки и небольшие домики. Жители вступили в переговоры с администрацией, и 50 семей вскоре дали согласие на переселение в урочище Свиная Балка, принадлежавшее Аккерману. Тем самым вопрос о размещении первой партии был решен, поскольку ей требовалось всего 15 домов.

В письме графу В.П. Кочубею от 23 ноября 1821 г. И.Н. Инзов изложил предложения о поселении швейцарских семейств: "...я нахожу весьма полезным поселение помянутых швейцаров близ Аккермана, где есть казенные сады, остающиеся без надлежащего обрабатывания, кои, при попечении сих трудолюбивых людей, могут прийти в лучшее положение. Следуя сему, я полагаю предоставить для поселения их участок казенной земли... заключающий в себе удобной земли 8244 десятины и 1362 сажня, а неудобной 1485 десятин и 1903 сажня, да сверх того сады, бесспорно казне принадлежащие, равно присвоенные частными лицами.

...Относительно селения Шабы и хуторов Акимбета и Малой Катаржи, состоящих на пространстве, определяемом для водворения швейцарских виноградников, то жители первого, будучи большей частью приписаны к городу Аккерману и отбывая наравне с тамошними обывателями повинности, желают переселиться туда и получить для содержания своего другую пустопорожнюю казенную землю, более способную для хлебопашества, а хозяева последних без расстройства могут перенести свои заведения, впрочем, весьма незначительные, на другой участок казенной земли".

И.Н. Инзов и в дальнейшем участливо и доброжелательно относился к поселенцам, не переставал заботиться о них. Из его письма графу М.С. Воронцову от 19 августа 1825 г.: "...состоящие на местах водворения швейцарцы не только что с хорошим успехом обрабатывают виноградные свои сады, но даже с большей рачительностью стараются о размножении

оных, в чем они приметно успели... общество поселившихся швейцарцев удостоверяет, что они непременно ожидают прибытия своих собратий... я покорнейше прошу распоряжения вашего, дабы назначенные сверх 36 садов, поступивших уже в колониальное ведомство, 76 садов, состоящие в смежности с первыми, не были определены в продажу Бессарабским областным правительством, но оставались в заведывании казны... до времени, пока встретится необходимость в наделении швейцарцев по мере прибытия их на поселение...".

Цынутный* землемер поручик Маньковский в рапорте И.Н. Инзову от 6 марта 1823 г. докладывал об отмежевании земли близ города Аккермана, "назначенной для поселян швейцарских виноградчиков". Л.В. Тардан в письме к генералу И.Н. Инзову ходатайствовал об оставлении за ними Шабо и отведенной земли.

Поселенцы получили по 7-8 поз виноградников (*poses vaudoises* равно примерно 25 арам, т. е. от 1,5 до 2 гектаров) и более 200 таких же единиц плодородной земли в удобной местности, то есть превратились во владельцев небольших поместий. И.Н. Инзов намечал создание двух округов швейцарских поселений по 53 семейства в каждом. Однако в 1824 г. в списке значилось только 15 семейных и одиноких хозяйств, а всего швейцарцев — 52 человека. В 1825 г. в отчете земского приказа указано 14 самостоятельных хозяйств, состоящих из 53 человек (30 мужчин и 23 женщины). В 1827 г. было 25 семей, в 1838 г. — 43 семьи.

В посемейных списках колонистов, составленных Л.В. Тарданом и хранящихся в ГАОО, в 1823 г. указано 17 семейных и одиноких хозяйств, в 1828 г. — 29 семей, 94 колониста (48 мужчин и 46 женщин), в 1852 г. — 53 хозяйства, 269 колонистов (включая уже и немцев-колонистов). Титулярный советник Рено в рапорте М.С. Воронцову от 11 февраля 1829 г. указывал 21 семейство, из них 3 семейства — вновь прибывшие (составлены посемейные списки). Начальником поселения был Л.В. Тардан, остававшийся в этой должности вплоть до 1829 г., когда управление поселением было поручено коллегиальному органу с мэром во главе.

Эксплуатировать полученную земельную площадь было делом довольно трудным. Ранний период истории Шабо характеризуется, прежде всего, напряженной борьбой переселенцев с новыми, для них совершенно чуждыми и трудными физическими условиями работы, они надрывались на работе, расчищая свои наделы. Им приходилось бороться с привычкой местных крестьян пускать скот после уборки урожая повсюду, не исклю-

*Цынут — административно-территориальная единица.

чая виноградников, а также с воровством и бандитизмом, столь естественным в этой глухой окраине с ее редким сравнительно населением, жившим в тяжелой экономической обстановке.

В июне 1823 г. Л.В. Тардан писал генералу И.Н. Инзову: "Постепенно мы восстанавливаем порядок, который нам необходим. Вот два требования, которые мы считаем необходимым узаконить. Первое касается растений и лоз, испорченных животными на территории Шабо, — категорически запретить выпас животных без пастуха и без особого разрешения под угрозой штрафа в один пиастр. Второе — запретить оставлять открытыми погреба, чердаки, а также оставлять фрукты на площадях и дорогах ночью".

Летом и осенью 1826 г. к М.С. Воронцову и бессарабскому гражданскому губернатору Тимковскому стали поступать жалобы от колонистов и от местных жителей. Колонисты в своих прошениях жаловались, что скот местных жителей портит им сады и виноградники. Местные жители — на "несносные от швейцарцев обиды и притеснения". Из прошения уполномоченных жителей с. Шабо Моисея Босенко и Степана Лафазана графу М.С. Воронцову от 28 июля 1826 г.: "...Недовольствуясь мирным жилищем, стреляет сам Тардан или недоросль его сын наш скот, а смотря на него, таким образом убивают и прочие его единоземцы и употребляют себе в пищу, штук до тридцати рогатого и разного скота побито!.. Полиция гонит нас на жительство в город...".

Тимковский поручил управляющему Аккерманской таможенной заставой коллежскому асессору Шалгину поехать в Шабо и выяснить на месте все обстоятельства. Шалгин признал жалобы местных жителей основательными, так как за короткий срок у них было убито самим Л.В. Тарданом 4 вола, 8 коров, 4 теленка, 7 свиней. Не отставали от Л.В. Тардана и другие колонисты.

Граф Ф.П. Пален, и. д. Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора, в послании от 20 октября 1826 г. писал И.Н. Инзову о командировании в Шабо еще одного чиновника от попечителя колонистов. Чиновник встал на сторону колонистов. И.Н. Инзов докладывал Ф.П. Палену в ноябре 1826 г.: "...жалоба шабских жителей на Тардана, подстреливающего будто бы принадлежащий им скот, основывается на одном только происшествии подобного рода... что же касается до прочих несогласий, возникших между швейцарскими колонистами и шабскими жителями, то я уверен, что зачинщиками оных были шабские жители, и что таковые несогласия не иначе могут быть прекращены, как выводом из Шабы прежних жителей... шабские жители... обеспокаивают и притесняют швейцарских колонистов... я покор-

нейше прошу... о побуждении прежних жителей... остающихся на прежнем месте своего жительства по одному непозволительному упорству, к неотложному перемещению на избранное ими прежде сего предместье г. Аккермана, куда значительное число собратий их уже перешла на жительство".

Комитет министров, находя объяснения И.Н. Инзова "весьма уважительными", принял решение "жителей селения Шабы... переселить на отведенную им землю близ города Аккермана, назначив для сего переселения достаточный срок по взаимному соглашению местного начальства с колонистским управлением и определить им от сего последнего денежное вознаграждение как за жилища их, так и за начатое строение церкви...". Начались новые жалобы. В результате император Николай I распорядился оставить местных жителей в Шабо.

Из рапорта министра императорского двора генерал-адъютанта князя Волконского императору: "...приказано уездному землемеру... отмерить в натуре положенную пропорцию земли для шабских жителей по 30 десятин, а для швейцарских колонистов по 60 десятин по числу ныне состоящих семейств и, поставя вехи, показать в натуре тем и другим назначаемое для них пространство земли, дабы впредь не могло быть никаких споров...". Швейцарские колонисты в рапорте графу М.С. Воронцову изложили свои предложения по разграничению земли: предоставление половины или четверти водопоя для скота и песчаного берега, лежащего к северо-западу, пригодного для виноградарства, проведение рубежного канала для защиты от скота местных жителей, обозначить границы болота, на который притязают соседние помещики и отбирают большую часть камыша, предоставление 6-ти турецких садов, которые находились на их землях. Границы между землями колонистов и местных жителей были строго определены титулярным советником Рено в присутствии поверенных обеих сторон (доверенности хранятся в ГАОО) и старшин. Рено докладывал М.С. Воронцову от 8 ноября 1828 г.: "в... разделении равными частями земли добровольно и по согласию обеими сторонами, как со стороны жителей, так и швейцарцев выбранной и выгодной во всех угодьях, признанной без преимущества в пользовании камышом и водою, обе помянутые стороны ныне совершенно остаются довольны и впредь опровергать сего и прекословить ни за что не будут".

Чтобы обработать полученные земли, необходимо было обратиться к чужому труду, необходимы были чужие руки. Прилив новых поселенцев из Швейцарии протекал туго, да и не решал вопроса, так как прибывшие в большинстве случаев были хозяевами, а не рабочими. Чтобы не лишить-

ся данной колонистам земли, Л.В. Тардан пытался привлечь в Шабо швейцарцев из Одессы, торговцев и ремесленников, но это был обычно неподходящий элемент. Тогда была сделана попытка обращения через одесские газеты к русским помещикам, которым швейцарцы предлагали посылать в колонию на выучку молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет сроком на 3 года, то есть швейцарцы хотели иметь учеников, которые являлись бы одновременно бесплатной рабочей силой, и приобщить местное население к европейской культуре земледелия и виноградарства.

Воззвание, однако, не имело успеха. Наоборот, заинтересованные в получении в свои руки знающих специалистов, русские помещики старались сами сманивать к себе на службу опытных иностранцев. Оставалось, таким образом, пользоваться силами, которые имелись на месте и рекрутировались из местной бедноты, но они были в слабо населенном Буджаке немногочисленны, особенно в раннюю эпоху его освоения. С другой стороны, швейцарцам пришлось столкнуться со своими русскими конкурентами и с нравами и методами местной администрации.

Тревоги Л.В. Тардана относительно возможности потерять часть отведенной поселенцам земли ввиду слабого притока их извне не замедлили сбыться. Уже в первые годы от них отобрали часть хорошей земли под Аккерманом и заменили ее наделом в степи. Администрация проявила излишний формализм, придирчивость и недобросовестность. Так, придравшись к тому, что аптекарь Берже не имел русского диплома, ему не разрешили открыть в Шабо аптеку и требовали, чтобы он подвергся специальному экзамену в Харькове, хотя на эту поездку у него не было ни времени, ни средств. В результате Берже вынужден был отправиться обратно в Швейцарию, а колонисты надолго остались без аптекаря. Основная масса колонистов была сосредоточена в Шабо. Лишь некоторые семьи переселились в Шаболат, Пуркары, Олонешты, Аккерман и другие места. В 1892 г. группа колонистов, состоявшая из молодежи, основала в Херсонской области, на берегу Днепра, новую колонию Основа. Несколько позднее другая группа образовала вторую колонию недалеко от Основы — Новая Шаба.

Так как колония Шабо была недостаточно заселенной, царское правительство в 60-70-е годы отдало часть земель немецким швейцарцам, которые, в конечном счете, составили половину населения колонии; численность ее в начале XX в. доходила до тысячи. По "Статистическому словарю Бессарабии" в 1924 г. в колонии Шабо было 90 семейств (436 мужчин и 505 женщин).

Окончание следует

Александр ЧАЦКИЙ

Точность суждений



Пятьдесят лет назад, в 1957 году, в стране торжественно отметили 100-летие со дня рождения А.М. Ляпунова. Он скончался в Одессе 3 ноября 1918 года.

Оказалось, что его могила на 2-м городском кладбище потеряна. Студенты физмата одесского университета под руководством доцента С.Н. Киро сумели ее отыскать (4-й участок). Решением Одесского горсовета на ней установили обелиск из черного мрамора.

Через 25 лет, в 1982 году, в университетском садике, расположенном между улицами Щепкина и Пастера, был установлен бюст математика.

В этом году к 150-летию со дня рождения А.М. Ляпунова, в частности, "Укрпошта" отметила юбилей выпуском художественного конверта с портретом русского и украинского математика и механика А.М. Ляпунова (художник Г. Варкач).

Всему этому предшествовала жизнь, наполненная трудом — решением сложных математических задач, преподаванием в Харьковском университете.

Начнем с начала...

В городе Ярославле 6 июня (25 мая ст. стиля) 1857 г. в семье астронома Михаила Васильевича Ляпунова родился сын Александр. Отец был директором Демидовского лицея, куда перешел из Казанского университета, где был директором астрономической обсерватории.

Когда Александру было 7 лет, отец, постепенно терявший зрение, вышел в отставку, и семья переехала в имение в Симбирской губернии. Из семерых детей остались в живых три сына: старший Александр, средний Сергей (1859 г.), младший Борис (1862 г.).

Первоначальным образованием руководил отец, но он умер, когда Александру исполнилось 11 лет.

Младшая сестра отца Екатерина была замужем за Рафаилом Михайловичем Сеченовым (братом знаменитого физиолога). После смерти отца

Александр переехал к Сеченовым, жившим тоже в Симбирской губернии. Он подружился с дочерью Сеченовых Наташей, своей двоюродной сестрой, бывшей на год моложе его.

В 1870 г. Александр с матерью и братьями переехал в Нижний Новгород, где мальчики поступили в гимназию. Александр был принят сразу в третий класс. В 1876 году он окончил гимназию с золотой медалью и поступил на отделение естественных наук физико-математического факультета Петербургского университета, но вскоре перешел на математическое отделение, где преподавал П.Л. Чебышев.

В 1879 г. умерла мать Александра Михайловича, и забота о гимназисте Борисе легла на Александра. Борис переехал в Петербург и поселился с братом. Окончив гимназию, Борис поступает в Петербургский университет, где изучает славянские языки и филологию.

С 1881 по 1885 год они занимали комнату у сестры И.М. Сеченова.

В Петербурге Александр сближается с И.М. Сеченовым. Великий физиолог разглядел в молодом ученом выдающийся талант. Иван Михайлович считал, что физиолог должен знать и математику, и Александр давал ему уроки по тем разделам математики, которые особенно интересовали Сеченова.

В это же время у Александра возникла дружба с его двоюродным племянником — Алексеем Крыловым, будущим знаменитым ученым.

Окончив университет, А.М. Ляпунов получил предложение остаться при университете для подготовки к профессорскому званию по кафедре механики. Успешно сдав магистерские экзамены, Александр обратился к П.Л. Чебышеву с просьбой указать ему тему диссертации. Пафнутий Львович предложил тему, касающуюся фигур небесных тел — Солнца, планет, спутников — "фигур равновесия вращающейся жидкости", — задача, которую не смогли решить гениальные Даламбер, Лаплас, Лагранж.

При разработке предложенной темы А.М. Ляпунов встретился с большими трудностями и был вынужден ограничить общую постановку вопроса. В январе 1885 г. он защищает магистерскую диссертацию в Петербургском университете. В одном из французских журналов было опубликовано ее краткое содержание, а через двадцать лет Тулузский университет издал полный перевод работы на французский язык. А.М. Ляпунова утверждают приват-доцентом, и он получает право читать лекции в университете.

В 1885 г. А.М. Ляпунов принимает приглашение Харьковского университета, где появилась вакансия на кафедре механики.

На зимние каникулы 1886 г. Ляпунов приезжает в Петербург, где женится на Наталье Рафаиловне Сеченовой. Брак был исключительно удачным.

Наталья Рафаиловна была образованной женщиной, интересовалась славянскими языками, переводила с сербского, была неплохим художником.

В Харькове А.М. Ляпунов был единственным преподавателем механики, и ему приходилось быть и лектором, и ассистентом. Подготовка к лекциям отнимала много времени. Спустя два года, потраченных на разработку курсов лекций, Ляпунов возобновил интенсивную исследовательскую работу, обратившись к изучению проблемы устойчивости движения. Он создал метод "малого параметра", помогающий решению механических задач. В теории устойчивости А.М. Ляпунов сделал свои основные открытия. Он был активным членом Харьковского математического общества, а затем и председателем его.

К 1891 году серия исследований была завершена в монографии "Общая задача об устойчивости движения", которую издало Харьковское математическое общество, а 30 сентября 1892 г. в Московском университете Александр Михайлович защищает докторскую диссертацию.

Выдающиеся успехи А.М. Ляпунова обратили на него внимание крупнейших русских ученых, и 29 декабря 1900 г. он был избран членом-корреспондентом Академии наук, а через год его избирают ординарным академиком по кафедре прикладной математики.

После 17 лет преподавания в Харьковском университете в 1902 году Ляпуновы переехали в Петербург, где Александр Михайлович оставил преподавание и вернулся к научному творчеству, к проблеме равновесия и устойчивости вращающейся жидкой массы. На пути решения этой проблемы Александр Михайлович "скрестил оружие" с крупнейшими зарубежными учеными — Анри Пуанкаре и Джорджем Дарвином (сыном Чарльза Дарвина). Многолетний спор окончился в пользу Ляпунова.

В Петербурге Ляпуновы вели замкнутый образ жизни. Были они близки с братом Сергеем, который стал видным композитором, пианистом, дирижером, профессором Петербургской консерватории по классу фортепиано. Общались они и с выдающимися математиками: А.А. Марковым, В.А. Стекловым, А.Н. Крыловым и другими.

В 1908 г. А.М. Ляпунов выезжал в Рим на четвертый Международный математический конгресс.

Младший брат Борис обосновался в Одессе. В 1904 г. он стал профессором славянской филологии Новороссийского (Одесского) университета, а в 1923 году был избран академиком и переехал в Петроград. Скончался Борис Михайлович в блокаду, в 1943 году.



В 1911 г. супруги Ляпуновы были в Швейцарии, но здесь здоровье Натальи Рафаиловны, болевшей туберкулезом легких, ухудшилось, и они срочно вернулись в Россию.

Лето 1913 г. Ляпуновы прожили у брата в Одессе, надеясь, что климат южного города благотворно повлияет на здоровье Натальи Рафаиловны. Всеми известными медицине мерами боролся Александр Михайлович с болезнью жены, но туберкулезный процесс прогрессировал. Осенью 1913 года Ляпуновы вернулись в Петербург и не покидали его уже до 1917 года.

В начале мая 1917 года Александр Михайлович был избран почетным членом Новороссийского (Одесского) университета.

В середине мая 1917 года Ляпуновы выехали в Финляндию, надеясь, что смолистый воздух сосновых лесов поможет больной. Прожив на финской даче месяц с лишком, они вынуждены были вернуться в Петроград и собираться в Одессу, так как здоровье Натальи Рафаиловны неуклонно ухудшалось. Борис Михайлович в это трудное время сообщал в Петроград, что в Одессе хлеб и мясо отпускаются без ограничений и без очередей (в отличие от Петрограда). Также и молоко, хотя цены подскочили. Наталье Рафаиловне врачами как первое условие выздоровления рекомендовалось полноценное питание.

За билетами на Одессу пришлось не одну ночь дежурить на вокзале. Да и вагоны в пути набивались пассажирами сверх всякой меры... В Одессу Ляпуновы прибыли 30 июня 1917 года.

Жена Бориса Михайловича рассказывала: "Александр с женой жили у нас на Софиевской улице, дом 10, кв. 12, во втором этаже. Первое время Наталья Рафаиловна еще гуляла по двору, но болезнь развивалась, и Наталья Рафаиловна настолько ослабела, что уже не могла выходить и лежала на балконе. Александр Михайлович, который очень любил цветы, и здесь, на балконе, развел много цветов.

Он окружил жену вниманием и нежной заботой, но был в очень угнетенном настроении, наблюдая все более ухудшавшееся положение больной".

В начале 1918 года Одессу оккупировали немецко-австрийские вой-

ска. Александр Михайлович оказался отрезанным от Петрограда, от Академии наук. Несмотря на это он находил в себе силы продолжать начатую еще в Петрограде работу.

Как пережили они ту одесскую зиму — никто не смог бы рассказать. Электрического освещения в квартире не было, а керосиновые лампы приходилось жечь осмотрительно: ведь кухарка за керосином часами простаивала в очереди, и хорошо, если возвращалась домой не с пустыми руками. Весной 1918 года у Натальи Рафаиловны в результате простуды обострился туберкулезный процесс. Лечившие ее профессора-медики Новороссийского университета еще летом сказали Александру Михайловичу, что надежды на выздоровление нет. Но по его просьбе они продолжали выписывать разные средства для успокоения больной.

В августе 1918 года физико-математический факультет пригласил А.М. Ляпунова прочитать для профессоров университета курс лекций на любую избранную им тему. Начиная с 16 сентября 1918 года по понедельникам Александр Михайлович начал читать курс "О форме небесных тел". Его слушали профессора и преподаватели университета (В.Ф. Каган, С.О. Шатуновский, И.Ю. Тимченко и другие). Но чтение любимого предмета не спасало его от глухого отчаяния: здоровье Натальи Рафаиловны ухудшалось с каждым днем.

"Сам Саша так ослабел последний месяц, что с трудом мог добраться домой после еженедельных лекций", — писал Борис из Одессы Сергею



Братья Ляпуновы

в Петроград. Тяжелые нравственные переживания и физические лишения надломили Ляпунова. К тому же у Александра Михайловича начал развиваться катаракт (по-видимому, наследственный), а это лишало его возможности работать. Последняя лекция состоялась 28 октября (всего было прочитано семь двухчасовых лекций).

31 октября скончалась Наталья Рафаиловна. В тот же день Александр Михайлович выстрелил себе в голову. Три дня он не приходил в сознание и 3 ноября скончался в хирургической клинике Новороссийского университета.

В последней записке, оставленной Александром Михайловичем на столе, он писал: "Мы прошли весь жизненный путь вместе, должны и окончить его вместе. Прошу похоронить меня в одной могиле с Наташей". Его просьба была выполнена. Гроб от здания университета до кладбища студенты несли на руках. В последний путь провожали великого ученого многие, в том числе слушатели его последнего курса лекций.

Воспоминания близких друзей позволяют воссоздать облик Александра Михайловича. Академик В.А. Стеклов вспоминал: "...за внешней сухостью и даже суровостью в А.М. Ляпунове скрывался человек большого темперамента, с чуткой и, можно сказать, детски чистой душой".

Внешняя суровость Александра Михайловича была следствием огромного творческого напряжения. Он придал многим разделам математики и механики ту точность суждений, которая украшает математические науки.

Вскоре после кончины Александра Михайловича обнаружили завершенную им неопубликованную работу. Труд был обширен и изобиловал многими счастливыми находками и изобретениями в математике. Передал рукопись в Российскую академию наук одесский профессор А.Я. Орлов, астроном, которому довелось слушать последние лекции академика Ляпунова. Подготовил труд к печати и предисловие к нему написал академик В.А. Стеклов, единственный ученик и ближайший друг Ляпунова. В 1925-1927 гг. это сочинение вышло в Ленинграде двумя частями.

В сентябре 1923 года из Петрограда на Штеттин вышел пароход "Прейсен". Среди его пассажиров был профессор Петроградской консерватории С.М. Ляпунов, отправившийся в годичную концертную поездку за границу. Концертная деятельность проходила успешно. Как вдруг случилось роковое: накануне завершения отпуска, в сентябре 1924 года, С.М. Ляпунов скончался во время сна за несколько часов до выступления в симфоническом концерте. Похоронили его на парижском кладбище Батиньоль.

Через 15 лет в семье родственников жены Сергея Михайловича в Париже была обнаружена рукопись его последнего произведения, второй симфонии. После публикации оказалось, что это самое замечательное из его творений.

Идеи А.М. Ляпунова, особенно теория устойчивости движения, получили дальнейшее развитие, и только проблема Чебышева была решена А.М. Ляпуновым с такой полнотой, что сделать в ней с тех пор большее трудно.



Лада ПРОКОПОВИЧ

Не понимаю!

В одной из одесских газет я прочла объявление:

"*Одна из телекомпаний обращается с просьбой об организации съемок и поиске людей для документального проекта об оккупации... Нам нужны люди, которые пережили оккупацию в Одессе и могли бы об этом рассказать. Подтемы:*

— *мирная жизнь в городе, развлечения, работа театров, кафе;*
— *жизнь в детском доме, который находился в одесских катакомбах;*
— *взрыв в гестапо;*
— *история любви одесской девушки и румынского оккупанта;*
— *пресса в оккупационной Одессе...*

Просим вас о содействии и заранее благодарим".

Текст этого объявления примечателен сам по себе. Достаточно обратить внимание на слова "мирная жизнь в городе". Это во время войны-то! То есть если по центральной улице города не проходит непосредственно линия фронта, то войны как бы и нет? Да, конечно, жизнь в оккупированном городе была сложной, разноплановой — развлечения и гестапо, кафе и катакомбы, — но ведь шла война. Война — это не мир. Или я чего-то не понимаю?

Скорее всего, дело обстоит именно так — не понимаю. В последнее время я очень многого не понимаю. Не понимаю политики украинских властей по отношению к воинам УПА, не понимаю действий эстонских властей по отношению к Бронзовому солдату... Не понимаю, почему страшную правду о той войне мы сейчас хотим размыть сентиментальными историями о любви одесских девушек и румынских оккупантов.

Да, вероятно, такие истории были. Любовь, опаленная войной, настигала людей и по ту, и по другую сторону фронта. Но почему с такой ужасной формулировкой — "история любви одесской девушки и румынского оккупанта"? Не солдата, не юноши, а оккупанта? Кто станет рассказывать о такой любви? Эта тема слишком интимна и болезненна, чтобы затрагивать ее с таким подтекстом.

Или я опять чего-то не понимаю?

И почему именно с румынским оккупантом, а не с немецко-фашистским захватчиком? Таких историй тоже, поди, было не мало. Но авторы проекта почему-то настаивают на румынских оккупантах. Почему? Этого я тоже не понимаю. Хотя смутно догадываюсь.

Как-то в разговоре мой друг заметил, что в оккупированной Одессе румыны вели себя мягче, чем немцы. "С чего ты взял?" — спросила я друга. "Ну как же! — ответил он. — Это известно. Все так вспоминают. Все так считают".

Получается, что я — единственная, кто так не считает. И не считаю я так с тех пор, как однажды совершенно случайно услышала, как моя бабушка поведала, даже не мне, а при мне, историю, которую она никогда и никому больше не рассказывала. Поскольку мне тогда было от силы лет двенадцать, а история эта никогда больше не всплывала, то подробностей я не помню, о чем отчаянно сожалею, ибо подробности порой говорят больше, чем сам факт. А факт таков.

Во время войны моя бабушка работала кассиром на железнодорожной станции Раздельная Одесской области. Однажды, когда она шла с работы и несла сумку с деньгами — своей зарплатой, — на нее напали румынские солдаты. Их было трое. Она — одна. Они — с автоматами. Она — с дамской сумочкой. За сумку с деньгами она держалась крепче, чем солдаты за свои автоматы. Пытаясь отобрать у нее сумку, они несколько метров проволокли ее по гравию железнодорожной насыпи. Но ободранных в кровь ног и рук оказалось недостаточно, чтобы молодая девушка выпустила из рук сумку с бумажками, на которые должна была жить целая семья. Тогда солдаты стали бить ее ногами. Удары сапог в живот и по почкам возымели, наконец, действие. Сворачиваясь калачиком и хватаясь за живот, девушка забыла о сумке. А бравые солдаты, отвоевав добычу, еще раз поддали сапогом эту упрямую стерву и отправились навстречу новым подвигам.

"О чем я тогда думала?! — сокрушалась бабушка по ходу своего повествования. — Деньги они все равно отобрали бы. А так еще и убить могли... Кто бы тогда семью кормил? Ведь я одна работала..." Но больше, чем своему упрямству, бабушка удивлялась своей выносливости. Как она смогла дойти до дома? "Ведь ни разогнуться не могла, ни ногой пошевелить... и голова раскалывалась..." Но она дошла. А дома... дома — "второй фронт", то есть постоялец. Немецкий офицер. Врач.

С первых дней своего поселения он требовал, чтобы ужин ему подавала она и только она. Не ее мама, не кто-то из двух ее сестер, а она. Смею предположить, что из-за ее чертовской красоты (примесь греческой крови давала о себе знать и в чертах лица, и в осанке). Понятно, что в тот вечер она была не в состоянии принести ему ужин. Но когда немец вместо нее увидел ее мать, он стукнул кулаком по столу и потребовал Катарину. (Мою бабушку звали Катей. Если бы немец слышал, как она пела "Катюшу"!..)

Катарина, собрав последние остатки воли, внесла в комнату офицера поднос с ужином. Когда она дрожащими руками наливала чай, офицер обратил внимание на ее левую руку. Неожиданно он схватил ее за запястье, задрал рукав и стал пристально рассматривать свежие царапины. Потом покраснел и наотмашь ударил девушку по лицу. Удар был такой силы, что она не удержалась на ногах и упала, увлекая за собой скатерть с чашками и тарелками. На шум прибежали мать и сестры.

"Что это?!" — заорал немец, показывая им Катину левую руку, на внутренней стороне предплечья которой виднелась небольшая ранка. А от ранки почти до середины плеча тянулась тонкая красная подкожная полоска — красноречивый намек на заражение крови. "Откуда это?" — продолжал допытываться немец. Мать с сестрами сбивчиво рассказали о происшествии, а немец еще больше рассвирепел. "Идиотки! Почему не сказали мне сразу? Мне, врачу! Ты, мать, понимаешь, что жизнь твоей дочери идет на минуты?.." — так или примерно так высказался врач и велел принести самогонки. Влив в теряющую уже сознание девушку стакан ядреного раздельнянского самогона, он обработал ним же и скальпель. Оперировал тут же, на столе, покрытом простыней, и какими-то немецкими ругательствами. А затем долго выхаживал пациентку, удивляясь крепости ее молодого организма, потерявшего столько крови, но не потерявшего желания жить.

Я не знаю, что было дальше. Вернее, не знаю, КАК это было. Я знаю, что 4 апреля 1944 года 37-я армия и конно-механизированная группа под командованием генерал-лейтенанта Плиева освободили Раздельную. А 10 апреля наши войска освободили Одессу. Но как это происходило в отдельно взятом доме, доме моей бабушки, — не знаю. Бабушка об этом не говорила, а я была слишком юной, чтобы понимать, что есть вещи, о которых если не спросишь сейчас, то не спросишь уже никогда. И я не спросила. Не успела. Бабушка умерла, когда ей едва перевалило за шестьдесят. А мне казалось, что еще вся жизнь впереди: успеем и наговориться, и натанцеваться (она учила меня танцевать вальс), и не раз еще споем "Катюшу"...

Тогда я не понимала — ох дура, дура — ценности таких воспоминаний.

Теперь не понимаю попыток их переоценки.

Но я понимаю, что если бы не тот немецкий врач, то не было бы сейчас на свете ни меня, ни моего сына. А если бы не те румынские солдаты, то моя бабушка прожила бы, наверное, чуть дольше и смогла бы поведать и мне, и телеканалу подробности своей "мирной" жизни в оккупации.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Саша из Белого города
Короткий роман

Мечта

Саша мечтала — вырасту, стану красивой цыганкой с чистой смуглой кожей. Пышные волосы узлом затяну. Строгий английский костюм и туфли на шпильках и — пройду между пестрыми крикливыми цыганками. Никогда не буду толстой, неопрятной, в мужских стоптанных башмаках.

Папа, родившийся у русских отца и матери, тоже о цыганах мечтал. Пятнадцатилетним парнишкой удрал из дома в табор. Его приняли. Кажется, он увел коня из колхозного табуна...

Отец же его, Сашин дед, всю речку Десну в районе Бежицы с багром прочесал в поисках утопленника. Спустя лето табор откочевывал в иные места, и отец Саши вернулся домой, на всю жизнь сохранив любовь к простору, звездам, живому огню костров и лошадям.

— Саша, — спросил отец, — ты правда хочешь вырасти в цыганку? У тебя не получится!

— Почему?

— Потому что ты русская девочка.

— Это навсегда?

— Это навсегда, — сурово ответил папа.

...Долго сидела Саша, прижавшись к отцу, переживала. А потом сказала успокоенно:

— Значит, и в мужчину никогда. Правда?

— В мужчину не вырастешь, — улыбнулся папа.

Космос начинается с неба

Ранним утром тысяча девятьсот пятьдесят шестого года худенькая босоногая девочка лет семи сидела на берегу лимана и думала о жизни:

— Зачем все это, — спрашивала она себя, — эти разговоры между людьми, что невозможно жить, не умирая? Обязательно умирать? Вон сколько кладбищ понастроили — кресты, памятники, гробы, — что, не могут придумать таблетку? Они враги, жареный лук едят, воняют гуталином и цветочным одеколоном и все время врут. И зачем-то — учат, наказывают, как будто я не человек, а животное. Заставляют есть, когда аж тошнит. Или

спать, когда не хочешь. Прямо не дают жить. Сама вырасту. И не буду умирать из-за их гадства. Уйду, как только вырасту, вот прямо сейчас уйду, чтобы не умереть однажды.

— Саша, Саша! — надрывался мамин голос. — Где ты? Домой иди!

— Ну вот, — Саша поднялась, вытащила из кармана дулю, покрутила, разжала пальцы и отозвалась: — Иду-у!

Лиман был широким, из Белого города на Овидиополь ходил паром, медленный, ленивый. Всегда дождь лил, когда приходилось переправляться. Саша мучилась терпеливо — потом, после парома и дождя, начинался путь на автобусную станцию. Идти нужно было мимо умытого виноградника по грунтовой дороге. И только потом душный маленький автобус привозил в Одессу.

Саша любила место, с которого начинался город: асфальт, два бронзовых льва и фонтан — Дерибасовская, галдящая и суетливая, все натыкаются друг на друга. Слева от Городского сада поворот на треугольную площадь, с которой виден Дюк, всегда стоящий спиной, глядящий в море. Саше хотелось, чтобы памятник оглянулся.

...Мама велела руки вымыть и обедать, а не витать неизвестно где.

— Известно где, — строптиво сказала Саша.

И посмотрела на маму внимательно. У мамы толстая коса вокруг красивой головы, глаза в солнечных крапинках и злые сросшиеся брови.

— Известно где, в Одессе.

— Что в Одессе? — спросила мама.

— Витаю в Одессе.

— И как там? — думая о чем-то своем, сказала мама.

Саша поняла, что отвечать необязательно.

— Не ешь левой рукой!

— Сказала бы спасибо, что вообще ем, — помрачнела Саша.

Вообще ем этот ее борщ с вареной капустой — папа говорил, что если есть капусту в борще, то вырастут сиськи, как у тети Жени. Большие и мягкие. Как будто я хочу такие сиськи... С отвращением отодвинула тарелку:

— Не буду!

— Не надо, — неожиданно согласилась мама.

В это время радио торжественно заговорило о непонятном. Спутник запустили в космос.

— Что такое спутник? — спросила Саша.

— Это тот, с кем ты идешь куда-нибудь, — невнимательно ответила мама.

— А что такое космос?

— Это бесконечное небо, — прищурившись, мама чесала шпилькой в ухе и морщилась раздраженно.

— А начало у него есть?

— Какое же начало, если оно бесконечное, — непонятно сказала мама. — Бесконечность, это когда нет начала и нет конца.

— А что есть? — спросила Саша. — Что в ней тогда есть-то? Это круг, что ли?

— Нет, это наполнено воздухом во все стороны, и в нем плавают звезды, Луна и Солнце, и девять планет. Может быть, планет больше, теперь вот там еще будет летать наш спутник.

— Почему наш?

— Потому что это советский спутник, — ответила мама.

Отодвинутая Сашей тарелка борща осталась незамеченной, и она, воспользовавшись невнимательностью мамы, выскочила за дверь. Это самый любимый момент жизни, — подумала и рассмеялась: как здорово закрыть дверь и дышать ветром!

Если долго смотреть в космос, что получится? Откуда лучше? С высоты, конечно! Саша помчалась на высокий берег лимана, залезла на шелковицу и, прижавшись к ветке, засмотрелась в небо. В небе висела птица. Она висела неподвижно и вдруг взмахнула крыльями. Медленно кружась, с высоты падало перо. Саша слезла с дерева и перо нашла. Ястреб, решила, и опять забралась на дерево. И к ней пришла мысль. Сначала одна, потом другая, потом зазвучали в голове слова непонятные, вроде кто-то включил радио. И Саша запомнила: если космос, то сначала — небо, потом высота, птицы полет и голоса. И научилась на всю жизнь играть в игру, о которой никому не рассказывала долгие годы, потому что — тайна.

Годы прошли... Мама с папой переехали в Одессу, потому что был шестьдесят первый, и Сашин папа попал под хрущевское сокращение армии, и его уволили навсегда.

Теперь офицерская плащ-палатка забыто висела на вешалке, Саша иногда залезала в ее темное пахнущее походами нутро, внюхивалась, придумывала разное... Про войну, путешествия... Вслушивалась в шуршание прорезиненной ткани.

Перестали по ночам прибегать за папой посыльные... Мама перестала собирать папины вещи в "тревожный чемоданчик", стала меньше волноваться — как он там, на полигоне, успеет ли вовремя поесть, передохнуть?

После трудной войны папа тяжело заболел, но не хотел увольняться, а мама была настоящей офицерской женой — готовой, "как нитка за

иголкой", переезжать со всеми "бебехами" куда угодно, лишь бы быть с папой рядом.

Так что Саша росла в гарнизонах, и переезд в любимую Одессу был для нее праздником. Но и началом непонятной жизни, где все, что раньше было целым, весь огромный мир, наполненный ветром, настоянном на солнце и степном духе, наполненный плеском верхоплавок в лимане, частыми слепыми дождями и свободными людьми из Белого города, знающими, что такое интересно жить, — этот мир, привычный и любимый Сашей, стал рассыпаться.

Отрочество

Постепенно военные тревоги в доме успокоились, и папа обживался в новой жизни "на гражданке", а семья помогала ему справляться с тоской по армии. Папа скучал и, чтобы превозмочь, пошел переучиваться с артиллериста на инженера-строителя.

В новом мире все вдруг стало для Саши отдельным, все стало само по себе, не объединенное космосом, в который, как жданная гостья, входила девочка через дверь на шелковице. Тутовое дерево, раскидистое и старое, как старая турецкая крепость у него за спиной, осталось покинуто стоять на высоком берегу Днестровского лимана.

Люди в большой Одессе искали друг друга, но негде им было объединиться, кроме как в местах скучных и скученных: трамваях, магазинах, на Привозе, куда Сашу стала брать мама по субботам за покупками — приучая к домоводству.

Даже новая, городская школа оказалась для Саши неинтересной и напрягающей. А раньше, в детстве (сейчас ей уже исполнилось десять лет!), люди объединялись в более подходящих, в ее понимании, местах: у норы тарантула на солнцепеке или могилы скифского князя, что в степи у мясокомбината, или у гаубицы, там, где вообще лазить было нельзя, но хотелось и — получалось.

Детство закончилось, поняла Саша, и надо теперь строить новый мир, не жить же в их взрослом, чтобы умереть от этого однажды. Надо обживать иной, чем есть в Одессе, мир, вдруг и сразу разонравившийся, Одесса взрослой жизни испугала.

Начало этой жизни было неправильным, потому что завязывалось на желтый нейлоновый бант. Его каждое утро вплетала мама в рыжую Сашину косу. Вид у банта был болезненный, и Саша чуяла, что из-за него пло-

хо кончится начало взросления. Так и вышло. Вся пожелтела, вся! Даже глаза! Из-за этого ее отправили с урока природоведения домой вместе со звеньевой пионерского отряда Томой Политовой. И для Тамары этот уход с занятий плохо закончился. И она пожелтела.

Оказалось, что желтый бант Саши окрасил в желтый цвет половину четвертого класса "Д", и в школе из-за чертова этого банта объявили карантин. Бант заразил всех болезнью Боткина. Она так по-настоящему и называлась: желтуха.

Когда выздоровела, Сашу освободили от многих школьных предметов: и физкультуры, и украинского языка, даже математику можно было пропускать иногда, когда болело в правом боку и кружилась голова.

— Саша, — спросила Наташка, — ты почему побила Яхедца тапком? Он тебе на мозоль наступил?

— Еще чего — он мне кончик косы бритвой отрезал!

— Так и что, ты же давно хотела отрезать всю косу.

— Так это я сама хочу, а не чтобы кто-то снасильничал.

— И потому ты сама снасильничала?

— Я — в ответ. Чтобы не стать беззащитной. А то привыкну, и все, кто чего захочет, — то и сотворят со мной. Как со всеми этими во внешнем мире.

— С кем с "этими", в каком таком мире? — спросила Наташка.

— Внешний мир — это родственники и знакомые кроликов, а кролики — мы.

— Я не кролик, — гордо сказала Наташка, — я — человек.

— А, ну тогда понятно, — задумчиво протянула Саша, — тогда тебе надо озаботиться и прожить жизнь так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы. Тогда тебе надо учиться, учиться и учиться. И тогда из тебя точно выйдет толк. Вопрос в том, что останется?

— Сильно ты завзятая, — Наташка дала обидный поджопник, и Саша, отлетев, молча поднялась, встряхнулась по-собачьи и затаила на дуру Наташку опасное чувство мести.

Саша мстила беспощадно, умело выжидая, пока обидчик подставится и можно будет его за руку схватить, обязательно публично. Компрометируя раз и на всю оставшуюся жизнь. Чтобы ему таки стало мучительно стыдно.

Девочки дружили уже несколько лет — Наташка была крепка физически и с четвертого класса покровительствовала бледной и хрупкой Саше. Доучившись до девятого, они хорошо узнали друг друга, и Наташка поня-

ла, что совершила ошибку. Она увидела, как сощурилась Саша, как побледнела и губу закусила.

— Эй, — она хлопнула подружку по плечу, — не дуйся, я сглупила.

И по тому, как промолчала Саша в ответ, поняла, что извинениями не обойдешься. Придется пережить неизвестно что, с Сашей всегда неизвестно, во что выльется любовь ли, ненависть, — самое непонятное, что пришлось пережить однажды гордой Наташке, это равнодушный взгляд Саши на поножовщину во дворе школы. Дрались Гришка Назаров и Аркаша Соллогубенко. Гришка отморозок, второгодник, Аркаша занюханный интеллигент. Сашин друг. Дрались из-за Саши. Она стояла, прикрыв глаза, и не смотрела. Но и не уходила. Все суетились, бегали, руками размахивали. На Сашу орали, мол, — что, не видишь? Не смотрела. А потом неожиданно для всех стала между, прямо под нож, и не успел Гришка руку затормозить. А она успела свольтировать, нож по касательной задел, распоров правый рукав коричневого форменного платья и оцарапав. Но выражение равнодушия надолго застряло на Сашином лице.

Сейчас Наташка не знала, что сделать, чтобы вывести подружку из ступорного мстительного молчания. Она на физике подошла к Сашиной парте и, сказав обидное, уронила на пол папку с рефератом, над которым Саша работала вторую неделю. Из папки рассыпались фотографии кинорубок и киноаппаратов (отец Саши работал инженером в управлении кинофикации и помогал). И вот Саша сначала молча смотрела на Наташку, потом кивнула понятливо, поднялась и влепила пощечину.

Физичка обеих за шиворот выставила из класса. Класс недоуменно молчал.

Наташка поняла, что отделалась малой кровью.

Одного не поняла Наташка, да и как это было понять? Того, что все между ними закончилось. Пять лет дружбы закончились.

Наташка поймет это спустя школу, когда Саша позвонит в ее дверь и скажет:

— Ты хотела узнать, что происходит, когда совершаются непоправимые ошибки? Я пришла тебе рассказать об этом.

Это спустя три с половиной года...

Дружбу так и не удалось склеить.

Что-то с Сашей было не так. Со всеми другими — так, а с Сашей — нет.

И тогда Саша придумала найти высокий берег над морем, и обязательную шелковицу, как было в Белом городе над лиманом. Чтобы сходить в гости к Космосу и разобраться со всем окончательно. А еще ей надо было

узнать, что делать дальше, как жить в мире, не принявшем почему-то ее, Сашу.

Одиноко бродила она по-над пляжами, внизу бормотало море. Берег осыпями сбегал к прибою, привнося в запах йода — запах цветущей ромашки. Изредка встречались сиреневые бессмертники, и Саша думала, что там, где бессмертников больше, там она и найдет свою шелковицу, двери в заждавшийся ее Космос.

Что на дереве растет?

Саша носила сандалии, а мечтала о теннисных тапочках. Однажды она убежала из дома и отправилась гулять по городу. Стоял жаркий пыльный июнь. Город был старый, городу было очень много лет. Нет, веков. А может быть, даже тысячелетий. Над берегом Днестровского лимана высилась турецкая крепость — с башнями, подъемным мостом, но он уже больше не поднимался, потому что сломались механизмы, глубоким рвом вокруг съеденных, словно зубы старика, стен.

Возле крепости археологи раскапывали глубокий город, в котором жили древние греки. Саше о них рассказывал папа тогда, когда ей еще не было девяти лет. Когда сандалии купили, в начале лета, тогда нога еще в них помещалась, а теперь пришлось прорезать дырки для больших пальцев, и они торчали из приспособленных к росту ноги ненавидимых Сашей сандалий. Она стеснялась и мечтала о новых теннисных тапочках из пахучей кожи. Но мама ворчала, что не напасешься, а бабушка говорила, что полезно бегать босой, а папа сам дырки и прорезал — так что никакого сочувствия к Сашиным переживаниям и мечтам никто не проявлял.

Недалеко от Сашиной школы был базар, мусорный, галдящий, воняющий. За рыбными рядами стояла старая липа. На нижней ветке листья были обглоданы жарой, и вместо них там росло что-то невероятное. Саша даже зажмурилась — не поверив. На нижней ветке, прямо над головой — росли синие тапочки. Теннисные. Как синие кожаные листья. Связанные шнурками и перекинутые через ветку, они покачивались. Они взгляд Сашин приковывали. И она их хотела. Саша поняла, что эти синие тапочки — ее. На дереве выросли, потому что — мечта. И вот она их нашла!

Кто-то спросил:

— Твои тапочки, деточка?

Кто-то их снял и дал Саше. И Саша держала тапочки, смотрела

на них — пока солнце не скатилось в лиман. Боялась, что отберут. Не верила своему счастью. И знала, что никому не отдаст, потому что — для нее выросли. Но уйти не решалась.

Никто не обращал на Сашу и тапочки внимания. И когда уборщик сказал, чтобы она не торчала, как столб, и не мешала мусор мести, Саша села в пыль и переобулась.

Тапочки были тютелька в тютельку — и уверенная в чуде, Саша побежала домой.

Находки

— Папа, — сказала Саша, — посмотри, какая ложечка! Золотая! С камешками...

— Это немецкая, трофейная, — сказала толстая тетя Женя. — Аким из Германии привез.

Взрослые отвлеклись, а Саша положила ложечку в карман. И забыла о ней.

Потом она долго шла с папой по улице Энгельса вдоль забора воинской части, в которой папа служил, и загребала пыль синими теннисными тапочками. Пыль была теплая, глубокая. Саша споткнулась о камень, подбила его и вспомнила о ложечке. Повертела удивленно в руке и, размахнувшись, бросила далеко в пыль:

— Папа, папа, а что мы сейчас найдем! — закричала радостно.

— Что? — заинтересовался папа.

— А вот посмотрим!

И Саша кинулась искать в пыли. Могла бы и не найти. Но — нашла. И, торжествующе:

— Вот что! — протянула папе ложечку.

Папа как-то странно посмотрел на Сашу и сказал:

— С камушками. Для солонки ложечка. Пуд соли съесть. Ну что же, начнем есть наш пуд соли, — и отдал Саше находку.

— Знаешь, Саша, — сказал папа, — почти восемь лет назад закончилась большая война. С фашистами. Наши солдаты, когда гнали немцев в их Германию, проходили по разным чужим странам. И везде в пыли дорог случались находки. Некоторые из нас поднимали их и привозили к себе домой. Некоторые брезговали. А некоторые брали, пока были глупыми, а потом умнели и начинали брезговать. Потому что находка находке рознь. Понятно?

— Нет, — честно сказала Саша. — Если находка, то это уже мое, а никакая не рознь. Почему брезговать?

— Ну, как же не рознь? Вот твоя ложечка... — папа покрутил ухо. — Сначала дядя Аким нашел ее в Германии и привез домой. Потом ты ее еще раз нашла у него... а потом в пыли. И посчитала своей. А теперь как раз рознь и начинается. Теперь ведь ложечку надо дяде Акиму нести, отдавать. Рассказать, как это получилось. И тете Жене сказать...

— А кому сказать про мои синие тапочки? Опять на дерево повесить, чтобы дальше росли? Они-то точно мои, — сказала Саша уверенно. — Я же тебе говорила, как в тот раз все было, помнишь?

— Да, — у папы голос стал напряженным, — тапочки твои, потому что — некому отнести. А что на дереве выросло, то Бог послал, наверное. Но с ложечкой иначе, ее Бог дяде Акиму послал, а себе ты сама послала ложечку, ведь правда? Так что давай-ка вернемся.

И они вернулись. Папа сказал дяде Акиму, что у Саши возникла проблема, она ее решит, а мы пока покурим.

Вот они курили, а Саша ложечку незаметно положила, откуда взяла. Никому ничего не сказала. Чтобы розни не случилось.

Папа не спросил, как Саша решала свою проблему. Они опять шли долгой пыльной дорогой, и папа рассказывал:

— Когда же моему батальону пришлось переплывать Дунай на плотах, то мой чемодан рядом с пушкой лежал. И весь расчет, солдаты мои, сидели на плоту. А мне нужно было на лодке к другому расчету подплыть, ну, я поплыл. А в тот плот, где солдаты, пушка и мой чемодан — прямое попадание.

Саша уже знала, что это значит, — это столб огня, воды, никого живого, и пушки лежат на дне.

— Я сразу понял, почему так произошло, — сказал папа зло. — Потому что на плоту мой чемодан стоял. А в чемодане — коричневое кожаное пальто. Новенькое. Мечта, а не пальто. Понимаешь, в том городе, из которого мы переправлялись, прямо на площади был магазин кожаных изделий. И в его витрину въехал подбитый танк. Я — тоже въехал в эту витрину, ну, не я один. Туда все, кто мимо проходил, заглядывали. Что-то находили себе, что подходило. Я вот пальто нашел. Это первая моя на войне такая находка.

— Какая? — чутко уловила Саша что-то незнакомое в папином голосе.

— А вот когда находка находке — рознь. Такая вот находка... Когда снаряд попал в мой плот, я понял, что не Бог мне пальто послал, а сам

я его взял, где не надо. Нельзя. И потому-то снаряд точнехонько в мой чемодан попал.

И тихо сказал:

— С тех пор глаза утонувших солдат на меня по ночам смотрят. А я — никогда ничего больше не брал... не находил. Чужого. И своего не отдавал. Берегся. Всякой вещи свой хозяин должен быть. Настоящий.

Прошло несколько дней. Саша как-то, когда папа пришел со службы обедать, подсела к нему:

— Па, а дядя Аким ведь не знает, кому ложечку отнести?

— Не знает.

— Так пусть, как я, тихонечко отнесет и положит, где нашел...

— А синие тенниски? — спросил папа.

— Так я же их уже почти сносила... — растерялась Саша.

Папа потрепал Сашу за косичку и сказал, что нет уже того места, куда ложечку отнести можно. Дом был разрушен, иначе — никогда бы не нашел дядя Аким такой маленькой ложечки и не взял ее себе. Ему ее, как и Саше тапочки, Бог послал...

Наверное.

Первый на всю жизнь

Мокрица был белобрыс и толст. Звали его Валерка Мокринский. Однажды он захотел положить букет на Сашин подоконник, но не снаружи, а вовнутрь комнаты. Он залез на окно, просунулся в форточку, рассыпал цветы по подоконнику и дивану, который у окна стоял, и — не смог из форточки высунуться. Застрял попой наружу.

По этой попе его и хлопнул Сашин папа. Вытащил несчастного Мокрицу за ноги и ничего сказать не успел — так Валерка рванул...

Саша цветы собрала, поставила в вазу и решила, что несдобровать теперь Мокрице, опозорившему ее! Надо же — попа из форточки! Гадость какая. Но вазу на стол поставила. Цветы были ранние, только-только из-под снега.

Когда Саша сцепилась с Валеркой, она кричала ему:

— Гад! Первые цветы в жизни и — задница из форточки! Гад! Все испортил!

И — била Мокрицу камнем по плечу, а то и по голове бы дала, но — не дотянулась.

Мокрица камень отобрал и странно сказал:

— Ты, Саша, глупая. Если и дальше такой жить будешь, никто тебе цветов не подарит больше. И ты меня на всю жизнь запомнишь. Как первого и единственного.

Саша росла и всех отучивала дарить ей цветы. Она научила, чтобы ей вместо цветов дарили бусы, стеклышки ей нравились больше, чем быстро вянущие цветы. Мокринский ни при чем, просто смотреть на умирающие цветы в вазе, а потом выливать задохнувшуюся мертвую воду и вазу мыть — Саше противно. А вот гладить пальцами разноцветные бусинки, согревать стекляшки в ладошках ей нравится.

И всегда, когда Саша перебирает бусы, хранящиеся в большой вазе-лодке, она вспоминает Мокрицу, думая, что он умный. Был. Ведь Саша и впрямь запомнила его на всю жизнь — как первого и единственного.

...А Мокрица... Он плохо кончил — когда вырос. Опять залез в какую-то форточку. Застрял там. И его посадили в тюрьму.

Дети не ошибаются

У Людки Парфеновой, соседской девчонки, жила белая кошка с голубыми глазами. Гретка. Странная была кошка. Сидела, смотрела и не мяукала.

И Людка была странная. Похожая на свою Гретку.

Правда, глаза у Людки были зеленовато-рыжие. И она не молчала. И не сидела. А бегала, прыгала, болтала. Но все равно. Людка была похожа на Гретку.

Когда прошло много лет, Саша встретила случайно Людку, и стало понятно то, что раньше не понималось.

Людка была по-кошачьи грациозной. Она гибко двигалась, плавно перетекала из ног в грудь и руки, и в то же время — шла по улице мягкой вихляющей походкой.

В ней все было сосредоточено в какой-то удивительной подвижной гармонии. И еще... странность одна... Она заметилась спустя некоторое время, когда Саша опять случайно пересеклась с Людкой.

Людка оглохла. И стала похожа на Гретку еще больше. Выражением задумчивости, сосредоточенности на чем-то внутри себя.

И тут Саша поняла, что Гретка была глухой кошкой. Ведь все кошки — альбиноски с голубыми глазами глухи, об этом в книжке написано.

Так что первое впечатление о похожести Людки и Гретки было верным.

...Дети вообще никогда не ошибаются. И если прислушиваться к первому ощущению в себе, к безошибочности детского наблюдения, то, может быть, можно что-то изменить в будущем.

Например, предупредить нараставшую Людкину глухоту...

Арифметика

Чулки намокали постепенно. Уже были мокрыми косточки, которые торчали, как уши, — на каждой ноге по два коричневых уха. Выше, над ушами, чулки в резиночку были пока сухими, но по узеньким бороздкам уже ползла вверх влага.

Когда коленки станут мокрыми, я заболею, подумала Саша. Обязательно заболею. И не нужно будет решать, какой резервуар наполнится водой и за какое время.

Резервуары были из задачки, а задачка под номером тридцать четыре — в учебнике арифметики для третьего класса.

Саша не умела решить ее, и мама в наказание выставила неумеху за дверь. В одних чулках.

Мама не заметила, что дождь, что левый тапочек под столом, а правый — на стуле.

Когда Саша сидела, правая нога всегда забиралась на стул, коленка торчала выше головы. За это девочку пугали противным словом "сколиоз". "У тебя будет сколиоз!" — и Саша чувствовала, как он подкрадывается: скользкий, извивающийся, как дождевой червяк.

И вот она стоит на крыльце в мокрых чулках, переступает с ноги на ногу и кутается в продранную на рукаве красную шерстяную кофту.

О маме Саша не думает. Не сердится на нее. У девочки еще нет злой памяти.

...Поздний вечер. Жарко. Ладошки мокрые, особенно если провести по лбу. Лоб тоже мокрый. И волосы, туго заплетенные в косицы, по косе над ухом, мокрые.

Мама говорит:

— Иди, помоги раздеться Саше. Что она возится там так долго?

"Долго там так... там так..." — стучит у Саши в голове, и голова похожа на казанок, в котором варится картошка в мундире. У Саши температура.

Подходит старшая сестра, стягивает с Саши платье, расстегивает байковый лифчик, и он падает Саше на коленки. Саша встает с кровати — лифчик соскальзывает и повисает на резинках. Сестра наклоняется, отстегивает резинки, уносит лифчик и платье.

Саша стоит, а чулки медленно сползают. Сегодня чулки сухие, сегодня мокрые голова, руки, думает Саша.

На полу валяется свернутый листок. Заходит сестра, поднимает его и разворачивает. На листке решение арифметической задачи номер тридцать шесть. Из пункта А в пункт Б выехали два поезда; известно время отправления и скорость, надо узнать, на каком километре они встретятся.

— Саша, — говорит старшая сестра маминым строгим голосом, — Саша, ты опять списала задачу у Витьки Шилова!

Витька Шилов — футболист. У него крепкие ноги в китайских кедах "два дракона", круглые глаза, как вишня-шпанка, и вихор над упрямым лбом. "Корова языком лизнула", — говорит учительница Прасковья Емельяновна.

Саша любит Витю, и поэтому, когда дежурит, ставит на его парту чернильницу с голубым футболистом. Это единственная чернильница с таким рисунком, и в классе, когда дежурит Саша, никто на нее не претендует.

— А вчера на уроке арифметики случилось невообразимое, — рассказывала Сашина подружка Лорка Коросташевская Витке Кириченко по дороге из школы домой. — Поднимает Сашка руку, ну мы ахнули, это на арифметике-то! Думали — отвечать хочет, чуть не умерли от удивления. А она вдруг: "Прасковья Емельяновна, пересадите меня, я хочу с Витей Шиловым".

— И что? — делает губки бантиком Витка. — Пересадила?

— А Прасковья Емельяновна спрашивает: "Почему?".

— Сашка отвечает: "Я его люблю". Тут уж мы все вымерли — и в хохот. А Саша стоит молчит. Щеки у нее знаешь какие? Когда она молчит, щеки у нее, как у маленького бульдога трясутся, и такое лицо, такое... Прямо хочется его спрятать ото всех... А Прасковья Емельяновна сказала, что вот бывает любовь к маме с папой, бывает к Родине, а Саша любит Витю, так тоже бывает, и это хорошо.

— И пересадила? — Витка волнуется, смотрит во все глаза.

— Нет. Не пересадила. Наверно, чтобы Сашка не списывала у него арифметику. Шилов лучше всех задачки решает.

Прошло много лет жизни. Саша все еще не умеет решать арифметические задачи на сложение и вычитание.

Муж подарил ей карманный калькулятор. Но Саша стесняется проверять продавца в магазине: а вдруг он правильно сдачу дал, и Саша недоверием обидит его?

Впрочем, в Сашиной жизни плохо не только с арифметикой. Есть еще более безнадежное. Например, муж. Это вовсе не Витя Шилов. Это совсем другой человек. И он тоже... не в ладах с арифметикой.

Паразитские дети

В чужом сарае к потолку подвешена авоська. В авоське — вареная курица.

Дети перелезают из сарая в сарай (это несложно, стены до потолка не доходят) и находят авоську. Курицу съедают, а косточки, аккуратно обглоданные, складывают обратно.

Через некоторое время крик:

— Паразитские дети, кто сожрал курицу?! — кричит тетя Рая; ее муж капитан Вырублев пришел на обед.

...Мы живем на территории военного городка на улице Красноармейской. Отцовская часть расположена за забором из острых железных пик, между прутьями мы иногда застреваем, и солдаты нас спасают, сильными руками выгибая пики.

Время нашего детства — это счастливое и богатое время. Война уже лет семь как закончилась. Правда, еще нет холодильников, стиральных машин и телевизоров, нет газовых плит, и водопровод в дома не проведен. Зато у всех у нас есть папы, и они приходят на обед — все в одно время, к пяти часам.

И вот тетя Рая орет про курицу, и нам стыдно, что из озорства мы ее съели. В тот вечер все мы принесли по куску своих куриц тети Раиному мужу на ужин. И Вовка, сын капитана Вырублева, утром рассказывал, что мама и папа хохотали как ненормальные, а потом позвали майора Груднева с женой (это Наткины родители), и они выпивали на кухне, пели песни и закусывали нашими курицами, толкуя о том, какие мы все-таки замечательные паразитские дети...

Кривоногие красавицы

Сашу любят дети. Потому что она способна даже в праздничном белом платье, когда идет игра в "казаки-разбойники", перелезть через забор, проползти под проволокой и подраться по необходимости. А потом не плакать над испачканным и порванным.

Она молча, потряхивая щеками, постирает платье в лимане и будет одиноко сидеть в голубых трусах на берегу, ожидая, пока просохнет.

Сашина мама спуску Саше не дает, но и уважает в ней самостоятельность. Поэтому не советует Саше празднично одеваться, странно при этом говоря:

— Не надо вводить себя в искушение. Как только ты вырядишься, так обязательно захочешь, чего нельзя. Нет чтобы пойти в скверик или на качели — ты норовишь в какой-нибудь сарай или на помойку. Лучше одевайся просто, это для тебя естественнее.

И Саша безвылазно ходит в коротких пышных штанишках на бретельках. Никто из девочек не надел бы таких. А она любит быть не как все. На голове у Саши тюбетейка, на ногах — теннисные тапочки.

Но все равно Сашу любят, даже девочки. Потому что Саша многое знает о разных вещах. Знает, в каком веке какие платья носили женщины разных народов. Она рисует бумажные наряды для картонных кукол. Лица у кукол не похожи друг на друга.

Особенно девочкам нравятся Сашины восточные красавицы. Глаза у них узкие, в длинных ресницах, а ноги растут прямо изо рта. Саша говорит, что восточные красавицы все на длинных тонких ногах, чтоб удобнее было скакать на лошадях. И кривоногие. Для своих наездниц Саша рисует прозрачные шаровары или, как она смешно говорит, шальвары. Восточных красавиц она раздаривает.

— Саша, — спрашивают девочки, — а откуда ты знаешь, какие на Востоке ноги?

— А моя прабабушка персиянка, у нас ее шальвары свадебные в сундуке хранятся. Когда я буду выходить замуж, я их надену!

Но девочки подозрительно смотрят на Сашины не кривые, не длинные ноги. Саша грустно говорит:

— Так у нас же кровь, испорченная русскими. Прабабушку выкрал прадедушка из Персии, на коне из-за забора, а потом... утопил, как Стенька Разин. Прямо в свадебном наряде!

— А как же шальвары в сундуке?

— Так шальвары она успела снять, — отмахивается Саша.

Новое о законе Ома

Она сидела в гнезде на большом орехе и учила закон Ома. Но закон Ома не входил в голову, занятую менее серьезными вещами, чем завтрашний экзамен по физике.

У меня, думала она, прекрасное имя — Екатерина. Оно на каждого, с кем

знакомлюсь, уже влияет. Великая — обязательно добавят! Это неизбежно влияющий исторический штамп, как если шапка, то значит, Мономаха.

У Екатерины (великой!) ореховые глаза. И тело ореховое. И мозги, как ореховые ядрышки. И еще у Екатерины (потому что великая) есть своя ореховая роща.

Ореховая роща захихикала.

Саша мрачно выглянула из гнезда и сказала голосом, как тусклое стеклышко, которое хорошо бы протереть краем сарафана, поплевав сначала.

Сказала девочка роще:

— Почему тебя смешит Екатерина? — и уже к концу фразы стеклышко засверкало.

— Ша-ша-са-ша, — прошептал рыжий муравей, и Екатерина на него уставилась. Через стеклышко.

— Откуда знаешь меня?

Муравей тоже захихикал. Ему отозвалась роща, защелкав, зачирикав.

— Не дурачься, великая, — продолжил муравей, пошевелив строго усиками, как физичка Эсфирь Исааковна. — Учи закон Ома.

— Ом, Ом, Ом, — забормотала Саша-Екатерина. И провалилась сквозь ветви на ковровую, в маргаритках и сурепке, траву.

Под деревом сидел индус Илюша, похожий на гуся. Голова его уплывала в полотенчатый тюрбан, тело было покрыто гусиной кожей. Из-под сидящего в позе лотоса Илюши, как перепончатые красные лапы, торчал пионерский галстук.

— Эй! — тихонько окликнула индуса-гусака Саша-Екатерина. — Эй, йог, подвинься! Ты на галстук сел.

— Аум! — булькнул Илья по-йоговски и поперхнулся от неожиданности. — Сколько билетов выучила, все?

— Закон Ома поперек стал, — честно ответила Саша и протянула ладонь, где под стеклышком сидел муравей. — Посмотри, сидит, и две пары усиков. На Эсфирь похож, да?

Илья посмотрел через стеклышко, а муравей погрозил ему свернутой в кулачок ножкой.

— Лежит твой муравей, а не сидит. И угрожает.

У Саши глаза зазеленели.

— Сидит, сидит, — заторопился индус. — Отчего бы ему не сидеть, если ты, к примеру, в гнезде сидишь. И Эсфирь сидит на скамеечке — похоже, нас выпасает.

Ребята повернулись к скамеечке. Эсфирь Исааковна вытащила из сумки будильник, и он зазвенел.

— И не удивляйтесь, дети, — сказала учительница, — пришла перемена. Думаю, бутерброды не помешают? У меня к вам вопрос...

— Экзамен завтра, — зашипела Саша индусу-гусаку.

— У меня к вам предложение, — поправила текст Эсфирь.

— Поешьте!

Саша еще больше, чем обычно, нахмурилась и тусклым голосом Екатерины — без стеклышка — вымучила:

— Сразу говорите, без обработки.

Индус ее сзади незаметно ущипнул. Как гусак, подумала Саша.

— Почему мои ученики на экзамене все знают, кроме закона Ома? Почему вы его на голову напялить не можете?

— Это одессизм, — сказала Саша. — Эсфирь Исааковна, вы неисправимая одесситка, и ваши речевые обороты входят в нас на века, все силы мы тратим на переработку языка из русского в одесский. Что же касается закона Ома, то ему лучше бы входить в нас исподволь, незаметно, с молоком, — и облизнулась на бутерброды.

И пока уминался хлеб с маслом, Эсфирь Исааковна незаметным голосом внятно повторила им закон Ома. Все тут же и закончилось.

Сидел под орехом индус Илюша, зубрил билеты. Сидела на ветке в гнезде Саша-Екатерина, зубрила билеты. Сидела-сидела на скамейке учительница, шевелила, как муравей, усиками, а потом фьюить... улетела птичкой. С будильником в клюве. Летела и думала: хорошие ребята. Зачем им закон Ома? Не выучат они его. Запомнят до завтра, перескажут даже не на пятерку и забудут навсегда. И уронила будильник прямо в гнездо к Екатерине.

Заверещал будильник. Вылетела из гнезда на голову индусу Екатерина великая, сшибла тюрбан, и покатились по траве, сцепившись и гогоча, Илья и Саша, а звонок трещал, отпуская их на перемену. До завтра, до экзамена.

Что скрыто в могиле

Скифская могила была возле мясокомбината.

Рядом, на крутых склонах, сбегающих в лиман, раскидывались богатства — это сваливали мусорные кучи из своих дворов жители Белого города.

Саша приходила с пустыми карманами, чтобы найти когда что. Сегодня были нужны новые цеха для завода, вырабатывающего электронное питание для других Сашиных заводов. Другие заводы были запланированы на субботу и воскресенье. А сегодня был вторник.

Все, что Саша хотела, она нашла сразу. И цилиндрические печи, и раскалыватели породы, и фарфоровые перекрытия, и даже винтовые стволы с резьбой диаметра не более шести миллиметров. Всего было вдоволь на мусорных склонах.

Но когда в маленькую Сашину пятку воткнулся шип обводного карниза, и кровь потекла по желобку, вместе с болью тихая радость переполнила девочку: обводной карниз был из немецкой супницы хорошего фаянса и подходил для изоляции.

Пятку Саша почти сразу же залечила ленточной бурой водорослью и слизью лиманской верхоплавки.

Дохромав до могилы скифа, девочка протиснулась в центральную камеру, где гадили все, кому не лень было спрятаться, чтобы погадить. (Стеснялись солнца, открытости степи, вольного ветра.)

Саша проскочила камеру, задержав дыхание. И отодвинула край внутренней стены из разрыхленного временем желтого ракушняка. Образовалась узкая щель в промежуточную камеру. Сюда гадящие не добирались.

Здесь и находились первые заводы Сашиного мира. Они были основным фондом, базой для тех, что производили или перерабатывали сырье в первоприродные составляющие — чистый песок, сланцы, металлы, дробя и извлекая одно из другого. Здесь же случались и более таинственные и сложные процессы превращения: плохого — в хорошее, слез — в радость, испуга — в удивление.

В глубине скифской могилы Сашины заводы перерабатывали внешний мир взрослых людей, пачкающих все и везде, не только в первой, впускной камере, но и вдоль жизни и даже в собственных жилищах.

Закончив комплектование накопительного цеха, Саша протиснулась сквозь щель в древних плитах, сдвинув их, и неразграбленный мир по перерабатыванию взрослого гадства остался в темноте, среди пощелкивания и монотонного гудения. Это работали фондовые отсеки.

...Мимо мясокомбината, когда заходящее солнце окрашивало красным все вокруг — и лиман, и степь над ним, и дорогу в Белый город, видневшийся вдалеке, Саше не было страшно возвращаться из своего мира работы и чистоты. Но было неприятно. И ежилась кожа меж лопаток, и в животе становилось холодно. Потому что этой же дорогой возвращались по домам мясокомбинатские несуны. Сумки их дымились, сладко пахли кровью и терпко — страхом убитых животных. И этот страх люди несли в свои дома. И съедали.

Воздух дышал испугом коров с глазами, похожими на спелые сливы, и розовых свиней с глазами умненького отличника Витьки Плохотнюка,

и лошадей с гордыми шеями балерины Плисецкой, — Саша каменела от боли, когда из воздуха, сладкого и терпкого одновременно, из дымков над сумками несунов вдруг прозрачно выплывали облака, образы... Живые, узнаваемые.

И Саша вновь и вновь, каждое утро, чуть только солнце всходило над турецкой старой крепостью и дотягивалось до места, где кончался город и начиналась степь, бежала босыми, вымытыми с вечера маленькими ногами туда, где хранила молчаливо ее тайну скифская могила.

Бежала, чтобы построить, может быть, самый главный цех. Но для этого надо было научиться многому. И опуститься на другой уровень могилы, дойдя до основной камеры, где лежал князь.

Он-то и должен был подсказать Саше, где поставить шестигранник с сердечником из любимой фаянсовой чашки, еще не выброшенной на склоны городской мусорки, потому что разобьют ее только послезавтра, в четверг.

А до этого еще надо доработать. И Саша твердо знала, каждый вечер, возвращаясь красной солнечной дорогой в Белый город, что ее главное — впереди.

Выросла

— Всякий раз, покидая Одессу, — сказала Саша, — я проезжаю мимо моего детства. Я вижу из левого окна вагона, как оно убегает по Среднефонтанской к парку, что возле телецентра.

В парке стоит летний кинотеатр. Один из многих папиных кинотеатров, бесконечно им ремонтируемых, перестраиваемых, и таких неказистых, вынырнувших из совсем далекого далека, где лужи мне казались морями, а дома были большими, очень большими и совсем огромными, как кинотеатры.

У Саши всегда было пристрастие к кинотеатрам, особенно тем, дошедшим из начала пятидесятых, с заборами вместо стен, с дождями, льющимися на черные зонты зрителей, с мальчишками на деревьях, в Бог знает какой раз кричащими: "Вот он его сейчас! Не тот, а Гарри, он ему наподдаст левой снизу, спорим, что левой!".

А дальше будет дерево, и возле вылезшего, не поместившегося под землей корня, — самый большой из известных Саше муравейников. Саша знает, что он самый большой, она весь парк проползла на четвереньках, чтобы найти его. Здесь ее и отыскал папа, когда она вовремя не пришла после школы домой. И часто потом забирал отсюда, а Саша объясняла ему

муравьиные секреты. На почве этих секретов и возникли с отцом совместные, очень для них важные отношения...

А еще дальше будет дом, обычный, как все вокруг, пятиэтажная этажерка с квартирами вместо книг. Саша заглядывала в окна и представляла: за этим живут Фениморкуперы, а за этим — Вальтерскотты. Так и представляла, томами-семьями, обязательно во множественном числе. Саша жила на четвертой полке. Теперь, глядя с четвертого этажа на высоченный пирамидальный тополь, посаженный папой, Саше приходится задрать голову, потому что тополь такой же взрослый, как и она. А раньше Саша смотрела на него сверху вниз, потому что он на двенадцать лет моложе ее.

К маме Саша теперь приходит в гости. У мамы всегда чисто и тихо, как и у Сашиной бабушки, живущей далеко-далеко. Она уже и сама стала бабушкой, Сашина мама, и даже прабабушкой, хоть и сопротивляется этому, и внуки зовут ее Верой. А папа дедушкой стать не успел.

Саша знает, что у бабушек по закоулочкам живут плюшевые мишки и всегда пахнет пирожками. Но бабушка Вера пирожков не печет. Во-первых, в Сашиной семье никто, кроме Сашиной бабушки (настоящей), пирожков не печет. Потому что диабетикам противопоказано сладкое печеное, а Сашина сестричка и Сашин папа оба больны диабетом. А во-вторых, Вера бабушка не вполне, да и прабабушка тоже. Мама — нет. Мама она настоящая. Но не мамистая. И Саша всегда страдает от этого.

Больше всего Сашина мама — прокурор, а прокуроры пирожков не пекут и, становясь бабушками, остаются спортивно подтянутыми Верами. В особо доверительных случаях — мамой Верой, мамочкой Верой.

Все семейство бабушки Веры, мамы Веры и прокурора Веры Георгиевны это точно знает.

Да, Саши стало уже много. Это Саша. Ее муж. Их дети.

Но это взрослая жизнь в новом доме, в новом городе, а на него надо смотреть через правое окно вагона, покидающего Одессу. И это совсем другая история.

Сашина память

Еще из детства выплывает стена второго христианского кладбища. Ее тоже видно из левого окна. Сразу за Среднефонтанской мелькнет мост над Люстдорфской дорогой. По мосту промчится скорый поезд, и Саша увидит желтую стену из ракушняка и кресты, и каменные стволы деревьев с отрубленными ветвями. Саше объяснили, что ветвей столько, сколько

человек не дожил лет. До чего не дожил? И Саша понимала, что все как раз наоборот, и считала обрубки-ветви. Но их всегда получалось слишком мало, чтобы согласиться, что это уже прожитые годы. Оказывается, считать надо было десятками.

Саша любила в детстве гулять по кладбищам. Напротив второго христианского было старое еврейское, теперь снесенное с лица земли. И в мае Саша с ребятами ломали здесь сирень. Она была махровая и крупная, и ветвь долго гудела. А Саша слушала и думала, что это гудят соки, которых много в кладбищенской земле, и пугалась.

На мертвом еврейском кладбище были любимые места. Например, футбольное поле. В заброшенной части, сразу за башней серого мрамора, — небольшое пространство, зелень и одуванчики распихало бутсами и кедами стоптанные могилы — по краям, отгородясь ими от всего на свете.

Саша вспомнила грустную историю. Девчонки в футбол не играют, их мальчишки гонят. Но она была допущена, потому что дралась и плевать хотела на мальчишек как предмет, составляющий главное счастье девчоночьих жизней.

Ребята ценили, как объяснил ей папа, рано и явно ее проявляющуюся женственность. Это было выше Сашиного понимания. Женственность — когда есть на что надевать лифчик, когда красишь глаза ядовитой тушью и кожа резиновая: улыбки, ужимки и губы бантиком. Саша знала другие улыбки, во весь рот, когда нет близко пацанов, и подружки смеются всею мордою, забыв, что лицо это не красит, а приводит к ранним морщинам. Саша и сама слыла неулыбой, но подозревала, что с этим не все так просто.

И вот был футбол, и Саша внезапно ощутила нечто такое, не выговариваемое. Какие-то новые токи жизни, как будто перелившись из махрового гудения сирени, пронзили ее и смутили сознание. Иначе с чего бы это она забила гол в свои ворота? Странное чувство сдернуло ее с поля, и она помчалась по кладбищенской дороге — в глубину, в густоту зелени, к заброшенным склепам.

Ничем не обоснованный стыд, не за гол, конечно, все в жизни бывает. Нет! Стыд чего-то, что Саша не смогла в себя вместить.

Ей было пятнадцать лет, и на следующее же утро она пошла в спортивный диспансер к подростковому врачу. Сашу мучил вопрос, где верхняя граница переходного возраста от девочки — к девушке? Нижнюю она уже знала, и явно не соответствовала. Сашу успокоили, но испуг в ней жил до тех пор, пока однажды она не пришла к папе и не сообщила ему мрачно, что в футбол больше не играет. Что пацаны перестали ее держать за человека.

— Что же ты сотворила? — удивился отец.

— Я выросла, и у меня появились женские проблемы.

— И как ты собираешься уживаться с ними? — серьезно осведомился он.

— С проблемами?

— С мальчишками.

— Никак. Я буду их обходить.

— А ты иди к ним, — сказал папа.

— А проблемы?

— Вместе с проблемами. Женщина, Сашка, это тоже интересно. К тому же, это лучшая половина человечества.

И Саша поверила папе.

Так вот, когда Саша бежала по диагональю пересекающей кладбище дороге, и уже обступили ее заросли со всех сторон, она провалилась в цементную яму. Глубокая, с небом, сжавшимся в квадратик, с полками, на которых стояли два ящика. Гробы! Орала Саша, орала, а потом засвистела разбойничьим посвистом, всегда собиравшим любопытных. Он выручил ее на этот раз.

Когда ее выволакивал из склепа за шиворот так, что трещала футболка, седой дядечка, то его тетка заверещала — ой, девочка! Как будто Саша была не нормальная девочка, а с того света.

Так у Саши и связалось первое женское ощущение с квадратиком неба над запрокинутой головой, безнадежность глухой серой ямы и гроб.

Что-то, еще не осознанное, уже подступило и обожгло. Что-то из настоящей взрослой жизни с концом света и девочкой, которая пугает своей беспомощностью взрослую женщину, в которую и сама Саша уже начала превращаться.

Москва

Алекс СУКОНИК

Имитация дневника

...Кто-то в компании говорит: двадцатый век — век перемещенных лиц. Поглядите: много ли среди нас людей, которые родились в этой стране? И если даже родились здесь, где родились их родители? (Сидим в нью-йоркской квартире, разноязыкая интеллигенция.) Действительно: две войны, два чудовищных режима, и сколько массовых перемещений! Почти все мы дети массовых перемещений, должно это как-то отразиться на наших личностях?..

...Мир моего детства, как средневековая картинка. Это мир провинциального южного Города, в котором люди повисают на ступеньках битком набитых трамваев, чтобы проехать две-три крошечные остановки: расстояния здесь растягиваются в сознании людей немыслимо. Я родился и вырос в центре Города, и окраины представлялись мне чем-то отдаленным, смутно угрожающим и, в общем, слегка презренным. Из разговоров взрослых запечатлевается, будто Город окольцовывает наподобие крепостной стены улица под названием Старопортофранковская, а за ней — небытие, тмутаракань, где обитают люди со звериными головами. Но вырастая, я с удивлением обнаруживал, что эта улица проходит всего в каких-нибудь десяти кварталах от моего дома. По-видимому, когда-то Город действительно заканчивался этой улицей, но с тех пор много воды утекло, да и улица была давным-давно переименована. Именно то, что улицу в советское время переименовали, помогает сознанию держать в себе два несовпадающих образа Города: один детский, который остается со мной до конца жизни и постоянно приходит во снах, и другой — бытовой, реальный, куда менее интересный...

...Дружба с соседом по квартире Димой Вайсфельдом, который старше меня на год. Дима — маленький человечек действия, я — маленький человечек рефлексии. Дима доминирует и выбирает, поджав губы, когда мы в ссоре и когда мы в мире. Я помню поджатые губы, но не самые причины ссор, ни одну из них. Дима выбирает в играх быть пограничником, а мне отводит роль басмача. Дима знает, как представляться, то есть знает, как выставить себя в своей значительности. Дима начинает заниматься на скрипке, я — на фортепьяно. Захожу к нему в комнату, он стоит, пиликает и даже не смотрит в мою сторону (опять значительно поджаты губы). Мне дается понять: вот, он учится на скрипке, и это куда важней, чем не только мои занятия на пианино, но и наши игры. И я, заезжая сердцем, согла-

шаюсь: мне же во время моих занятий не приходит в голову так важно поджимать губы! Значит, тут на его стороне правда! На самом деле Дима терпеть не может свою скрипку (скоро бросит ее), но надо же утвердить свое превосходство! А я еще долго-долго, много лет не буду знать, что же это такое, утвердить свою волю над другим, все буду угнетаться своим ничтожеством, своей глупостью по сравнению со всеми будущими друзьями, непрерывно сомневаться в себе, и этот процесс затянется неизвестно до каких лет, оттягиваясь, как тетива какого-то бесконечного лука... Но потом что-то случится...

...Димка Вайсфельд умер несколько лет назад, не выезжая из Одессы, и я горюю по нему, потому что это был родной мне человек, мы выросли вместе почти как братья. Я повидался с ним, когда приезжал в Одессу в 91-м году, он был толст, ступал косолапо и с одышкой и по-прежнему ласково называл меня Бенчиком. Так он окрестил меня когда-то в честь Бени Крика, уж не знаю почему. Тогда я не задумывался, потому что воспринимал это как насмешку сильного над слабым, но теперь думаю иначе. Может быть, что он уже в наши юношеские годы чувствовал во мне что-то "экзотическое", что постепенно отрезало меня ломтем от всего родного, близкого, округло-теплого прошлого, и потому нарек именем экзотического персонажа? (Кстати, растрепанные странички "Одесских рассказов" Бабеля, что попались нам тогда неизвестно каким образом, произвели на меня отталкивающее впечатление: я принял их за дешевый бурлеск, вот какой у меня был в отрочестве узко-строгий "классический" вкус.)

Но возвращаясь к Диме: наши роли начали меняться уже в молодости. На похоронах отца Дима бормотал расслабленным голосом: "Вот, были люди, теперь они уходят, и таких больше нет", — и помню, как меня удивила эта сентиментальная бодяга. Я никогда не замечал с его стороны проявления особенных чувств к отцу, который, бывало, лупцевал его. Между ними было мало общего, отец был "пережиток прошлого", а Димка — марксист по мировоззрению, секретарь комсомольской организации в школе (остался марксистом даже после того, как обиделся на советскую власть за ее все более развертывающуюся антисемитскую политику). Конечно, Димка был ушиблен по-человечески смертью отца, он сдался человечности. Я же этой человечности никогда не сдавался, и уж тогда тем более, потому-то был так невежественно изумлен.

...Когда мы с Димой виделись в 91-м году в Одессе, они с женой и дочками жили в небольшой квартире при известной (забыл название) лечебнице на Французском бульваре, в которой Дима работал невропатологом.

У них были немецкая овчарка (мы оба мечтали в детстве о немецкой овчарке) и кот, и от прохудившегося ковра на полу исходил запах кошачьей мочи. Этот запах особенно умилил меня доказательством тепла семейного обиталища и окончательной Диминой трансформации в мягкого человечного человека. Эх, и намыкался бы он, если бы по недомыслию попал "ради детей" в эмиграцию! Но, слава богу, умер до того... А вот со мной оказалось иначе, эмиграция дотянула тот самый лук до предела, и стрела была пущена...

...Коммунальная квартира, в которой я вырос, была до революции отстроена моим дедом и состояла из восьми комнат, расположенных вдоль бесконечно длинного, в семнадцать метров, коридора. Когда после революции пришло время уплотнения, мой дед, как я понимаю, постарался заселить ее близкими и знакомыми, и ему это почти удалось: в квартире жила только одна семья коммуниста Бутвинника, остальные были обыватели еврейского, как и мой дед, происхождения и несоветской направленности. Каждая семья владела комнатой, а нам принадлежали две, что заведомо разделило квартиру на аристократов (нас) и плебеев (всех остальных). Скандалы были часты и ужасающи, квартира непрерывно делилась на враждебные лагеря, коалиции, партии, состав которых менялся в зависимости от тематики последней свары. Что примечательно: не припомню случая, чтобы одновременно возникло три различных коалиции, всегда только две, хотя кто-то мог оставаться на время в лагере нейтральных (из чего я заключаю, что двухпартийная политическая система отвечает каким-то глубинным основам человеческой психики: три лагеря — в этом есть что-то непосильно излишнее и ненужное).

Любопытно, что довоенных скандалов я не помню: неужели и в этой области у нас царил рай? Уверен, что запомнил бы: слишком был изнежен, чтобы не потрястись, как молодой Будда. Вероятно, если и происходили маленькие скандальчики, то не в моем присутствии. У меня есть странное чувство, что мое представление насчет счастливой довойны основывается не только на субъективности детского ощущения. Три-четыре года предвоенной жизни были для всей страны периодом, когда были уничтожены последние неудобные люди, и наступил истинный советский рай. С точки зрения думающих людей, которые все еще способны были критически мыслить и которые помнили прошлое, это было самое страшное и безнадежное время, лагеря были полны миллионов и миллионов людей, а страна была утихомирена, кастрирована и... счастлива. Умирал в отчаянии одиночества писатель Булгаков, умирал герой романа Пастернака "Док-

тор Живаго", а страна пела "Выходила на берег Катюша", танцевала под танго "Утомленное солнце нежно с морем прощалось", и стихи посредственных поэтов были на такой же расхват, как когда-то стихи Пушкина. Многие критики коммунизма указывают на то, что гитлеровская Германия существовала всего несколько лет, а советская власть — семьдесят (так же хвастался Геринг, когда его захватили в плен: "Но мы хорошо пожили несколько лет!"). Но если брать по сути дела, то и у советской власти, и у фашистов были одни и те же несколько лет истинной безоблачности — и у тех и у других в течение второй половины тридцатых годов. Что произошло бы, если бы немцы, вместо того чтобы нападать на Советский Союз (вот дураки!), захватили бы Англию, а потом вместе с Японией и Америку, и поделили бы с коммунистами мир? Страшно и сладко подумать! Думаю, наша жизнь стала бы еще более райской и наивной, и невинной, и счастливой!

Наступало лето, по главной улице Города начинали фланировать мужчины в кремовых брюках и белых парусиновых туфлях, и семья выезжала на дачу совсем таким же манером, как это делалось в продолжение предыдущих ста лет: к дому подъезжала полуторатонная "площадка", влекомая ломовыми лошадьми, на платформу грузили чуть ли не половину имеющейся мебели, включая пианино, посуду, чемоданы и мешки с одеждой, все это тщательно закреплялось джутовыми канатами, и платформа неторопливо следовала через весь Город до десятой станции Фонтана, где несколько лет в одном и том же дачном коллективе снималась просторная свежевыбеленная комната с террасой, выходящей в большой запущенный сад. Терраса была обрамлена колоннами, цементный пол ее, покрашенный под мрамор, был в нескольких местах надтреснут, и сквозь трещины прорастала трава.

На даче постоянно жил высокий и сутуловатый управляющий Николай Петрович с женой и скульптурным физкультурником сыном Котей. Легко положив на загорелые плечи байдарку, Котя уходил утром к морю, чтобы неизвестно когда возвратиться, и я смотрел с восхищением ему вслед. По вечерам, когда спадала жара, и мужчины приезжали с работы, люди сидели на террасах, лениво перебрасывались словами и "закручивали крем" (в чашку разбивали несколько желтков, сыпали сахар, растирали чайной ложечкой, пока сахар не переставал скрипеть, потом добавляли изрядный кусок масла, и эту смесь помещали в холодильник, где она загустевала). Ну и конечно, кто-нибудь заводил патефон и ставил "Утомленное сердце".

С утра, надев на них белые панамки, детей водили на пляж. Женщины заходили в воду по пояс и затем приседали и вставали, приседали и вставали: таково было их купание (некоторые даже проплывали несколько шагов, барахтаясь собачкой). По воскресеньям появлялся на пляже отец, и тогда купанье приобретало иной оттенок. Далеко в море уходили буквой "Т" восемь свай, на которые рыбаки натягивали под водой сети. Сваи эти служили ориентиром для пловцов. Говорилось: "Заплыть до первого столба", — или до второго, или третьего и так далее. Проверить, доплывал ли кто до самого конца, до шляпки "Т", было невозможно, потому что еще до того голова пловца превращалась в точку и вообще исчезала. Голова отца исчезала регулярно, мать неизменно начинала волноваться, и ее волнение передавалось ребенку.

Но для меня выделенность отца на пляже заключалась не только в дальних заплывах: еще больше на мое воображение действовала манера отца плавать. В те времена люди плавали вразмашку, собачкой или лежа на спине. Отец тоже плыл вразмашку, только каким-то особенным, шикарным манером. Занеся руку перед собой, он не совершал гребок, но сперва поднимал руку вверх, а затем уже со шлепком погружал в воду. С точки зрения здравого смысла эти подъемы рук и шлепки были бессмысленны, нелепы, но разве шестилетний или семилетний мальчик может понимать такие вещи? Для меня тут было еще одно доказательство физической мощи отца и его особенности среди людей.

Отец возвращался после заплыва, мать ругала его, а он только крякал, шел и ложился у кромки воды, так что море, ласково играя, набегало на него. Потом он брал меня за руку, заводил в воду, приказывал встать, расставив широко ноги. С замиранием сердца я вставал, отец нырял сзади, внезапно я вылетал из воды на отцовых плечах, и тут же летел кубарем вниз. Хотя мне было страшно, я просил отца еще и еще повторить прыжок, и отец снова и снова нырял, пока ему не надоедало. Но отец никогда не поощрял и не хвалил сына. Напротив, он как-то стал упрашивать стать ему на плечи, пока он держит за руки, и уже тогда прыгнуть, но я, хихикая, отказывался, потому что мне было страшно новой высоты. Тут же налетела мать, протестуя, что отец обращается с сыном, будто тот какой-нибудь "взрослый бугай", и отец молча уступил: он был ублаготворен морем и солнцем.

Стояло лето сорокового года, бригады музыкантов ездили в отторгнутую от Польши Западную Украину на концерты и привозили оттуда для жен и мужей чудесные наряды. Дядя Тоня Вайнер, профессор консервато-

рии по классу виолончели, разучивал с матерью сонату Грига, потом пили чай с лимоном, и он рассказывал про красоту города Львова. (В провинциально теплом Городе всех взрослых было принято называть не по имени отчеству, а дядями — и так до собственного пожилого возраста.)

Мать не ездила: ее, скорей всего, не пустили, потому что у нее было много братьев и сестер за границей. Впрочем, ей и не нужно было ездить: братья и сестры присылали через торгсин деньги и отрезы на платья и костюмы. Прошлым летом приезжали в гости из Москвы брат отца, дядя Гриша, с женой тетей Надей, тоже по-особенному какие-то нарядные и веселые и тоже связанные с заграницей, куда дядю Гришу посылали учиться и откуда он недавно вернулся. И опять же я не мог знать, что очень скоро дядю вместе с тысячами и тысячами других молодых специалистов, посланных учиться за рубеж, посадят как шпионов, и что дядю я увижу только через семнадцать лет полуинвалидом (к тому времени я стану таким закоренелым антисоветчиком, что отец будет шепотом умолять придержать язык, а я буду только насмешливо отмалчиваться).

Дядя привозит мне заграничный игрушечный автомобиль красного цвета. Это открытый длинный "кадиллак", за рулем сидит шофер, а снизу устанавливается плоская батарейка, и машина бегает на ней без конца. Эта машина даже как-то слишком хороша по сравнению с отечественными, и потому я держу ее на отдельной полочке как диковинный трофей и как приманку для игр с другими детьми.

Особенно замечательно справлялись на даче дни рождения, и ребенок, чей день рождения приходился на лето, был отмечен судьбой. (Вот и мой день рождения приходится на лето.) Город был знаменит своей кухней, и приготовления ко дню рождения начинались за несколько дней. Сервировались два стола: один для взрослых и другой — сладкий — для детей. Тончайше, на руках, растягивалось тесто, из которого пекли малюсенькие тающие во рту пирожки с мясом, печенкой и картошкой, а на сладкое — вертуты с вишнями и абрикосами, благо деревья в саду ломились фруктами. Фаршировались перцы и кабачки, приготовлялась знаменитая одесская икра из баклажан. Но все-таки вершиной кулинарного искусства были торты и пирожные (так называемая "сдоба", то есть изделия из сдобного теста, хотя и пеклись, но за настоящее сладкое не считались). Из слоеного теста пеклись трубочки, наполненные взбитыми белками, в ступах толклись грецкие орехи на ореховые торты, ну и, конечно же, пеклись коржи и варился заварной крем для наполеона. Хозяйки под секретом передавали своим ближайшим приятельницам вычурные, захватывающие дух

рецепты новых тортов. Детишки получали к чаю на тарелочках, по крайней мере, по пяти кусков разного сладкого, и все превосходно съедалось: в Городе не любили худых детей.

Еще на дачу заведомо завозили контейнер обложенного льдом мороженого, и хотя мороженое к концу вечера изрядно подтаивало, все равно в нем был особенный шик: домашние-то торты были здешним детям не в диковинку. В последнее же лето перед войной отец превзошел сам себя и привез из города кинопередвижку, и детям показали фильм "По щучьему велению"... И вдруг все это кончилось, и началась война...

Однако вдогонку: образ довоенной жизни Одессы сильно совпадает с эстетикой голливудских романтических, вполне "райских" кинокомедий тридцатых и сороковых годов с Бингом Кросби и Фредом Астером, и не только потому,, что и там, и там кремовые брюки и вычурные штиблеты, но потому, что и там, и там общность элегантного с налетом веселой жлобоватости стиля. (Утесов в "Веселых ребятах" тоже примерно такой.) Подо всем основа: легко на сердце от песни веселой и счастливые концы. Кто у кого взял, Одесса у Голливуда или Голливуд у Одессы, — это тайна (потому что если Александров и Утесов могли смотреть американские фильмы, Одесса ведь не могла). И Голливуд не мог "смотреть" Одессу, даже если среди голливудских заправил были наши выходцы. Нет, тут именно тайна времени...

...Известное дело (еще Пушкин описал это в "Евгении Онегине"): в Одессе всегда существовала проблема с водоснабжением. Не знаю, как теперь, подозреваю, что ничего не изменилось с моего (как и пушкинского) времени, и сливной бачок в квартире на пятом этаже в бывшем доме Папудовой по-прежнему набирается водой по большим праздникам. Так вот, поскольку уборная была коммунальная, и соседи находились в состоянии постоянной войны, понятное дело, что никто ее не убирал, а дерьмо в лучшем случае сливали помоями, а когда их не было под рукой (помои ценились, их крали друг у друга), то сталкивали палкой. И потому в ней стоял соответствующий запах — ннно (опять розинино ннно): в уборной было замечательно большое окно, которое выходило во двор, а во дворе цвела акация. Вот эта-то смесь аромата акации с ароматом зассанной и безводной уборной смешивалась еще с чувством похоти, которое овладевало мной, и с которым я ничего не мог поделать, и все это создавало то уникальное воспоминание, которое живо во мне и поныне.

Насчет же ванной комнаты, в которой действительно стояла ванна, служившая когда-то по назначению, — брр, мне даже странно и неприят-

но было подумать об этом, такое брезгливое ощущение я испытывал по отношению к ней. Ванна была намертво покрыта толстым дощатым настилом, на котором громоздилась какая-то утварь, лоханки, миски. Лампочки там не было, а единственное окошко, выходившее в смежную уборную, было, естественно, замазано краской, чтобы не подглядывали (мы с Димой время от времени процарапывали малюсенькие царапины в надежде подглядеть в уборной соседку Сарру Розенфельд: она была наша Сарагина)...

...Долгие школьные годы, и после них внезапно институт: какая поразительная разница! В девяносто первом году я приехал в Одессу и подошел к зданию школы № 47 на улице Толстого, в которой прозанимался восемь лет своей жизни, и не узнал это здание. Готовил себя, понимая, насколько мое восприятие изменилось, насколько вообще меняется ощущение соразмерности вещей с возрастом и местом, где ты теперь живешь, но все-таки не узнал свою школу, не поверил своим глазам: что же это, что за жалкое полуразвалившееся двухэтажное зданьице?

В Нью-Йорке, помню, как приехали, меня неприятно поразил размер тамошних школ, помещающих в себе по две-три тысячи учащихся, и то, что перед входом в школу стояли охранники, — во всем этом было что-то безлико нечеловеческое. (Теперь здесь сожалеют, что строили такие школы: поди совладай со столь необъятной массой учащихся, попробуй запомни каждого в лицо и дай ему ощущение, что с ним установлен персональный контакт.)

Но вот я стоял перед школой, в которую сам ходил, и ощущение противоположной нереальности владело мной. При всех привходящих обстоятельствах это было как-то уже слишком: размер реальных людей, которые учились здесь, людей, которые жили в моей памяти, просто не умещался сюда, тут было какое-то унижение. Несмотря на вывеску, мне продолжало не вериться, что школа функционирует, и я, поднявшись по ступенькам, попытался открыть дверь. Но дверь была заперта. Я стал стучать, пока по ту сторону дверного стекла не появилась женщина. Я знал, что выгляжу по-иностранному, и в этой жалкой Одессе начала девяностых годов я ощущал себя полубогом, пришельцем из иных миров. Я хотел удостоить чести школу своим посещением и не сомневался, что меня примут соответственно, как только объявлю себя. Но через закрытую дверь не очень-то можно было себя объявить с соответствующим достоинством, и женщина продолжала смотреть на меня испуганно-враждебно, отрицательно мотая головой. Внезапно ее окружили детские лица, которые глядели на меня широ-

ко открытыми глазами. Тут женщина окончательно пришла в негодование и стала делать руками категорические жесты, мол, убирайся отсюда немедленно, а дети между тем наседали друг на друга от желания увидеть, что происходит. У них был такой вид, будто они постоянно живут взаперти за этой дверью и впервые видят человека по другую ее сторону.

Все это произвело на меня странное впечатление, я пожал плечами и удалился. Я не помнил ничего подобного из своих времен, у детей был совершенно дикий вид, но неужели та самая несоразмерность временной и географической дистанций, которая отделяла меня от моего детства, могла так обмануть меня? Неужели мое лицо или лица моих одноклассников могли быть среди лиц, которые я только что увидел, боже, боже??

Что ожидает человека, когда он в самом деле сможет путешествовать во времени, — думаю, что это будет такой ужас, что сердце просто не выдержит. Из моего класса вышло пять золотых медалистов, и три человека получили серебряные. Это был выдающийся класс, но борьба за медали шла всегда, неважно, годом раньше или годом позже, потому что с медалью принимали в институт без конкурса. Класс возглавлял абсолютно круглый отличник шепелявый Шурик Вассерман, будущий доктор технических наук, за ним шел таинственный "гуманист" Витя Дублянский и затем психованный Ленька Коздоба, этих трех запомнил, потому что были ярки, остальных медалистов даже не помню...

...В мое время люди в Одессе совсем не гуляли, а только ритуально прошвыривались вечером по Дерибасовской. Как известно из литературы, прогулка по центральной улице города — это старый ритуал. Примечательно, что в советское бесклассовое время на Дерибассовской происходило точно такое же классовое разделение, как и в старые времена. Одна сторона (правая, если идти от Преображенской улицы к Приморскому бульвару) называлась Пижонстрит, а противоположная — Гапкинштрассе, потому что по ней прогуливался, в основном, простой люд и домработницы. Какое прекрасное разделение (потому что произведенное по обоюдному желанию)! У меня даже сохранилось ощущение, что правая сторона улицы была ярче освещена — могло ли такое быть?

Здесь, на малюсеньком пятачке земли, четырех кварталах Дерибасовской улицы (от Преображенской до Ришельевской), осуществлялся целый человеческий замкнутый в себе мир — и не нужно было ему других миров (оттого, наверное, в Одессе и не гуляли по большим пространствам). Оттого моя память довольствуется малюсенькими деталями этого мира, превращая их в грандиозности. Например, для меня необыкновен-

но существенна пологость тротуарного выступа у Городского сада. Мне даже снится, как я ребенком ступаю на этот выступ, и у меня замирает сердце (в каких-нибудь трех-четырех метрах дальше этот выступ уже не так полог, и это мне хорошо известно). В определенные моменты я даже не уверен, что эта пологость существует в реальности, потому что воспоминание о ней пришло (и продолжает приходить) из снов, и я постоянно тщусь понять, действительно ли увидел ее в первый раз во сне, или всегда помнил, и потому приснилась... Таким же образом я помню, что участок Дерибасовской, вдоль которого тянулся Городской сад, действительно был по вечерам плохо освещен (отсутствие витрин магазинов), и это тоже подтверждало подозрение, что гулять там может только второстепенный люд. Участок этот был длиной не более сорока-пятидесяти метров, но воображение растягивает его на куда большее расстояние.

После Городского сада шел кинотеатр Уточкина с крученой железной лестницей на второй этаж, а под лестницей находился силомер. О, этот силомер! Я стоял в стороне, глазея на людей, что здесь толпились. Силу можно было проверить, сжимая ручки силомера, и еще можно было ударить с размаху кулаком по обитому изношенным бархатом подобию велосипедного седла. Большой циферблат был размечен килограммами и такого рода обнадеживающими надписями: "детская сила", "средняя женская", "нижесредняя мужская" "средняя мужская" и т. д. Все, что мне удавалось выжать на силомере, едва ли достигало "нижесредней мужской" (бить по "седлу" я вообще не решался). Но вот приближался к силомеру некий известный здесь безрукий человек, который почему-то всегда ходил без майки. Он коротко разбегался, шмякал по "седлу" лобешником, и силомер зашкаливало. Да, это была Одесса, и это было Гапкинштрассе.

На Пижонстрит ничего подобного не могло произойти, там дефилировали молодые люди в костюмах и макинтошах индивидуального пошива с роскошно выработанной грудью. Несколько слов об этой самой груди, равно как и об индивидуальном пошиве. Времена изменились, современные молодые люди наверняка не знают, о чем я говорю. Когда мы жили за настоящим железным занавесом, костюмы или пальто массового советского пошива носили только те, у кого совсем не было денег, или, с другой стороны, те, у кого уж совсем не было понимания или вкуса к одежде. Везде существовали ателье по пошиву одежды с доступными ценами, и если там шили ненамного лучше, чем на фабрике, то все же шили лучше. Меня не слишком баловали в детстве, но я твердо помню, что одежда фабричной выделки за всю жизнь у родителей так и не коснулась моего плеча.

Существовал определенный культ портных, и если кого-нибудь спрашивали, у кого он пошил такой хороший костюм, то этот человек всячески старался увильнуть: а-а, это мне строил один мастер из Черновиц, он приезжал сюда на гастроли, но уже уехал. (Портные из Черновиц пользовались особым почтением, потому что Черновцы географически находились ближе к Западу и, следовательно, на них лежал отблеск Европы и европейской моды.)

На самом же деле у нас царствовала одна для всех и весьма условная мода, процветшая благодаря полной культурной изоляции и в чем-то очень соответствующая условности советского искусства, в особенности советского кино. То есть это была одежда, не просто имитирующая западную одежду стольколетней давности, потому что провинциальность и застойность сознания производила свои поправки и уточнения в сторону угрубленной карикатуры. Соответственно падал уровень портняжьего мастерства — совершенно в параллель с уровнем киномастерства. (Недавно я просмотрел "Дети капитана Гранта" и "Свинарка и пастух" и был поражен. Не говоря об идеологической стороне содержания, но о чисто формальном мастерстве: куда исчезла традиция великого советского киноискусства двадцатых годов? Нельзя даже сказать, что эти фильмы сделаны на уровне Голливуда десятилетней давности, потому что тут такая халтура, такие странные даже небрежность и пренебрежение логикой развития, каких не бывало ни в каких проходных голливудских фильмах.)

Во времена моей юности даже для лучших одесских портных представлялось нелегким делом кроить и шить таким образом, чтобы их продукция зачастую не пережимала, не перекашивала, чтобы не нужно было вносить переделки, чтобы над всем не царили случай и творческая удача. То, что было на Западе стандартным и рутинным ремесленничеством, у нас превращалось в какое-то чуть ли не заоблачное творчество. И надо сказать, это придавало жизни определенный колорит: скучная материальная вещь превращалась в волнующий многозначительный фетиш, в предмет искусства.

Что касается той самой выработанной груди: она расширенно и выпукло подбивалась волосом, в этом был один из обязательных элементов шика, и чем портной был выше классом, тем шикарней выглядела грудь его клиентов. Вы могли игриво ткнуть пальцем в грудь человека, облаченного в только что построенный костюм, и ваш палец свободно уходил на несколько сантиметров вглубь. Но как только палец убирался, грудь эластично и даже как будто с легким хлопком (о, чудо) выскакивала на место.

Кроме груди огромную роль играли плечи, которые опять же, чем искусней был портной, тем выглядели шире и заканчивались таким образом, что рукав вольно, как водопад, ниспадал с них под углом почти в девяносто градусов. Это правда, что в костюмы такого фасона были облачены заграничные киноактеры в тридцатые годы, но у нас эта мода стала чисто советским явлением, она была как бы принята и навсегда одобрена правящей идеологией как униформа советского "стильного" мещанства, и так продолжалось до той поры, пока в пятидесятые годы не возникло пресловутое стиляжничество. Почему советским идеологам не пришло в голову объявить эту моду опасным влиянием гнилого Запада, как было сделано с последовавшими пиджаками без волоса и без плечей? Почему брюки клеш, которые носила молодежь в сороковые годы, были одобрены как нечто свое, родное, а за последовавшие за ними брюки-дудочки судили комсомольскими судами? В конце концов, слово "клеш" пришло из французского языка, и такие брюки носили английские и французские матросы раньше наших матросов.

У одноклассника Женьки Шнюкова были самые знаменитые на всю школу клеши, достигавшие внизу полуметровой ширины. Администрация школы отнюдь не одобряла ношения клешей, тем более что вместе с клешами шел широкий моряцкий ремень с бляхой, который накручивали на руку во время ритуальных школа на школу драк, и тем не менее, против ребят, носивших клеши, никто не высылал "легкую кавалерию".

Нет, нет, в фасоне описанной мной одежды, как и в брюках клеш, сохранялась некая здоровая цельность советского общества, которая не боялась ни имитировать голливудскую продукцию, беря оттуда не только казенный оптимизм, но и типаж героев (опять же, только здесь я понял, насколько советские киноактеры типа Крючкова и т. д. были не русский, а американский типаж), ни делать своими фасоны западных одежд. И это, скажу снова, было отзвуком тех самых советских райских предвоенных лет; а вот когда в конце сороковых — начале пятидесятых советская власть почувствовала, что слабеет, тогда все пошло по-другому...

Нью-Йорк



Александр МАРДАНЬ

Разгрузочный день

"Натощак не читать"
(Инструкция)

Художник должен быть голодным... обязательно... до обеда. А после обеда он должен спать. Все звери после еды спят. Художник, бросивший своим творчеством вызов обществу, имеет на это право. После сна он должен гулять по наполненным свежим морским воздухом улицам и думать о написанном. Что-то добавлять, что-то зачеркивать. Вернувшись домой, записать не забытое за время прогулки. Ложась спать, он должен думать о приятном. Приятные мысли усыпляют, как мамина рука на плече. А утром... Утром художник снова должен быть голодным...

Вы согласитесь, что художник — это не только живописец или гравер, а и тот, чьи действия не может повторить большинство братьев по разуму, иначе это большинство не заметит брошенный вызов.

Мне иногда удается складно сочинять. Откуда я знаю? Многие критики дочитывают до конца. А потом долго и злобно ругают. Зверя чуют, голодного. Кому художник, в данном случае сочинитель, должен быть голодным? Не важно кому, а важно, что обещал! Поэтому у меня диета, а сегодня еще и разгрузочный день. Вода, вода, вечером можно пару яблок. Во избежание срыва холодильник пуст, как касса после ограбления. За яблоками схожу в магазин вечером, а сейчас — за стол.

Помните, были короткометражки "Кино нашего детства", "Футбол нашего детства"? Я тоже хочу написать о детстве, о его вкусе, точнее, о вкусах. Но не тех, что определяли привязанность к жанру или стилю, а о вкусах в их первоначальном смысле, как реакции пупырышков нашего языка на содержимое ротовой полости.

Тема хорошая. Во-первых, детство. Не все читатели были летчиками и шахтерами, но мимо детства никто из взрослых не проскочил. Во-вторых, вечная история. Многие состояния души, не только любовь, приходят и уходят, а кушать хочется... Особенно сегодня.

Теперь нужен сюжет, события, причем драматургические, когда отношения героев до события одни, а после — другие. Драйв нужен, энергетика по-нашему. Хичкок советовал: "Хорошо, если фильм начинается с землетрясения, а дальше напряжение растет". Вот этот рост и есть драйв. В сюжете нужны завязка, развязка и финал, обязательно счастливый. Иначе денег на картину-трагедию в рыночное время никто не

даст. Хорошо, что в плановое успели снять "Лира" и "Гамлета". Так, шуточки в сторону.

Сюжет. Как про бублики по пять копеек с колбасой по двадцать две кино придумать?

Вариант первый. Приезжает в родной город человек, который лет тридцать как окончил школу и уехал учиться в Москву или еще дальше, в Томск. Там поступить было легче. Потом к нему родители переехали и жили они там долго и счастливо. Однажды пришло ему письмо от соучеников, что собираются отмечать 30-летие окончания школы. Наш герой собрался, приехал на день раньше, чтобы по улицам самому побродить, детство вспомнить. Вещи на вокзале в камере хранения оставил, вышел в город, а кошелька нет, потерял или еще хуже... И бродит он по городу голодный, как я сейчас, и вспоминает. И мы вместе с ним эти воспоминания видим через кинохронику или кадры старых фильмов. И еще время от времени он куда-то звонит по мобильному, а там не отвечают. Это будет не текст, а подтекст. Может, он в свое детство звонит, безответно... Мобильный обязательно нужен, так как в счастливом конце ему позвонит честный прохожий, который нашел кошелек, а там были его визитки. Вместе с честным прохожим они идут в ресторан и там заказывают... столько вкусного. Стоп-кадр.

Вариант второй. Учился мальчик в школе в огромной и счастливой стране, а родители его так от этого счастья устали, что уехали за океан и его с собой забрали. Прошло тридцать лет, он прилетел в родной город по делам фирмы, где работает, а багаж его потерялся, временно, до счастливого конца. Но наш герой об этом не знает и очень расстроен, потому что в спешке портмоне с деньгами и кредитками в чемодан сунул. И гуляет по городу, голодный, как я сейчас, и вспоминает, звонит куда-то. В детство, наверное. А потом ему звонят, багаж нашелся. Он сразу в аэропортовский ресторан — и там заказывает... столько вкусного. Стоп-кадр.

Вариант третий. Жил-был мальчик, попал в плохую компанию, и что-то они с друзьями натворили. А когда он вышел, опять что-то натворил, потом вышел и снова натворил. В общем, вернулся он в родной город лет через тридцать. Остановился у товарища, с которым вместе творил. Тот ушел на работу, а наш герой вышел на лестничную площадку туфли почистить, дверь захлопнулась, — хорошо, что время летнее, и он в начищенных туфлях гуляет по родному городу и вспоминает, голодный, как я сейчас. А счастливый конец? Он своего товарища на улице встретил до наступления желудочных колик, и они вместе пошли в ресторан и там заказали... столько вкусного. Стоп-кадр.

Сюжет практически есть. Как говорили на партсобраниях, примем за основу. Варианты можно комбинировать, сейчас их нужно наполнить содержанием, эпизодами.

Вот он заходит в казино, в зал игральных автоматов, крутятся на барабанах яблочки, сливки, грушки, а там когда-то был овощной магазин. И на том месте, где стоит стол под зеленым сукном, и стройная барышня-дилер карты сдает, стояла пышногрудая продавщица неопределенного возраста и торговала соками...

В обязательном ассортименте были томатный, виноградный и яблочный. В конусообразных тубах, как три богатыря, они украшали почти все гастрономы в больших городах. К томатному обязательно полагалось два стакана. Один с солью, как правило, крупной, с "кровавыми" следами сока, второй с мутно-красной смесью сока и проточной воды. В нем торчала одна, редко две алюминиевые ложки, которыми размешивали соль. Сок на глазах у покупателей продавщица переливала из трехлитровых бутылей в тубы с краниками в узкой нижней части. Повернет продавщица краник — и пенящийся напиток наполняет граненый стакан, только что вымытый на твоих глазах мойкой-фонтанчиком, этаким мини-биде. Разбавляли соки редко, больше зарабатывали на недоливе, наливая их в 150-граммовые стаканы, куда положенным двумстам граммам поместиться не удавалось. Потом тубы выпускать прекратили. Им на смену пришли графины, из которых наполняли все те же граненые стаканы. Примерно тогда же витаминный треугольник превратился в квадрат — на прилавках появился березовый сок — прозрачная водичка со вкусом свеженарубленных дров.

Моим любимым был томатный, обязательно с солью, долго размешиваемой в стакане, но так и не растворявшейся до конца. Оседавшей сизыми хрусталиками на дне и делавшей последний глоток сока глотком морской воды. Никто не нес тогда в массы информацию о вредности вареных томатов. Никто не писал на трехлитровых бутылях, что их содержимое вредит вашему здоровью, ведет к облысению, импотенции, падежу скота и индекса Доу-Джонса... Впрочем, и сегодня этого никто не пишет...

Обычно я выпивал три стакана в день, растягивая удовольствие, пил по стакану в разных магазинах, пропивая выдаваемые мне тридцать копеек на завтрак. Родители к редкой форме алкоголизма относились снисходительно настороженно.

А как вкусны были с томатным соком пирожки и их старшие братья — чебуреки! Пирожки, почерневшие от многократно пережаренного масла, были с мясом, ливером (т. е. с печенкой), бутером (т. е. с остальными внут-

ренними органами), картошкой, капустой и, наконец, с горохом. Были еще пирожки с повидлом, но с томатным соком они не сочетались. Стоп-кадр.

Хватит о любимом соке на голодный желудок. Я пошел на кухню, выпил литр минералки. Чувство голода захлебнулось и опустилось на дно. Работаем дальше.

Выходит наш герой из казино и заходит в магазин, торгующий золотом. А когда-то на этом месте было кафе-мороженое. Перед ним на улице стояла будка, где продавали завернутые в блеклую обертку стаканчики с пломбиром и сливочным. Сливочное стоило девять копеек, дешевле было только фруктовое на палочке, за шесть. Это была замороженная сладкая водичка, теперь она называется "сорбет" и подается в дорогих ресторанах между блюдами, чтобы вкус предыдущих не влиял на вкус последующих. Пломбир был разным: и по 15 копеек, и по 19. Линии по производству "эскимо" по 11 копеек в нашем городе не было, зато было "ленинградское" в шоколаде на палочке по 22, а самым дорогим было мороженое по 28 копеек, с орешками. Но это на улице. А в кафе в железные вазочки мороженое отпускали на развес. Двести грамм — четыре разноцветных шарика. Триста — шарики еле помещались в вазочке. Как правило, эта доза заканчивалась ангиной для тех, у кого еще были гланды, или фарингитом для тех, кто с ними уже расстался. Иногда это делалось умышленно, чтобы недельку поваляться дома и не писать контрольную по математике. Уберечь от простуды должна была теплая газировка, которой нужно было запивать съеденный шарик.

Стоя в очереди, многие не отрываясь смотрели на мини-половник, который опускался в теплую воду, перед тем как добыть из железной банки шарик клубничного, шоколадного или ванильного пломбира. Многим уставшие от ангин и ОРЗ родители запрещали есть мороженое на улице и в кафе, предлагая в качестве замены подогретое дома, "жареное", как мы его называли. Жалкое подобие. Кое-где продавали мягкое мороженое. Красивое, изящными струйками наполнявшее вафельные стаканчики на ваших глазах, но водянисто-невкусное. То ли не все в эти аппараты закладывали, то ли не все, что красиво, — вкусно. Многие потом убедились в этом на других примерах...

Рядом с ювелирным находится офис мобильной связи, а когда-то там был самый вкусный магазин — кондитерский. Начнем с пирожных. Пирожные, как и люди, были разными, а стоили одинаково. Социализм. Равенство. Пирожные — 22 копейки, люди — дороже. Самыми популярными были "трубочки". Остряки шутили: "Честный ребенок любит не маму с папой,

а трубочки с кремом". Еще любили "корзинку", "слойку" и те, что делались из кондитерских остатков, — "картошку". В нашем городе была линия по производству шоколадно-вафельных пирожных. Тоже по 22 копейки. А в Москве таких линий не было. Наверное, для того чтобы там тоже чего-то не было, как у других. Социализм. Равенство. Поэтому командировочные в столицу обязательно везли перевязанные бумажными канатиками коробки. Сейчас канатики заменили разноцветными ленточками. Бумажные канатики остались в детстве вместе с бумажными солдатиками Окуджавы...

В соседний отдел всегда стояла очередь. За конфетами. В этом была некая педагогика. Потом всю жизнь "за конфетами" придется стоять в очереди...

Из шоколадных, дорогих, самые вкусные были "Белочка", "Мишка на Севере". Из дешевых — леденцы, соевые батончики, ириски "Золотой ключик". Большой популярностью пользовались карамельки с вязкоприторным наполнителем с загадочным, по крайней мере, для меня, названием "Рачьи шейки". Какое они имели отношение к обреченному на мученическую смерть подвиду членистоногих, я так и не понял, прожив добрую, потому что первую, половину жизни... На липкой обертке изображались веселые раки, про которых одна кулинарная книга писала: "Раки любят, чтобы их варили живыми".

Раков мы ели редко. В те годы из уст в уста передавалось правило: раков можно есть только в те месяцы, в названии которых присутствует буква "Р". Поскольку большинство этих месяцев приходится на холода, то кто же знал, где раки зимуют? А сейчас правило изменилось: если есть деньги, то есть можно все.

Так, хватит про кондитерский, пошли в колбасный. Сейчас тут магазин модной одежды, а раньше был гастроном, а в нем колбасный отдел. Ассортимент в нем по мере приближения победы развитого социализма сокращался. Нас, детей, это не очень расстраивало, потому что наша любимица "докторская" оставалась в нем до самого социалистического конца. За что мы ее любили? Наверное, за отсутствие вкраплений сала и жира. Цена все годы оставалась неизменной — 22 копейки за сто грамм. Правда, мяса в ней становилось все меньше и меньше. Сейчас нечто похожее происходит с ценами за квадратный метр недвижимости. Обещают, что они расти не будут, но многие боятся, что метр будет все меньше и меньше.

Рядом с "докторской" лежали "любительская", "отдельная", "ветчинорубленая" и — обязательная часть школьных обедов — "молочные" сосиски в целлофане. Стоп-кадр.

Нужно опять пить воду, чтобы не захлебнуться слюной от воспоминаний о предшественниках хот-догов. Кстати, почему я пишу только про то, что ели, а что пили...

За бутиком, бывшим гастрономом, — "Сигарный дом", здесь продают сигары и сопутствующие им предметы. Пепельницы, наверно. А тогда здесь было заведение общепита. Еда вне дома была едой общественной и происходила на предприятиях общественного питания. В этом помещении на огромной сковороде жарили шашлыки. Запахи разносились по всему кварталу. Порция состояла из равного числа постных и жирных кусочков мяса, политых красным соусом. Их укладывали в тарелочку из металлической фольги. Толщина фольги достигала толщины металла современного автомобиля, но это была одноразовая посуда! Правда, я не помню, чтобы эти тарелочки валялись в урнах. Может, они были многоразовыми?.. В те времена во многих квартирах в буфетах-горках рядом с чешским хрусталем гордо стояли красивые пустые бутылки "из-под импортного пива" и, поверьте, пустые пивные банки.

Ели шашлыки, стоя у высоких столиков. Жирные кусочки оставляли, постные съедали. Тогда многие столовые и кафешки были стоячими. Партия и правительство готовили народ к фуршетам. На столиках стояла соль, а в пельменных, бывало, — и бутылочка уксуса. Я еще застал время в начале шестидесятых, когда, выполняя решения партии и правительства, общепит держал на столах бесплатный хлеб, горчицу, перец с солью. Это было после объявления Хрущева о том, что "коммунизм не за горами". Как выяснилось, объявить коммунизм можно, построить нельзя. Бесплатный хлеб исчез со столиков вместе со снятым Хрущевым, вскоре за ними последовали горчица и перец, а во многих городах и соль. Исчезнувшим из магазинов перцем стали торговать цыгане, выходцы из страны происхождения пряностей. "Перец, перец, тени, тени, калы, калы!" — кричали они в подземных и наземных переходах, превращая их в прообразы современных супермаркетов, торгующих и косметикой, и цветами, и пряностями.

После шашлыков хочется пить. Теперь о том, что пили, тем более, когда пишешь про питье, есть не так хочется.

Кроме упомянутых соков иногда в продаже появлялись дорогие, импортные, — например, сок манго индийского происхождения. Стакан стоил тридцать копеек. Апельсиновый и мандариновый стоили примерно столько же, но производства были грузинского. На вкус соки были горько-сладкими, как жизнь Грузии в сплоченной семье...

Рядом с соками продавали "прохладительные напитки", как правило, теплые. "Освежающий", "Оживляющий", "Лето", "Ситро", "Крюшон" — газировка с сиропом, разлитая в поллитровые бутылки. Особняком держался кофейный напиток невнятного вкуса "Мокко" — наш ответ "Пепси-" и "Кока-колам", вместе взятым.

От жары тогда спасали тень, вентилятор и газировка. "Грязная" была с сиропом и стоила четыре копейки. "Чистая" стоила копейку, еще за копейку можно было купить коробку спичек, их часто давали вместо сдачи. Больше за копейку ничего нельзя было купить. Продавали газировку в будочках, стоящих по всему городу. В них же заправляли сифоны. Заправка маленького стоила 6 копеек, большого — 12. Иногда в них добавляли сироп. Тогда из слоновьего носика появлялась розовая пена. Говорили, что заправка сифонов была делом прибыльным. Экономили не на воде, а как и сегодня, на газе, который в больших баллонах стоял, прижатый к деревянным стенам будочек-поилиц.

Выпивая залпом стакан холодной газировки, бившей в нос, в глаза, даже в уши, мы представляли себя взрослыми, выпивавшими залпом стакан водки и с улыбкой заявлявшими, что после первого не закусывают. Как герой Сергея Бондарчука в фильме "Судьба человека".

Вкуснее газировки был только квас. На разлив из огромных бочек на колесах, которые развозили по городу по утрам и собирали на заправку вечером. Они весело громыхали, сцепленные, как вагоны трамвайчика, по несколько штук сразу. Так же развозили по городу и бочки с пивом, но это уже вкусы нашей юности.

За квасом всегда стояла очередь с бидонами и освободившимися от заготовленных на зиму огурцов бутылями. А многие желали пить его на месте, кто из маленькой кружки за три копейки, кто из поллитровой — за шесть. Квасно-пивные кружки некоторые члены очереди называли бокалами. И хотя в их облике не угадывались дворянские предки и учеба в пажеском корпусе, наречение кружки бокалом придавало им легкое обаяние, которое быстро исчезало, когда те начинали из этих кружек пить. Правило "требуйте долива после отстоя" вступало в противоречие с мнением жаждущей кваса очереди, поэтому зарабатывали продавцы на пене. А в перестройку правило превратилось в шутку: "Требуйте долива после застоя".

Тогда, в детстве, нас не волновал ни отстой, ни застой, хотя запомнился один анекдот семидесятых. В Елисеевский магазин заходит старичок и бормочет себе под нос: "Вот здесь до революции лежали осетры, тут икра стояла в бочках, тут корзины с ананасами, кому это все мешало?". Смеялись.

Чтобы рассмешить сегодня, надо рассказывать по-другому. Тот же старичок, тот же магазин. "Здесь раньше продавали газировку по копейке, квас по три, мороженое по девять и колбасу по рублю за килограмм — кому это все мешало?". Интересно, чем будет смешить старичок лет через тридцать?

У продавцов кваса, пива, соков, газировки кроме основных обязанностей была еще одна задача: следить, чтобы стаканы и кружки-бокалы не унесли желающие их пользовать как временно, так и постоянно. Временно — сиюминутные компании, распивающие на улице то, что пить на улице нельзя. А постоянно — студенты и прочие обитатели многочисленных городских общежитий.

Отсутствие этой функции было слабым местом у автоматов с газводой, пивом и соками. Деньги автомат принимал, иногда наливал за них оплаченную жидкость в количестве, соответствующем настройке, но следить и препятствовать хищению стаканов был конструкторами не обучен. Часто вместо стаканов под отверстием, из которого появлялась живительная влага, вилось несколько ос в ожидании жаждущих, которые приходили к автомату со своей тарой, как правило, пустыми баночками из-под майонеза.

Говорят, было предложение заменить стаканы железными кружками на цепи, но оно не воплотилось. Наверное, боялись, что кружки будут уносить вместе с автоматами.

Как-то за океаном друзья пригласили меня в русскую баню. У выхода из парной у бочки с холодной водой висел ковшик-черпак. На толстой колодезной цепи... В пионерских лагерях кружки у бачков с питьевой водой тоже были на цепочках, но те были потоньше. Дети — они ведь не очень сильные, пока не вырастут...

Кружки и стаканы мылись на глазах покупателей. Про СПИД еще никто не знал, равно как и про всякие гепатиты. Герпес называли лихорадкой, которая появляется после поцелуев на сквозняке. А как моют стаканы сейчас? Мы этого даже не видим.

Но не будем о страшном... А о чем будем? О вкусном теплом хлебе из булочной, который доносился домой пощипанным. Был белый за 28 копеек с беретиком-горбушкой, а был за 26 копеек — без беретика. Часто купленный за 28 домой попадал за 26. Беретик исчезал по дороге. А плюшки? А сайки? А кукурузные хлопья — предтеча попкорна?

А еще о чем? О вкусной сгущенке. Если банку поварить часа два, молоко в ней превращалось в большую ириску. О печенье, о вафлях с вареньем... Стоп-кадр. Надо еще воды попить.

Вообще, получается не сценарий, а сумбурный физиологический очерк, только не 19-го, а уже 21-го века. Как быстро летит время...

Нужно вкусы систематизировать. Какими они были? Как и люди, они были разными.

Были вкусы будничные и были праздничные. Были сезонные и были запретные. Были даже принудительные. Какие? Ну, например, вкус рыбьего жира, на котором выросло наше поколение, как австрийцы на вальсах. Они на вальсах, а мы на рыбьем жире. Или вкус теплого молока с пенкой. В школе в первых классах надо было пить молоко. Иногда его заменяли киселем из концентрата, и это был праздник. К молоку полагалась маленькая белая булочка. Тогда с белым хлебом в стране была напряженка, а детям эти булочки выдавались в обязательном порядке. Часто в школьном дворе ими играли в футбол. За это ругали. Знали ли ругавшие, что то, что дается даром, — не ценится и взрослыми людьми?

Теперь о вкусах сезонных. Это сегодня у фруктов с овощами распалась связь времен, а тогда первые арбузы были в августе, первый виноград — в сентябре, первая клубника — в мае, первые помидоры — в июне. Апельсины были в авоськах прилетающих из Москвы круглый год. Лимоны из Грузии поступали регулярно, а мандарины только зимой. В общем, летом варили варенье, а зимой пили с ним чай.

Вместе с социализмом ушла радость от первых огурцов и дынь. Осталась — только от потраченных денег.

Теперь о вкусах праздничных. Какой праздничный стол обходился без холодца? Его приготовлению всегда сопутствовала интрига "застынет — не застынет". Утром мы приходили на кухню, открывали холодильник и радостно кричали: "Застыл, застыл!". Варили его по-разному, но самый вкусный был из петуха.

Постоянным соседом холодца на праздничном столе был салат оливье. Давший ему свое имя московский ресторатор и кулинар Люсьен Оливье не мог знать, что этот салат станет символом развитого социализма так же, как винегрет, который был символом недоразвитого. Майонез и горошек покупали задолго до праздников, так как бывали они в продаже редко. В домах побогаче в салат клали куриное мясо или язык, в домах победнее — вареную колбасу, но ни одно праздничное застолье без него не обходилось.

Дефицитные рыбные консервы хранили до праздников. Шпроты, например. Многие думали, что так называется маленькая рыбка, плавающая в Балтийском море, а оказалось, что это способ ее приготовления. Часто соседкой шпротов оказывалась рыбка сайра. Иногда на праздничном сто-

ле появлялись бутерброды с икрой. Кстати, в те годы все именины делились, как рыба, на две категории: с икрой и без икры. По количеству икринок и, соответственно, их расстоянию друг от друга на бутерброде можно было с точностью до десятки определить зарплату хозяев.

Самым популярным десертом был "Наполеон". "Наполеоны" делились на "сухие" — с масляным кремом — и "мокрые", с заварным. Реже встречался торт "Кутузов".

Вкусно было есть в гостях и вкусно было доедать праздничную еду в течение нескольких дней после их ухода. Готовили всегда с размахом и запасом.

Хватит о вкусах праздничных, так можно и слюной ненароком захлебнуться. Переходим к запретным. Стоп-кадр.

Самые вкусные вкусы — вкусы запретные. Кто не знаком с изречением о сладости запретного плода?

Разным детям запрещали разное. Подавляющему большинству запрещали есть семечки. Большой стакан — десять копеек, маленький — пять. Продававшие их бабушки заворачивали семечки в газеты — когда в передовицу "Правды", когда в некролог на последней странице. Но чаще всего семечки заворачивали в листочки из школьных тетрадей и, отлускав стаканчик, можно было познакомиться с мыслями автора о подвиге молодогвардейцев или образе Печорина. Кстати, бабушки первыми принимали на себя удары борцов с нетрудовыми доходами.

Лускать семечки дома считалось неприличным, на улице — тем более. Единственным исключением был стадион, к радости убиравших его трибуны. Родители часто говорили: "Съесть стакан семечек — это выпить полстакана подсолнечного масла и вылизать языком квадратный метр асфальта", — не помогало. Иногда бабушки продавали белые семечки, кабаковые. Они были дороже и слаще. Черные, подсолнечниковые, подсоленные при жарке, мы любили больше. И хотя цена на них была картельной, ниже пяти копеек за маленький стакан она не опускалась, некоторые бабушки демпинговали, отсыпая нам семечек и на три, и даже на две копейки.

Продукт переработки семечек — козинаки — продавались в подземных переходах с рук, как тогда говорили, не всегда чистых. Для их употребления нужны были еще здоровые зубы, способные разгрызть спрессованные в сладком сиропе семена, а такие были не у каждого.

Из запретного были малосольные огурчики, лежащие рядом с кошелками, наполненными семечками, на газетке, и жадно впитывавшие в себя

свинцовую типографскую краску. Они были намного вкусней своих собратьев размером в мяч для регби, продававшихся в магазинах.

Что касается газетной свинцовой краски, то она соприкасалась с человеческим организмом не только через заворачиваемые в газеты бутерброды и семечки. До массового распространения салфеток различного назначения было далеко. Но мы о вкусах, а не о послевкусии нашего детства.

Вообще, самое вкусное в магазинах не продавали. Признаком достатка была мимоходом брошенная фраза: "Мы питаемся с базара". Сейчас наоборот. Тогда на рынках все было свежее, дороже и вкуснее. Когда вся экономика становится рыночной, можно обойтись без базаров. Наверно. Но мы о вкусном, о том, что продавалось с рук на базарах и улицах. Например, о пшенке, о сваренных початках молодой кукурузы, тайно обломанных на колхозных полях. Иногда продавцы сами посыпали их солью, вручая покупателям, иногда предоставляли это право последним. Съедалась пшенка до последнего зернышка в початке. Сколько приступов аппендицита было спровоцировано вкусом молодой кукурузы, знают только хирурги.

А еще был заморский вкус жевательной резинки, которую привозили моряки и редкие загранкомандировочные. Чаще всего это была жвачка "Wrigley's", известная в народе как "черная стрелка". В школе о возвращении из рейса папы моряка учителя узнавали по дружно жующим на уроках друзьям счастливого обладателя нескольких пачек жвачки. Каждую пластинку разрывали на несколько частей и громко жевали, уже видя себя на обложках еще не виданных западных журналов. "Кто носит майку "Адидас", тот завтра Родину продаст", ну, а кто жвачку жует, тот и до завтра ждать не станет. Официально жвачка попадала в страну только в качестве призов за выигрыш в чешских Луна-парках. Но социалистические жвачки-конфетки сильно уступали по вкусу капиталистическим пластинкам и подушечкам. Ой, как жевать хочется, причем не жвачку.

Я подошел к окну и распахнул его. Ветер с моря наполнял город свежим воздухом, захотелось на улицу. Нет, надо работать.

Что еще вспомнить? А может, хватит про еду? И почему я свои воспоминания называю нашими? Может, другим нравилось совсем другое. Зефиры, мармелад "лимонные дольки", например, а не огурцы на газетке... Кто я такой, чтобы про мои вкусы кино снимать? Лучше напишу сценарий про что-то современное. Про пробку. Машин все больше и больше, наверно потому, что жить все тяжелее и тяжелее. Так вот, сидит человек в своей машине в пробке. У кого-то что-то случилось — и все стоят. Час

стоят, два стоят, машину бросить нельзя, а кушать хочется, и водитель начинает вспоминать... Так, стоп-кадр...

От этой диеты сочинительство скоро перейдет в голодные галлюцинации, а есть дома нечего. Один приятель рассказывал, как давным-давно он выпросил у товарища ключи от пустовавшей квартиры. Ночью они с девушкой так проголодались, что стали искать по шкафчикам что-то съестное. Нашли остатки макарон, пачку панировочных сухарей и бутылку подсолнечного масла. Макароны сварили, а потом обжарили в сухарях — и вкуснее они ничего в жизни не ели. Откуда я про это знаю? Потому что каждый раз, когда они приглашают на годовщину своей свадьбы, угощают гостей макаронами "по-гречески". Да, забыл упомянуть, что квартира была на Греческой улице.

Ну, а мне что делать? Холодильник пуст, а шкафчики? Я заглянул во все отделы. В одном нашел терку с остатками сыра для спагетти, но их было ничтожно мало, да и слизывать с терки было больно. В другом стояла бутылка с подсолнечным маслом на донышке. Я заглянул под шкафчик. Удача. Там было несколько закатившихся и успевших прорасти картофелин. Неважно. Как вкусны они были с чуть горьким, но таким ароматным жареным маслом, посыпанные хрусталиками крупной поваренной соли!

Поем и лягу спать, думал я. Имею право. А после сна пойду гулять по наполненным свежим морским воздухом улицам и буду думать о написанном. Вечером вернусь и допишу про молочные коктейли, про компот на даче и про многое другое, что осталось в детстве и памяти.

Доев картошку, я вымыл тарелку и лег на диван. Уснул быстро, как будто мамина рука лежала на моем плече...

Сентябрь 2007 г.
Одесса



Елена КОРНИЦКАЯ

Нинель

"Ах, Нина, Ниночка, Нинель..."

Именно так загадочно и непривычно ее имя звучало при жизни, а после смерти осталась в памяти лишь удивительная история Нинель.

Она была незаконнорожденной дочерью молодого красавца-офицера и цыганки. Дитя любви военных лет. Офицер с войны не вернулся, а юная цыганка разыскала семью возлюбленного и отдала малютку старшей сестре погибшего. Жизнь шла своим чередом, любовь с Константином по понятным причинам не сложилась, а обременять себя заботами о крошке в неполные шестнадцать лет она не собиралась. Ничего, кроме имени и, как впоследствии выяснилось, особой завораживающей красоты, мать дочери не дала. Так на свет появилась Нинель.

Анна, родная тетка малышки, поставленная судьбой перед фактом, вынуждена была теперь заменить ей мать. Она была молода, хороша собой, жизнь и быт ее были устроены наилучшим образом, поэтому новые обязанности оказались для нее не совсем привычными. Будучи замужем за большим человеком, она страдала лишь оттого, что не могла подарить ему ребенка. И когда в их доме появилась Ниночка, она успокаивала себя тем, что теперь-то уж придраться не к чему — полная образцово-показательная счастливая семья. Муж Анны, полковник НКВД Ковалев, был намного старше супруги, часто отсутствовал из-за неотложных государственных дел, подолгу бывал в командировках в Москве и очень обрадовался появлению девочки. Теперь-то его Анна может полностью реализовать себя, а реализовывать ей было что.

Аристократка до мозга костей, Анна родилась еще в дореволюционной России в интеллигентной семье. Литература и музыка, иностранные языки и точные науки, живопись и театр — вот далеко не полный перечень интересовавших ее предметов. Получив хорошее образование, разносторонне развитая девушка работала в школе преподавателем истории и немецкого языка. Выйдя замуж за Ковалева, Анна с радостью оставила опостылевшую работу. Не престало жене начальника, лично знакомого с самим Берией, заниматься такой ерундой. Теперь были дела поважнее: приемы, премьеры и выставки, портнихи и парикмахеры, меха и бриллианты, модные шляпки и горжетки, личный водитель и служебный автомобиль — все это вошло в ее повседневную жизнь. Вот уж где могла она блеснуть свои-

ми обширными познаниями и продемонстрировать утонченный вкус. Такая жизнь пришлась Анне по душе, здесь она была на своем месте.

Но однажды Ковалев затронул тему, на которую ей меньше всего хотелось с ним разговаривать. Детская матка, неспособность к воспроизводству потомства — вот безжалостный приговор, вынесенный врачами. Супруг даже поднял вопрос об усыновлении ребенка из детдома, и вот судьба преподнесла такой подарок! Ниночка! Тем более, дочь покойного брата, родная кровь (цыганская кровь почему-то в расчет не бралась) — тут уж сам Бог велел взять девочку и воспитывать как родную дочь. Единственное, чего категорически не хотели Ковалевы, чтобы люди узнали о ее истинном происхождении, поэтому в ближайшие планы полковника входило сменить место жительства, переехать, притом — как можно скорее.

Перевелся он в Одессу. Этот удивительный город давно пленил его сердце, и теперь, воспользовавшись своим положением, он был полностью удовлетворен жизнью: уютный особнячок в тихом переулке, ведущем прямо к морю, любимая женщина и очаровательная дочурка. Да уж, видимо, сей орденоносец действительно заслужил и это простое человеческое счастье — прекрасную семью.

Уж такой это был человек — признавал он только все самое лучшее. Касалось это всего: еды, женщин, отдыха. И когда на склоне лет в жизнь Ковалева вошла Ниночка, он просто неистово баловал девчушку. Лучшие наряды, дорогие игрушки, кремлевские елки с чудо-подарками, ежегодные поездки в престижные здравницы и санатории Крыма, отдых в Прибалтике и красоты Грузии — все это сполна получила Нина еще в детстве от благодарного судьбе отца. Училась она, конечно, также в лучшей школе, с углубленным изучением иностранных языков.

Поначалу учеба давалась легко, и Нина радовала родителей своими успехами. Затем был привезен шикарный концертный рояль, и Анна возила ее в музыкальную школу, где помимо обязательных Нина брала уроки вокала. Ковалев верил, что дочь может сделать большую карьеру, и не жалел ни сил, ни средств для воплощения своих надежд в жизнь. Профессор консерватории раз в неделю посещал дом Ковалевых и более часа занимался с юным дарованием.

Однако Нине вскоре надоели скучные арпеджио и гаммы, и она изъявила желание попробовать себя в танце. Единственная в городе хореографическая школа распахнула двери перед избалованной красоткой. Но строгая дисциплина и колоссальные физические нагрузки резко отбили охоту быть прима-балериной. Анна пыталась увлечь девочку чтением,

подробно рассказывала об интересных моментах истории, водила на литературные вечера и концерты. Нина послушно ходила повсюду, но слушала вполуха, зевала, и вообще, всем своим видом показывала, что ей бесконечно не интересны все эти разговоры о возвышенном и прекрасном. Что-то иное влекло ее, но она сама еще не подозревала, что именно. Нина могла часами стоять у зеркала, глядя на свое отражение. Она не просто любовалась собой, казалось, девочка была где-то далеко-далеко и в потаенных мыслях. С отцом у Нины были доверительные отношения, но даже ему никогда не раскрывала она своих секретов.

* * *

Впервые увидела я ее восемнадцатилетней девушкой. Мне тогда едва исполнилось тринадцать, и родители привезли меня на летние каникулы в Одессу. Дальняя родственница, Анна, недавно овдовевшая, пригласила на море всю нашу семью, однако мои родители работали и не могли, конечно же, себе позволить такой роскоши. Но и упустить эту возможность было бы глупо. Поэтому решили отправить к тетке меня. Подъезжая к дому Анны, я даже не могла себе представить, что буду жить в таком чудесном месте. Обычные люди в таких домах не жили, тем более мои знакомые. Папа представил меня родственнице, мама обменялась с ней любезностями и начала выкладывать из сумки нехитрые гостинцы.

Что и говорить, именно в тот день я прочувствовала на себе смысл выражения "бедные родственники" в полной мере. Покровительственный тон разговора с моими родителями неприятно резанул ухо, ее высокомерие и намеренно подчеркнутые аристократические манеры сразу начали действовать мне на нервы. "О, Боже! Неужели я должна буду провести все свое лето у этой зануды? Ну уж нет! Не выйдет!" И только я решилась все это высказать родителям, как Анна менторским голосом велела мне идти в сад и помочь Нине. О ее дочери я слышала кое-что дома, но особо в подробности не вдавалась: она-то деваха взрослая, ей-то уж точно не до меня.

Спустившись с террасы по лестнице в сад, я увидела картину, навсегда вошедшую в мою память: на низенькой скамеечке перед огромной миской со спелой сочной вишней сидела девушка и вынимала шпилькой косточки. Я смотрела на это лицо и не могла отвести взгляда. Я стояла, как околдованная, и не могла налюбоваться ею. Кстати, с прямым значением слова "ненаглядная" я столкнулась тогда же, в первый и, наверное, в последний раз.

Длинные густые иссиня-черные волосы струились по ее мраморной шее и ниспадали на грудь, нежный румянец светился под персиковой ко-

жей лица, слегка удлиненный нос с горбинкой выдавал породу, а пухлые чувственные губы были припачканы свежим вишневым соком. Но самое сильное впечатление произвели тогда на меня ее редкой красоты длиннющие ногти, ярко-красный цвет которых удивительно гармонировал со всей этой картиной. Это неземное создание ловко орудовало своим приспособлением. Заметив меня, Нина кивком головы пригласила присоединяться и вдруг сказала: "Как мне осточертела эта вишня! Ненавижу все эти варенья, соленья! Сделала из меня какую-то Золушку, и я должна сидеть здесь целый день, ковыряясь в этом дерьме!".

Я просто опешила... Оказывается, это не видение, не мираж, а самая обыкновенная девушка, Нина, да еще к тому же моя какая-то там ...юродная сестра!

В Нине я видела теперь не столько божество, сколько союзника. Ей тоже, оказывается, не нравятся правила и порядки Анны! Здорово! Ведь вдвоем нам будет легче противостоять ей. Никогда еще я не чувствовала себя такой счастливой: у меня взрослая сестра, да к тому же такая красавица!

Все лето Нина брала меня с собой на пляж. Сделав с утра все домашние дела, мы могли до обеда наслаждаться солнцем и морем. Только почему-то обычно наслаждалась одна я. Нина, вернее, Нинель, как ее называли все знакомые ребята, приводила меня к двум шарам (местная достопримечательность пляжа Ланжерон), подсаживала к своим приятелям, велела подолгу не сидеть в воде и куда-то уходила. Иногда она отсутствовала недолго, а иногда приходилось ждать ее несколько часов. Я неловко чувствовала себя среди взрослых друзей Нины, смущалась, когда они целовались или обменивались мнениями насчет той или иной девушки, появившейся на пляже, и делала вид, что усердно читаю.

Из их разговоров я поняла, что у Нины роман со спасателем, работавшим на лодочной станции. Это было так романтично, на мой взгляд. Нина возвращалась под всеобщее улюлюканье и свист ланжероновской публики, забирала меня, и мы шли домой. По дороге она рассказывала мне, что помогает дежурить одному спасателю, Анатолию, говорила, что это очень ответственное дело, требующее внимания: ведь спасатель заплывает на своей лодке за буйки и оттуда следит за порядком на воде. Я ей очень завидовала. Нина обещала как-нибудь дать посмотреть мне в настоящий бинокль, если я не стану ничего рассказывать ее матери. На этот счет она могла даже не беспокоиться — ведь и меня могли со временем приобщить к столь важному делу — спасению утопающих.

Лето промчалось быстро. Меня забрали домой, и началась учеба. Весь

год я жила воспоминаниями о лете, о Нине. Она даже прислала мне открытку к Новому году. Я носилась с ней, как сумасшедшая. Закончив на отлично седьмой класс, я надеялась снова попасть в Одессу. Но выяснилось, что Нина готовится к поступлению в университет, и принять меня не могут. Слезы душили меня несколько дней подряд. Ну зачем ей этот университет? Разве плохо было ходить на море, спасать людей? Но делать было нечего. Лето я провела в деревне у бабушки. На этот раз и к Новому году от Нины ничего не было.

Через год я снова заикнулась об Одессе, но оказалось, что у Нины родился ребенок, и конечно, там не до меня. Так я и не стала помощником спасателя...

* * *

Судьба распорядилась так, что вышла замуж я за одессита, родила дочь, и вообще, прочно обосновалась в Одессе. Совершенно случайно мы с Ниной встретились вновь. Она разошлась с мужем и воспитывала сына самостоятельно. Анна к тому времени жила отдельно, и сестра пригласила меня к себе.

Как выяснилось, Нина действительно поступила в университет, однако сразу же оставила учебу, не проучившись и года. С появлением малыша Анна еще кое-как смирилась, но с мужем дочери Витькой, бездельником и выпивохой, ужиться никак не могла. Им пришлось разменять Ковалевский особнячок на две отдельные квартиры в разных концах города. Анна больше не вмешивалась в семейные дела Нины, но внука Олежку часто брала к себе. Пьяные разборки Виктора, его друзья-собутыльники — лучшее, что она могла сделать, — оградить ребенка от дурного влияния отца.

Олег рос слабеньким, но смышленым мальчуганом. Смуглолицый, с огромными глазищами, со жгуче-черной копной волос, он походил на цыганчонка. Бабушка занималась с ним немецким языком, читала добрые сказки, водила в театры и в филармонию. Но больше всего Олег любил бывать в зоопарке. Особое восхищение вызывали у малыша лошади. Он катался на них часами, вызывая нетерпение Анны. Гладил их шелковистые гривы и целовал в носы, знал всех по именам и любовался ими. А еще каждый год летом они вместе ездили к сестре Анны в Ленинград и подолгу там гостили. Эрмитаж и Петродворец, Царскосельский лицей и Летний сад, мосты и каналы — история родного города была любимым коньком Анны. Но мальчик скучал в музейных залах, равнодушно осматривал памятники архитектуры и истории, изнывал от тоски на столичных спектак-

лях. Оставаясь под постоянным контролем бабушек, Олег устремлял взгляд внутрь себя и уходил в мир собственных фантазий...

Нина оставалась все такой же умопомрачительной красавицей. По мнению одного из многочисленных поклонников, ювелира Миши, Нинель была похожа на итальянскую кинозвезду Джину Лоллобриджиду. Как-то на шумной вечеринке у общих друзей он подарил ей королевского серебристого пуделя с золотым ошейником. Нинель поцеловала собачку и сразу придумала ей кличку — Джина. Какой чести была удостоена кинодива! Теперь красотка знала себе цену и по мелочам не разменивалась.

А еще через какое-то время очередной любовник устроил Нину в торговлю. В самом сердце города, на легендарной Дерибасовской, было замечательное кафе "Снежинка". Нинель стояла на весах с креманкой и лихо обслуживала клиентов. Место было и вправду доходным — проблем с деньгами у Нины не было. Никаких. Любой дефицит, валюту, шмотки, золото — все это можно было теперь достать, обратившись к Нинель. И обращались. Об аферах и баснословных суммах, проходивших через ее руки, ходили легенды. Но она всегда выходила сухой из воды, и ничего не боясь, продолжала делать дальше свои дела. Я слышала даже о том, что особенно любопытные людишки специально приходили в кафе поглазеть на Нинель. Каждый вечер находились желающие подвезти ее после работы домой. Она выбирала наиболее достойный объект, позволяла себя сопровождать, приглашала на "рюмку кофе"...

В общем, жизнь била ключом. Изобилие и достаток, казалось, навечно поселились в доме Нинель. Рестораны и дорогие автомобили, круизы и валютные бары, могущественные друзья и влиятельные любовники — именно об этом мечтала Нина, сидя на низенькой скамеечке в саду, когда часами вынимала косточки из вишен...

* * *

Когда мы хоронили Нину, ничего уже не напоминало о ее былой красоте. Вонь, грязь, груды мусора и полчища тараканов — вот и все, что осталось от ее некогда роскошной квартиры: вместе с последним сожителем, уголовником Валерой, Нинель распродала остатки своего имущества. Страшно признаться — у нее не осталось даже нижнего белья. Ничего и никого не было и вокруг. Только несколько безобразных старух, шамкая беззубыми ртами, негромко перешептывались: "Срамота-то какая! Допилась Нинка-то — и похоронить не в чем!".

Олег, единственный сын Нинель, уже второй год покоился на кладби-

ще — ему отрезало трамваем голову, когда он мчался на своем стальном скакуне-мопеде навстречу смерти. Нет, в тот день не было передозировки, просто шел обычный одесский трамвай... Анна не перенесла тяжелой утраты — смерти любимого, несмотря ни на что, внука — и вскоре ушла вслед за ним. И только маленькая старая облезлая собачка Джина вертелась под ногами у провожавших Нинель в последний путь.

* * *

Я стояла у гроба сестры и смотрела на ее ногти с засохшей под ними грязью, но почему-то видела все ту же картинку из детства: скамеечка, миска с вишней, шпилька, косточки и длинные, поразительно красивые ногти ярко-красного цвета.



Елена САВИЛОВА

Яблоки твоего детства

...Черный поезд простучал, Люда повалилась в разошедшееся сено, яблоки рассыпались по всему кузову, потому что призрачно белеющий шлагбаум поднялся призрачно же неслышно, и грузовик рванулся, спеша переехать через пути. Пока он перебирался через рельсы, Люда торопливо собирала розовые, сияющие, как звезды, яблоки. Оказалось, что кулек разорвался. Люда все же завернула яблоки в полиэтилен и положила себе на колени. Машину немного потряхивало, она ухватилась руками за борт и стала смотреть вперед, на летящее ей навстречу зарево городских огней.

В кабине шофер включил радио. Раздался треск, потом женский голос с чувством произнес: "Я не могу иначе"...

— Я тоже не могла иначе, — сказала вслух Люда.

Отсвет огней города лег на ее круглое бледное лицо и сделал его значительнее и торжественнее. Даже наливающийся синяк под глазом сейчас не портит Люду.

Грузовик незаметно влился в автостраду, представляющую собой сплошной поток автомобилей и автобусов. Рядом с ним, бок о бок, шел серебристо-алый красавец междугородний экспресс. Люда видела лица пассажиров. Одернула сарафан, закрывая грязные исцарапанные колени. Одному пожилому мужчине, разглядывающему ее особенно пристально, показала язык. Тот дернулся в кресле, экспресс прибавил скорость, мимо Люды поплыли освещенные окна.

Яблоки лежали тихо, больше не собирались разбегаться, но словно негромко переговаривались на своем языке. От них шел густой диковинный аромат. Огни отражались в их выпуклой блестящей поверхности.

Люда взяла одно яблоко, поднесла его к лицу, закрыла глаза... и вдруг отчетливо услышала свист и щебет птиц в вершинах сада.

...Ее окружала высокая густая трава. Сквозь траву пробирались страшные длинноногие кузнечики. Люда боялась кузнечиков, но вместе с ними ползала под высокими зелеными стеблями, оставляя за собой узкий медленно смыкающийся след. Ей очень нравилось, что трава выше ее головы, и что она ползет долго-долго, видя перед собой все тот же зеленоватый полумрак.

— Люда! — догнал ее кажущийся сейчас незнакомым мамин голос.

Люда замерла.

— Люсенок, где ты?

Люда тихо засмеялась и быстро поползла вперед. Зашумели шаги, трава раздвинулась, показалось небо, крепкие нежные руки подхватили девочку. Высоко поднятая мамой, она увидела, что ее волшебный, полный света и мрака лес — всего лишь обычная, едва достигающая маминых колен трава.

Люда прислонилась кудрявой головкой к маминой щеке. Ей стало почему-то грустно. Щека у мамы была влажной.

— Май, — тихо сказала мама.

Люда удивленно подняла на нее глаза. Между ее щечкой и маминой щекой проскользнула соленая капля. Мама плакала. Кругом был май, трава кипела цветами, весь сад звенел птичьими голосами, а мама плакала...

В августе гибкие ветки невысоких яблонек, которыми был засажен мамин сад, обвисли под тяжестью крупных розовых плодов. Люда бегала, подпрыгивая, срывала яблоки, играла с ними, как в мячик, потом бросала их в ведра. Мама ходила, счастливо смеясь, в косынке, откуда выбивались пахнущие летним солнцем русые пряди волос.

— Вот, Люсенок, представь, — говорила она, — зима, холодно...

— С потолка капает, — подсказывала Люда.

— И с потолка капает. Небо серое-серое. Все давно уже о солнышке забыли. А в нашей комнатке светло-светло, как будто настала весна.

— Ты новую люстру купишь? — обрадовалась Люда.

Мама улыбнулась немного печально. Вокруг добрых глаз разбежались тоненькие морщинки.

— Нет, доченька, не куплю. У нас все равно будет светло. Ты будешь сидеть на сундуке и держать в руке яблоко. Оно будет сиять ярко, как солнце. И твоя мордашка тоже, — мама легонько прикоснулась к курносому носику дочки.

На улице за забором остановился новенький автомобиль. Люда увидела, что в нем сидит маленький стриженый мальчик. У него были большие голубые, как цветные стеклышки, глаза. Мальчик тоже посмотрел на Люду и вдруг скорчил ей рожу. Люда обиделась и сжала покрытые ореховым загаром кулачки. Но она сразу же забыла про обиду, до того поразило ее странное поведение мамы. Из машины вылез толстый человек в черном костюме. Мама слабо вскрикнула и потянулась к нему, но ее словно отбросило назад. Человек посмотрел на Люду и улыбнулся. Голубые, как у мальчика, глаза его вспыхнули, из-под толстых губ показались ослепительно белые зубы. Люда заинтересованно уставилась на него. Но он, уже не глядя в ее сторону, пошел, колыхаясь всем своим огромным телом,

к вытянувшейся, как струночка, маме. Ее всегда бледное лицо сначала вспыхнуло так ярко, что лежащие в ведрах яблоки показались выцветшими рядом с ним, а потом совсем побелело и стало неподвижным, как у Снегурочки из сказки. Толстый человек негромко заговорил с ней. Мама слушала и все время кивала головой: да, да...

Вдруг толстый человек направился прямо к Люде и неожиданно подбросил ее в воздух. Люда чуть не подавилась яблоком и, вытащив его изо рта, судорожно сжала в руке. Взлетев во второй раз, она поразилась чудесному, как во сне, ощущению волшебной легкости, с которым она взмывала ввысь и упруго падала на подхватывающие ее сильные руки мужчины. Это ощущение было для нее новым. Мама никогда не играла с ней так...

Когда Люда снова оказалась на земле, ей захотелось заплакать.

Но что это делает мама? Носит и высыпает в открытый багажник автомобиля одно ведро яблок за другим. Люда бросилась к ней.

— Мама, что ты делаешь?!

— Ничего, доченька... — мама прерывисто дышала. — Видишь мальчика? Это Володя. Он тяжело болен. У него ножки не ходят. Давай подарим ему яблоки.

Люда надула губы.

— А я? Я тоже маленькая!

— Но ты же здоровая, вон как бегаешь! — громким веселым голосом сказал человек в черном костюме. — Если будешь себя хорошо вести, зимой я пришлю тебе апельсины.

Люда отвернулась. Она слышала, как стучат яблоки, падая в багажник. Потом настала тишина.

— Спасибо, малыш, — сказал толстый человек, с чувством пожимая мамину безжизненную руку. — Ты все такая же добрая душа. Почему замуж не выходить?

— Не хочу, — тихо ответила мама.

— "Не хочу"! — передразнил толстяк. — Тебе о ребенке надо думать! Ей отец нужен, а в доме — мужчина. Вон у тебя все разваливается... Ну, поехали!

Он обошел вокруг автомобиля и, опустившись на мягкое серое сиденье, стал заводить мотор.

Между тем Люда, осмотревшись вокруг, обнаружила, что все ведра опустели. Лишь одно, ее розовое пластмассовое ведерко, стоит, полное яблок. Миг — и она бежит с ним по дорожке, выбегает на улицу, пробегает мимо окаменевшей мамы и сует ведерко в приоткрытую дверцу автомобиля.

— Возьмите... Это Володе.

Вытащив носовой платок, мужчина обтер покрасневшее, покрывшееся потом лицо.

— Спасибо, дочура. Кушай сама.

— Нет-нет! — настаивает Люда. — Нам с мамой не надо, мы здоровые! Пусть Володя сидит и ест яблоки, он поправится. И ведерко тоже ему дайте, пусть он играет. У нас еще много есть, — соврала она.

Рука мужчины замерла. Потом он медленно взял ведерко у Люды и протянул на заднее сиденье приподнявшемуся мальчику. Краснота сошла с его лица, но на лбу вновь выступили крупные капли пота. Когда он заговорил, губы его с трудом шевелились:

— Спасибо, Людмила. Ты хорошая девочка. Я обязательно пришлю тебе апельсины.

Когда на дороге улеглась пыль, Люда прижалась к маме и успокоительно сказала:

— Ничего, что мы Володе подарили все яблоки. Апельсины могут светиться еще лучше. Особенно зимой.

...И опять был август, когда напротив сада вновь остановился автомобиль, но уже не новенький "Москвич", а средней свежести иномарка. Из нее выскочил невысокий смуглый юноша, помог выйти похорошевшей Люде в белом брючном костюме.

Смущенно улыбаясь, они неслышно приблизились к разглядывающей поврежденную яблоневую ветку маме и внезапно обняли ее.

— Господи! Ты бы, Люсенок, хоть написала, что приедешь! А это...

— Я тебе не писала, хотела сделать сюрприз. Это мой муж, — и она назвала нерусское имя.

Зять церемонно поцеловал узкое потемневшее запястье мамы. Та несколько растерянно улыбнулась.

— Муж... да... очень приятно, конечно. Но, Люсенок, как же ты будешь...

— Он работает в посольстве, мамочка. Мы через неделю уезжаем за границу, его срочно вызвали домой. Вот... приехали попрощаться...

Стукнуло, упав на дно ведра, маленькое яблоко, которое держала в руке мама. Ветер шевелил на ее тонкой шее поседевшую прядь, выбившуюся из-под белой косынки. И прядь, и косынка, как прежде, пахли летом, солнцем и ветром...

А здесь пахло только лекарствами. В коридоре пахло и еще многим другим, и все, кто был здесь, привыкли к этому запаху, в палате же воздух все время проветривался. Через фрамугу лился свежий горько-сладкий аромат уходящего лета, но запах лекарств был сильнее.

Встретив Люду в коридоре, муж ужаснулся:

— Люси! Что это значит?! Ты, в таком виде... Ты упала? Где ты была?

— Ездила за яблоками.

— Какими яблоками?

— Потом расскажу. Как мама?

— Ей хуже. Звала тебя. А ты...

Люда махнула на него рукой и, на ходу натягивая халат, вбежала в палату.

— Мамочка, вот яблоки...

Серебристо-розовые, твердые, сияющие, они легли вокруг ее изможденного строгого лица.

— Мама, ты слышишь меня? Я привезла тебе яблоки. Те самые, волшебные, из нашего сада. Они будут светиться, и ты поправишься. Мамочка...

— Что ты еще придумала? — спросил муж, входя. — Ей нельзя яблок. Врач сказал, ей можно только апельсины. Я купил хорошие апельсины.

— Мама, ты слышишь меня?! Мамочка!!!

— Люси, только не волнуйся. Я позову врача.

...Мама, мама, мама! В их саду давно хозяйничали чужие люди, она, важная супруга иностранного дипломата, лезла через забор, как мальчишка, срывала яблоки с дерева в кулек; спасаясь от собак, прыгала, падала, набивая синяки, бежала, ехала на сене в грузовике, и яблоки ехали вместе с ней, а ты даже не хочешь на них посмотреть, мама, мамочка! Ма-ама!..

...Мама уже бежала к ней.

— Что ты, доченька? Что с тобой?

На шершавом листе прямо перед Людой качался большой зеленый кузнечик и смотрел в лицо девочки бусинками глаз...

Мама уже подняла Люду из травы и вместе с ней шла по дорожке между яблонями с крошечной зеленой завязью, а девочка все дрожала от пережитого страха и никак не могла успокоиться.

Наталья КАУФМАН

Потерянный кот, или Противоестественный отбор

Конец марта в российской глубинке совсем иной, нежели в столице. Это ощущаешь все явственней с каждым километром пути отдаления от нее. Москва (этот "Бермудский треугольник", который без возврата поглощал твое время, силы и чувства, и в эти весенние дни уже переживший последнюю схватку с зимой и уже празднующий победу над ней) остается позади, скучная, серая и уже совершенно сухая. Иное дело за городом — там весна уже началась, но еще не победила окончательно. Поля с озимыми по обе стороны дороги (которую в прошлом году после ремонта еще можно было называть дорогой, да и то, обладая хорошим воображением, нынче, по прошествии зимы, опять превратилась в бесконечное чередование маленьких рытвинок и больших ям), уже скинули ватное одеяло серо-белого снега и зеленеют вопреки плохому настроению природы. Лесные заросли тревожат своей темнотой на фоне холодного еще неба, которое никак не хочет открывать глаза в бирюзовую радость настоящей весны. Пьеса весны здесь, за городом, уже началась, но никак не желает играться в нужном темпе. По обочинам дороги и в оврагах еще лежит ноздреватый, как мокрый сахар, серо-голубой и грустный снег. Но изредка вдруг откуда-то, словно проснувшись и очнувшись от скуки, вдруг появляется солнце, и все оживает вокруг. И мокрая разбитая дорога уже не кажется такой кошмарной и непреодолимой, и деревья уже не кажутся такими грустными и навсегда коричневыми — вдруг видишь, что в каждом стволе, по каждой веточке зеленым светом движется кверху весенний сок земли, жизнь. Весна!..

Таким вот днем мы ехали по просторам весны в нашу новою обитель для души, дом в деревне. Ехали обживать свое деревенское счастье со всеми домашними. И везли с собой в машине самого главного в семье — белого пушистого домашнего кота Снежка. Котик был огромный по меркам всего кошачьего населения столицы. С наглым и самоуверенным выражением золотисто-желтых солнечных глаз. Он знал себе цену и потому разговаривал с нами всеми в исключительных случаях — только когда хотел есть. А поскольку имел статус всеобщего любимца в семье и никогда не бывал голоден, то можно сказать, что не разговаривал вовсе. Кот-молчун был философом. В то время, когда не спал, сидел с умным, но отсутствующим выражением на лице, глядя в никуда, и казалось, размышлял о чем-

то великом и недоступном нам, приставленным к нему волею случая для прислуживания. И все мы по сценарию судьбы должны были радоваться этой счастливой случайности, сведшей нас для знакомства с ним. Весь его снисходительный вид постоянно напоминал нам об этом, не давая позабыть это обстоятельство ни на минуту. Мы приняли эти правила и поклонялись своему коту-божеству неустанно.

Снежок был одет в белую песцовую шубку, которая на груди его шелковилась наподобие белого жабо, спускаясь до кончиков лап с острыми коготками. Хвост был пушистым и, как у лисы, — черно-бурым. Такое же пятнышко, наподобие короны или шапочки, — между маленьких ушек с кисточками на кончиках. В общем, и в самом деле — по-царски был одет котик наш.

Я размышляла, трясясь в машине, правильно ли мы поступили, взяв с собой нашу белую особу царских кровей в деревню. Он и слова-то такого — *земля* — от рождения не слыхал. И ногой не ступал по ней ни разу. Как ему там будет? И что будет с его замечательной белой шкуркой? Запачкается ведь непременно... И отмою ли я его дома до выставочной красоты и чистоты? Опять буду покусанная и поцарапанная, как обычно во время "помойки" кошачьей — воды он как истинный представитель кошачьего племени не любил вовсе.

Вот такие мысли одолевали меня, пока мы отдалялись от Москвы, приближаясь к новым заботам и радостям земным. Снежок дремал у заднего стекла этаким сугробчиком снега, и когда нас обгоняли машины, то сидящие в них обязательно оборачивались посмотреть, что же это такое едет-то с нами у заднего стекла?

К месту, куда так стремились наши души, мы не сумели доехать засветло, солнышко в марте рано спать ложится. Дорога из плохой превратилась в очень плохую, грунтовую, но совершенно размытую после таяния снегов и еще не просохшую. Она напоминала скорее болото с небольшим количеством кочек, по которым наша машина по такой темени уж точно бы не довезла нас до нашего жилища. Сомневаюсь, что и танк преодолел бы такое... Решено было переночевать в машине до рассвета, а там видно будет. То ли нас машина повезет, то ли мы ее доволочем-дотолкаем до места...

Снежок вдруг забеспокоился, запросился из машины... Понятное дело — столько часов спать... Давно пора бы. Пришлось выпустить его на волю. Предполагалось, что он, сделав свои кошачьи дела, вернется на свое насиженное место и продолжит смотреть сны до утра. Но это только предполагалось. Наш белый пушистый кот, оказавшись на земле, присел

и огляделся... Потом рванул со всех ног в сторону леса. Мы, никак не ожидавшие такого коварного поступка с его стороны, стояли, замерев от неожиданности и не в силах сообразить, что же нам нужно сделать, чтобы возвернуть нашего Снежка обратно. Тем временем белое пятно, напоминавшее скачущего по темноте ночной зайца, скрылось из виду окончательно.

— Вот это да!.. — растерянно произнесла я. — И что теперь?.. Он же в сторону леса понесся... Где его там теперь искать?..

Отец натянул болотные сапоги, взял фонарь и, вздохнув, отправился на поиски. Мы топтались около машины и кричали в темноту: "Снежоок... Снежоook!..". Темнота не откликалась.

Некоторое время нам виден был луч света от отцовского фонаря, но потом и он пропал. "Не хватало еще, чтобы отец потерялся вместе со Снежком", — подумала я... И тут вдруг из темноты он и вынырнул, запыхавшийся и, как мне показалось, напуганный. Я не ошиблась. Отец, без фонаря, который был им обронен где-то, бежал от кабана. Вернее, от кабанихи.

— Быстро в машину, — произнес он. — Я наткнулся на трех полосатых поросят... Они у меня из-под ног брызнули с визгом... значит, и мать их где-то рядом... а с ней лучше не встречаться.

— А как же Снежка наш?.. Не попался на глаза?.. Как же он-то теперь?.. — волновались мы, тем не менее, быстро возвращаясь на свои места и запирая зачем-то изнутри двери.

— Утром найдется, куда он денется. Он белый, на черной земле — хорошо виден. Найдется... утром, — сказал отец, и мы стали ждать утра.

Но ни утром, ни на следующий день, ни через несколько дней, которые мы потратили на прогулки по раскисшему лесу в поисках нашего котика, Снежок так и не объявился.

Мы не могли находиться там вечно — "Бермудский треугольник" столицы ожидал дани и звал к себе. Я подумала перед отъездом — здесь у нас еще один объявился... "Бермудский треугольник"... проглотил кота нашего... Наверное, нужно смириться с этим, хоть сердце и плачет по нему не переставая... И мы вернулись в город.

В начале мая, как и всем дачникам, к которым мы присоединились, нам выпала счастливая неделя "отдыха по посадке" всего, чего только можно посадить на собственной земле. Радостное чувство собственности и свободы в деревенской действительности, нам еще не так хорошо знакомое, но уже греющее душу, гнало нас из города прочь — на собственную землю. В городе, где тебе ничто не принадлежит (квартира — государственная, работа — государственная, отдых — распланированный, опять же,

государством...) нельзя испытать этого чувства обладания. В городе ты ничем не обладаешь, это город — владеет тобой.

Мы возвращались в деревню, предвкушая несколько дней освобождения от городской тирании. Кругом уже пело лето. И дорога показалась не такой утомительной. И небо бирюзило с высоты своей улыбкой. И лес, уже набравший зеленого цвета, приветствовал нас, качая головами деревьев. И была маленькая надежда на то, что отыщется потерявшийся наш котик...

Сумасшедшие горожане, которым, как оказалось, принадлежат все дома в деревеньке нашей, уже съехались на посадку картошки, и деревня не напоминала больше, как то было в марте, покинутое людьми и забытое Богом поселение. Местные, с колхозной фермы деревенские дядьки бродили от дома к дому, предлагая городским свои услуги по земляным работам в обмен на бутылку... Не миновали они и наш домик. Я же каждому жаловалась на потерю (еще в марте) кота-любимца и просила, если где увидят его, чтобы отловили и принесли беглеца к нам, за что обещала расплатиться все той же бутылкой. Каждый из них огорченно качал головой, просил предоплаты — уж тогда-то точно кот отыщется, и все будут счастливы... Я же была непреклонна — меняю кота на бутылку и никак иначе... никаких предоплат!

Результат моих переговоров с местными дядьками не заставил ждать долго. Уже следующим днем с утра пораньше в дверь начали колотиться вчерашние дядьки... один за другим... с шевелящимися мешками в руках. Первому я обрадовалась — кинулась развязывать "живой" мешок, из которого выскочил черный драный кот с подбитым глазом и с шипеньем дунул в огород, только его и видели. Принесший его парень, такой же черный и неумытый и тоже с подбитым глазом, был очень похож на принесенного им кота. Я подумала, что, похоже, он своего кота мне принес, чтобы обменять на обещанную бутылку. Я попыталась объяснить, что кот вовсе не мой, мой — белый и красивый, городской кот, а этот что?.. На что парень открыл рот, дыхнул на меня вчерашним перегаром и спросил: "А ты уверена, что не твой, то есть?.. Может, просто не узнала его, позабыла?.. А что он не белый — так сколько времени прошло-то?.. Перепачкался он, по лесу блуждая, отмоется... верно слово говорю — отмоется!.. Особенно если его с хлоркой постирать — отмоется. Верь мне — я не вру!" — убеждал он меня. Я поняла, что без бутылки его не выпроводить. Вручив ему обещанное, которое он тут же спрятал за пазуху, и закрывая за ним дверь, я увидела, что по тропинке к нашему крылечку, прихрамывая и покачиваясь,

движется еще одна фигура с мешком, который шевелился... и не только шевелился, но еще и издавал звуки, которых слушать не хотелось по причине их истошности. Сердце мое подпрыгнуло от радости — это Снежок там, в мешке!.. А кричит так — одичал за время скитаний по лесу без хозяйской ласки и внимания, бедненький...

Пришедшая личность, покачиваясь, протянула мне мешок и сказала: "На, хозяйка, забирай кота, давай бутылку, как обещала!..". И икнула...

Я кинулась развязывать мешок, приговаривая: "Снеженька, миленький, нагулялся, паршивец мой!..". Мешок прыгал под моими руками и кричал уже охрипшим голосом. Едва мне удалось распутать веревку, которой была замотана горловина мешка, как из него с истошным криком вырвался полосатый облезлый кот, похожий на камышового... Впрочем, рассмотреть его мне не удалось — котяра скрылся в том же направлении, что и первый... Сиганул в приоткрытую дверь, выскочил с ревом в огород и исчез, будто его и не было. Пришлось и этому "несуну" отдать бутылку за принесенного кота. Хоть и не мой кот был в мешке.

В течение дня таких "несунов" у меня побывало несколько. И все принесенные ими коты (была даже одна кошка, и два кота в одном мешке, как было сказано пришедшим — на выбор) покидали наш дом одним и тем же путем, как будто все было отрепетировано ими заранее. Вечером, пересчитав остатки привезенной "стеклянной валюты" и поняв, что теперь всю работу по посадкам придется делать самим, без помощи деревенской силы, которую оплачивать было уже нечем, я сказала, что все! Хватит!.. Завтра ни одному с мешком, с котом или без кота — ничего больше не дам!.. Жив Снежок если — сам объявится, нет — так что поделаешь?..

Назавтра явились еще трое с котами и жаждой, плескавшейся в мутных глазах. Я пожалела их — налила по рюмочке и выпроводила, не расплатившись вожделенной ими бутылкой. Коты бежали из дома в огород же. Тропка, которая была оставлена ими от двери до ограды, была явной и использовалась нами впоследствии как самый короткий путь в том направлении. Далее их передвижения отслежены не были.

О Снежке нашем мы теперь вспоминали в прошедшем времени. Раздумывая, заводить нового котика или подождать, пока белоснежный наш позабудется окончательно...

Тяжкий для городского жителя с непривычки деревенский труд отвлек нас от грустных мыслей, и мы не заметили, как пришла пора возвращаться в город.

Через три недели мы вернулись, чтобы провести в деревне все лето.

Я с ужасом думала, как бы снова не началась эпидемия по приносу к нам в дом на опознание чужих деревенских котов с непременной расплатой стеклянной валютой с моей стороны. Но, слава Богу, местные жители уже позабыли про это, а я больше не плакалась им о потере.

Домик наш стоял в отдалении от основной улочки, скорее, он напоминал хуторок, и дорога, ведущая из-за пригорка в деревню, была как на ладошке из наших окон. Однажды вдалеке среди зелени я вдруг увидела белое пятнышко. Испугавшись, что сбежал один из калифорнийских наших кроликов, сходила и пересчитала их. Все на месте... "А может, это Снежок был?" — подумала я, снова взглянув в окошко, но белое пятнышко среди зелени уж исчезло. Померещилось, решила я... Но теперь часто всматривалась вдаль, в надежде вновь увидеть белое на зеленом.

Как-то соседка наша, тетушка местная, зашла и рассказала, что какой-то белый кот гуляет вокруг деревни. "Не нашенский он, точно, не нашенский — у нас туточки все полосатые да черные коты водются... — приговаривала она. — Верно, ваш будет... которого ты по весне потеряла"...

Я не смела поверить ее рассказу, но спустя некоторое время сама вновь увидела что-то белое на дороге, уже ближе к дому... Может, вернется Снежок? — закралась бредовая мысль... Да какое вернется, куда? Он же в домето в этом ни разу не был, по пути сюда потерялся... Не знает он нашего дома.

Мы стали выносить к тому месту, где появлялось белое пятнышко, блюдечко с молоком и оставлять чуть в сторонке от дороги. На следующий день блюдце было пустым, но кота своего так и не видели. Да и он ли выпивал молочко?..

Как-то раз я, возвращаясь по этой дороге домой, краем глаза заметила существо почти белого цвета, сидящее рядом с блюдечком в высокой траве. Существо отдаленно напоминало нашего Снежка, но только отдаленно. Оно сидело тихо, спрятавшись за высокими колосьями, и смотрело на меня выцветшими глазами. Уши почему-то были свернуты в трубочку. Грязно-серого цвета, это только издали он казался белым... на фоне зеленой травы... Я позвала его по имени... Существо сжалось от звука моего голоса, но не двинулось с места, не убежало, а рассматривало меня внимательно, прислушиваясь. Было видно, что оно меня пытается вспомнить, но это плохо ему удается. Одичал наш Снежок совсем, подумала я, но жив ведь!.. Жив!

Я наклонилась к нему и протянула руку, чтобы погладить... но он отпрыгнул в сторону и зашипел. Не вспомнил — расстроилась я. Нет, так я его не отловлю... Надо накинуть что-то на него. Я сняла ветровку и на-

бросила на кота, потом сама рухнула на него сверху... только бы не раздавить его — промелькнула мысль... Не раздавила. Но была покусана. Кто бы мог подумать, что наше домашнее чудо, которое землю-то только из окна видело, выучилось кусаться...

Домашние мои, увидев, что я возвращаюсь с шевелящимся свертком в руках, заявили сразу, смеясь: "Если кота опять принесла — бутылки не проси! Не дадим!".

Я закинула вырывающийся сверток, не разворачивая, в соседнюю с кухней комнату и быстро закрыла дверь. В стеклянное маленькое окошко мы увидели, как кот начал носиться по комнате, снося все на своем пути. Снежок это был, Снежок... только совершенно одичавший и тощий. Я вынула из холодильника рыбешку, приоткрыла дверь и бросила ее в комнату. Снежок заглотнул рыбку целиком и сразу. И сразу успокоился. Через некоторое время мы увидели, что он мирно спит на кровати.

Только спустя несколько часов мы осмелились зайти в комнату. Котик наш измученный даже не проснулся. Знакомиться вновь начали только утром следующего дня. Обоюдная наша недоверчивость исчезла не сразу, но исчезла. Кот не выходил из дому несколько дней, такое впечатление, что вновь боялся потеряться. Постепенно стал приходить в себя. Дал себя искупать, отмылся до белого цвета. Уши, видимо, приморо женные во время скитаний еще в мартовские ночи, зажили. Хвост, некогда пушистый и красивый, а теперь тяжелый и спутанный от репейников, который долго пытались привести в порядок, в конце концов, был пострижен и начал обрастать заново. Вот только глаза его, выцветшие и ставшие какими-то прозрачными, такими и остались на всю жизнь, но приобрели со временем прежнее выражение достоинства и пренебрежения ко всему происходящему вокруг.

К середине лета Снежок совершенно оправился, привык к нам заново и начал потихоньку осваивать деревенское пространство. Даже не каждую ночь возвращался домой. Мы перестали волноваться о нем, зная, что кошек в деревне не обижают, а он теперь за себя постоять может, в этом мы уверены были.

Как-то, к осени ближе, соседка сообщила, что ее кошка Машка, полосатая мышеловка, родила беленьких котяток, и все — с черными хвостиками и пятнышком на голове между ушками. В другой деревне — тоже появились такие же деточки...

В следующем году, когда мы вновь приехали на лето в деревню, обнаружилось, что в округе появилась новая порода кошек, белых и пушистых

с черными хвостами. Деревенские были довольны ими — и мышей ловят, и телевизор по вечерам с хозяевами вместе смотрят... только вот маркие они для деревенской жизни — грязь на них видна очень... А вы слышали, чтобы кошек в деревнях мыл кто-то когда-то? Я — не слышала.

Снежок наш, возвратившись с нами в город, полностью вернулся и к укладу своей прежней городской жизни — на землю смотрел только с подоконника первого этажа, даже не пытаясь спрыгнуть вниз. Только иногда, когда сидел и по-прежнему о чем-то думал, казалось мне, что вспоминает он свои деревенские весенне-летние, приключения... и ждет с нетерпением очередного лета.

Дюссельдорф



Ольга КИСЕЛЕВА

Две стороны окна

Ее всегда называли Белкой, вначале за круглые щеки и два верхних зуба, немного выступающих вперед, а позже — за бег в колесе. Колесо — множество пожилых родственников и родственниц, которые жить без нее не могли, полное отсутствие в жизни даже намека на мужчину, двенадцатилетний Лешка — ее радость и бесконечное вложение денег, две, иногда три работы, постоянное отсутствие денег и множество побочных спиц, которые то появлялись, то пропадали, а на их место приходили новые. Она крутилась целый день, иногда умудряясь хорошо выглядеть и быть веселой, а иногда не выдерживая и останавливаясь на отдых у телевизора.

Утро Белки начиналось в шесть, она готовила завтрак, красилась, будила, кормила и собирала Лешку, потом они шли в школу, она в первый класс, а он — в шестой. После уроков она бежала по магазинам, домой к двум ученикам на частные уроки, вечером убирала, стирала и готовила обед дня на два минимум, хотя на следующий день опять что-то готовила. В выходные они с Лешкой ехали к ее маме, тете Даше, дедушке Севе или тете Ксюше, в свободное время она шила и вязала, и временами ее подруга и одноклассница Лорка продавала ее "произведения" на толчке.

Так продолжалось уже много лет, порой Белке казалось, что всю жизнь. Она постоянно бежала, спешила, даже во сне ей снилось, как она бежит на уроки и опаздывает, потому что в магазине давали тушенку, была сумасшедшая очередь, и она почти час в ней простояла. Утром просыпалась и начинала бег наяву. Больше всего ей хотелось несколько дней просидеть дома, не выходя из квартиры, даже мусор не выносить и чтобы дома никого не было, ни с кем не разговаривать и чтобы было тихо и... тихо. Больше она ничего придумать не могла, а ведь раньше была отъявленной фантазеркой и выдумщицей. Наверное, мысли и фантазии тоже устают и стареют, становясь скучными и ленивыми, а потом съеживаются и умирают, как-то с удивлением подумала Белка.

Когда-то очень давно она окончила педагогический институт, вышла замуж и родила Лешку. Начала работать в школе и, наверное, всегда будет помнить своих первых первоклашек. Потом был развод, болезнь мамы и девяностые трудные годы. Муж ей оставил квартиру, а она за это подписала отказ от алиментов. Вот тогда и появилось колесо, в котором она бежит и будет бежать еще долгие годы.

Она очень устала усталостью, которую не вылечить отпуском, ведь во

время отпуска надо работать у мамы на даче, делать ремонт в своей и тетиной квартире, а еще закрутки — она закручивала и заготавливала практически все что можно, а потом кормила своими заготовками всю родню. Белка уже давно ничего не делала лично для себя — даже красилась, лишь бы никто не догадался, как она устала.

Лешка — это вообще отдельная история. Белка любила его больше всего на свете, вернее, она просто не представляла, как бы жила, не роди она двенадцать лет назад этого щуплого, немного сутулого, очень общительного и болезненного ребенка. Когда он родился, то совсем не был ни щуплым, ни сутулым, а вот общительность и болезненность были всегда. Вначале он кричал, хныкал и агукал, а потом начал говорить — неожиданно четко и целыми предложениями, все смеялись — сразу видно: сын учительницы. В детстве переболел всеми инфекционными заболеваниями, какие были в детском саду и младших классах, в пять лет сломал руку, в восемь подрался и разбил голову, хотя подрался — громко сказано, обычно его просто били. Били, начиная с первых классов, когда Белка с удивлением узнала, что ее сын не только умница и отличник, но еще хвастун и ябеда. Со временем он перерос ябедничество и стал почти лидером класса, но тут же заболел желтухой, уж лучше бы его опять побили, решила Белка. За время Лешкиной болезни Белка сбросила шесть килограмм из своих пятидесяти пяти и продала все золото, что было у нее и мамы. Уже два года как Лешка на диете, а Белка время от времени с тревогой всматривается в цвет его лица и ушей.

Она никогда и никому не завидовала, всегда была оптимисткой, или пыталась быть такой, но в последнее время начала завидовать. Предмет ее зависти свидетельствовал о крайней степени ее усталости, как изысканно сказали бы лет сто назад. Теперь же она просто подумала, что у нее от усталости едет крыша. Она завидовала своей соседке с первого этажа. Соседские окна выходили к подъезду, мимо них Белка пробегала минимум дважды в день и каждый раз видела в окне женщину — свою ровесницу, ухоженную, холеную, неторопливую блондинку со спокойной улыбкой. Они кивали, иногда улыбались друг другу, а если окно было открыто, перекидывались незначительными фразами о погоде и ценах на рынке, но никогда не встречались при других обстоятельствах.

Тетя Шура, которая все про всех знала и иногда по вечерам оставалась посидеть с Лешкой, пока Белка ходила к ученикам, рассказала про женщину в окне. Она рассказала столько, что Алевтина, так звали соседку, очень бы удивилась осведомленности соседей. Алевтина — инвалид, уже

восемь лет она не встает с инвалидного кресла, с тех пор как родила дочку Аню. После родов с ней что-то случилось, какая-то травма или осложнение — ноги отнялись, и это неизлечимо. У нее есть муж, он плавает, еще молодая мама, дочка, трехкомнатная квартира, машина, две кошки и аквариум с рыбками.

Вначале Белка только жалела и сочувствовала бедной женщине, и из-за этого еще старательней улыбалась, видя ее в окне, но потом постепенно очень глупые, неуместные и на редкость навязчивые мысли начали лезть к ней в голову. Первая была такой: "Интересно, раз муж не ушел, значит, он действительно ее любит, или это из-за того, что он плавает и всего три-четыре месяца в году бывает дома, и ему все равно?". Потом, после жутко утомительного дня и известия об очередной задержке зарплаты: "У нее есть деньги, она не ждет эту ерундовую зарплату, да и на что ей деньги? Она ведь никуда не ходит". А дальше еще хуже: "За нее мама даже кушать готовит, а она с утра накрасилась и села у телевизора или у окна, потом с Аней поиграла, уроки сделала — так день и прошел. Да, она красится, хоть никуда и не выходит, а мне целый день мотаться приходится, губы нарисовать некогда".

Вот такие мысли постепенно и незаметно заполняли ее голову, а она даже не пыталась с ними бороться или хотя бы логично обдумать. Ведь получается, она завидует несчастной женщине, калеке, которая не может даже сама себя обслуживать, это ужасно и как-то жутковато, но Белка не задумывалась, откуда и почему у нее появились такие мысли.

Прошло два месяца. Глупые завистливые мысли не исчезли, и Белка наконец-то обратила на них внимание. Она решила проанализировать, чему именно она завидует, ведь деньги, большая квартира, мужчина и заботливая мама есть у многих, а она завидует именно этой женщине. Да еще зависть какая-то странная, можно сказать, навязчивая, по десять раз на день она вспоминает об Алевтине и ее жизни. Долго Белка думала, что же есть у Алевтины такого, чего нет ни у кого из ее знакомых. И, наконец, поняла, она завидует инвалидности Алевтины, вернее, ее следствию: тому, что она сидит дома, никуда не спешит, дни похожи друг на друга, жизнь тихая и спокойная. Вот он, предмет зависти, — тишина, бездействие, однообразие.

Это ж как надо устать, чтобы такому позавидовать, грустно усмехнулась Белка. Она поняла, что надо как-то менять свою жизнь, а то скоро и не до такого додумается. Но как менять? Скоро конец учебного года, много контрольных и диктантов, у Лешки экзамены, и нет летней обуви,

да он еще и растет, а значит, одежды тоже нет. У мамы давление, и сантехника течет... Короче, не до перемен, но такие проблемы будут всегда, както надо с этим мириться, и все равно надо что-то менять.

Перемены Белка отложила до летних каникул: у нее будет отпуск, у Лешки и ее учеников будут каникулы, вот тогда она отдохнет. Белка дала себе честное слово, что отдохнет, даже постарается увильнуть от поездки на мамину дачу. Отправит туда Лешку, а сама закроется в квартире и будет слушать тишину, даже телевизор не будет смотреть, телефон отключит и ничего не будет делать. Ничего, совсем ничего. Только бы лета дождаться, а до этого постараться все срочные дела переделать и спокойно отдыхать. Ничего, у нее еще два месяца, она все сделает.

* * *

Сколько помнила себя Алевтина, она всегда в кого-то влюблялась или кем-то восхищалась, подражая ей или ему. Первая любовь — ей было тогда три-четыре года — сосед дядя Женя, он приносил ей конфеты и разрешал играть со своей собакой, всегда улыбался и называл ее Дюймовочкой. В первом классе его сменил старшеклассник Саша, ему было пятнадцать, он занимался в театральном кружке и был главным героем всех утренников первоклашек, у него была открытая улыбка, голубые глаза, и все в один голос говорили, что он красивый мальчик, да он и сам так думал. Конечно, это были любови платонические и безответные. Потом появился Олег, одноклассник, очень умный и воспитанный, до пятого класса носил портфель и делал математику, а потом бросил ее, переехав в другой город. Алечка поплакала, получила несколько двоек по математике и влюбилась в другого одноклассника, потом в мальчика из соседнего двора, потом в его старшего брата и, наконец, в своего будущего мужа. В то же время она подражала Золушке, Алисе из Страны чудес, Анжелике де Пейрак, восхищалась Мерилин Монро и Софией Ротару.

Алевтина выросла, превратилась в очень симпатичную и непрактичную девушку. Окончила школу, провалила вступительные экзамены в институт, познакомилась с Димой и вышла за него замуж.

Вскоре он ушел в рейс, а она осталась дома, работать не хотела, вернее, хотела, но потом когда-нибудь, а не сейчас. Ходила по магазинам, в гости, читала романы и ждала Диму. Через два года она все же поступила на заочное отделение университета, по специальности "библиотечный работник", кое-как окончила его и даже год проработала в детской библиотеке, а потом забеременела.

Алевтина всегда мечтала о семье с тремя, а лучше четырьмя детьми. Долго не могла забеременеть, но наконец-то это произошло. Они с мужем были счастливы, это только начало — улыбалась Алевтина, она собиралась исполнить свою мечту о троих детях. Эта мечта каким-то странным образом сочеталась у Алечки с абсолютной непрактичностью и неумением вести домашнее хозяйство.

Ее семейную жизнь спасало только то, что ее мама жила с ними и считала своим долгом готовить, покупать продукты, стирать и убирать. После нескольких лет Алечкиного замужества мама попыталась научить ее готовить и распоряжаться деньгами, хотя это надо было сделать намного раньше. Алечка очень старалась, особенно когда забеременела, она научилась даже делать покупки и варить пюре, но дальше этого дело не пошло, она была абсолютно непрактичной. Алечка ушла в декрет, вышила для будущего ребенка две наволочки и покрывальце, уж что-что, а вышивать она умела и любила.

Беременность прошла прекрасно, врачи хором пели ей дифирамбы как на редкость красивой, а главное, здоровой женщине с прекрасно протекающей беременностью. Вот только роды испортили всю красоту, здоровье, а заодно и жизнь. Во время родов в пояснице ущемился нерв, отнялись ноги, но это выяснилось позже, а вначале было сильное кровотечение у нее и асфиксия у ребенка.

Мама и Дима три дня просидели во дворе роддома, врачи прятали глаза и молчали. Все обошлось, они выжили, Анечка росла вполне здоровой и благополучной девочкой, а вот Алечке не повезло — полный паралич ног и множество осложнений остались у нее навсегда.

Муж плакал, пил, уходил, возвращался, потом ушел в рейс на год, а когда вернулся, сказал, что любит ее и дочку, не бросит их, и все у них наладится. Она поверила, и все действительно наладилось.

Жили они дружно, мама во всем помогала, да и Анечка росла очень послушной и умной девочкой, всегда старалась помочь маме и бабушке. Дима был хорошим мужем, заботливым и надежным, они почти не ссорились, она любила мужа и была благодарна ему.

Вот только иногда до Алечки доходили слухи то про одну его любовницу, то про другую. Мир не без добрых людей, с улыбкой повторяла Алечка старую истину, и старательно делала вид, что ничего не знает, а ее маме хватало ума и такта делать то же самое.

Алевтина всегда была домоседкой, поэтому вынужденное затворничество ее почти не беспокоило вначале, только жалела, что не могла гулять

с дочкой, что не она возила по двору роскошную импортную нежно-розовую Анину коляску. Потом не она вела Анечку в детский сад, на утренники, на первый звонок в школу и в цирк. Не она покупала ей школьную форму, не она ходила на родительские собрания. Каждое "не она", каждое пропущенное событие приносило боль и обиду. Обида росла и множилась, наваливаясь на нее. Алевтине стало бы легче, если бы она могла обижаться и злиться на кого-то или на что-то конкретное, а ей даже некого было обвинить в своей болезни. Врачи сделали все что могли, родные всегда заботились — виновных нет.

Каждый год, каждый день был похож на предыдущий, и в будущем все будет так же. Через год, даже через десять лет она так же будет сидеть у телевизора или у окна и считать, что еще сделала не она, что не она видела, куда не она пошла. Теперь она жалела, что пока могла, почти никуда не ходила, ей всегда было проще и спокойней лежать на диване с книжкой или сидеть на скамеечке в парке с очередным поклонником, даже профессию она выбрала тихую и спокойную — библиотекарь. Что может быть спокойней? Хотя это и считается "работой с людьми". Она столько в жизни пропустила, и не только из-за болезни, а еще раньше, из-за своего характера. Она слишком любила тишину и спокойствие.

Это любовь к тишине лишила ее многого, ограничила ее больше, чем инвалидность. Надо что-то менять, думала Алевтина, глядя в окно. На мысли о переменах ее наталкивала соседка, каждый день проходившая, вернее, пробегавшая мимо ее окон. Они здоровались, соседка ей улыбалась, кажется, она всем улыбалась, или так только казалось Алевтине. Ведь эта женщина ей очень нравилась, ей нравилось наблюдать за ее походкой, жестами, манерой говорить, иногда Алевтина видела ее четырепять раз в день. Мама рассказала, что соседка — учительница младших классов, сама воспитывает подростка-сына, и к ней никто не приходит, ей никто не помогает.

Алевтина смотрела вслед удаляющейся учительнице и пыталась представить: вот сейчас она завернет за угол, выйдет на шумную улицу, пройдет два квартала, зайдет в школу, в свой класс. Там много детей, они разговаривают, шумят, балуются, а она утихомиривает их и начинает урок... После уроков идет в магазин или еще куда-то, и везде ее окружают люди, везде шумно, весело, и нет этой гнетущей тишины. Тишины, любимой когда-то и ненавидимой теперь.

Почему именно эта женщина привлекла ее внимание — непонятно, но иногда Алечка думала, как бы она хотела оказаться на ее месте, хоть на

день-два, она бы столько всего увидела, сказала, сделала... Надо что-то менять, оставаясь на своем месте, ведь другого места в жизни нет и не будет. Надо менять. Вот только с чего начать? Да и что она может изменить, она даже из квартиры выйти не может. Хотя нет, может, летом она попросит Диму вывезти ее во двор, там с кем-то можно познакомиться, поговорить. Да и вообще, она изменится, чем-то займется, ведь не все инвалиды часами сидят у окна, руки у нее здоровые, например, можно научиться готовить. С лета начнется новая жизнь, и лето уже скоро, всего два месяца осталось.

* * *

Первого сентября шел дождь, у Белки сломался зонтик, она промокла и на торжественной линейке была похожа на мокрую курицу. Думала, что с таким началом день не удастся, но все прошло нормально: линейка, ее родной, уже третий класс, обмен новостями и впечатлениями, потом обед в кафе с сотрудниками, по дороге домой купила торт, и весь вечер они с Лешкой его ели. Первого сентября она всегда устраивала такой праздник — ужин, состоящий только из торта и компота. Лешка рано лег спать — устал от новых эмоций и впечатлений.

Белка подошла к окну, месяц всходил молодой и какой-то игрушечный, несерьезный. Молодой месяц — на счастье в новом учебному году, подумала Белка. Присела у окна и задумалась: как тихо... Тихо на улице, в квартире, Лешка спит, а ей не хочется, ей надо подумать. Подумать про невыполненное обещание, ведь она так ничего и не изменила в своей жизни, не смогла или все же не захотела? Вот о чем надо подумать: где граница между "могла" и "хотела"?

Что надо перебороть, сколько пережить, чтобы сказать — "не смогла". Хотя всегда найдется кто-то, кто скажет: неправда, ты просто не захотела, в крайнем случае, это услужливо сделает твой собственный внутренний голос. Как понять, прав он или нет? Вот, например, каникулы начались, но это еще не отпуск — надо написать отчеты, устроить детский лагерь для своего класса на июнь и еще много мелочей очень важных в тот момент и напрочь забытых через две недели. Потом был отпуск, но она не смогла не поехать на дачу, а там красила, убирала и копалась в огороде, потом ремонт, потом... было что-то еще — очень важное и неотложное.

Всегда будут какие-то дела, проблемы, заботы — они есть у всех, но ведь люди как-то умудряются отдыхать, радоваться жизни, а она не может, у нее постоянно нет времени. Даже сейчас она не может сколько хо-

чется сидеть у окна, ведь утром рано вставать, она не выспится, значит, надо ложиться. Все равно она ничего не придумает, наверное, так и будет жить до самой пенсии, а может, и потом. А как было бы хорошо сидеть у окна, смотреть, как люди куда-то спешат, как тени от домов и деревьев ползут и меняются под сентябрьским солнцем, смотреть и ничего не делать, ни о чем не думать.

Опять вспомнилась соседка в окне первого этажа: интересно, ей нравится такая жизнь? Хотя что в ней может быть хорошего? Только Белка могла додуматься позавидовать ей, одернула себя женщина и начала укладываться спать. В конце концов, у нее замечательная жизнь, и она всем довольна — надо только заставить себя в это поверить. Ничего, у нее прекрасное воображение, и она вполне внушаема. Так оптимистично Белка пожелала себе спокойной ночи и закрыла глаза.

* * *

Лето прошло, вернее, проползло чередой одинаковых долгих и пустых дней. Вначале Алечка строила планы: вот завтра она попросит мужа, и он вывезет ее во двор, но на следующий день был дождь, а потом она приболела, потом у Димы не было времени, потом она не могла пропустить последнюю серию любимого сериала, но ведь всегда есть "завтра". "Завтра" — эта неизменная и такая успокаивающая отговорка.

Сегодня первое сентября — Аня пошла в школу, ее провожала бабушка, а Алевтина смотрела в окно, пока они не скрылись за углом дома. В этот раз ей было особенно больно — опять не она вела Анечку, даже не она собирала ее в школу, ведь что она может — калека, как она сама себя мысленно называла, жалея и извиняя собственную беспомощность, а мама все сделает лучше, она всегда все делает правильно и хорошо. Почему-то от этой мысли захотелось плакать...

Боль и обида на себя, на жизнь, на тех людей за окном, а иногда и на маму за ее идеальность и незаменимость делали Алечку еще беспомощней, чем раньше, теперь ей казалось, что она вообще ни на что не способна, бесполезна, а значит — никому не нужна. Тогда зачем мучить себя, окружающих, что-то менять, если можно спокойно сидеть у телевизора, не доставляя хлопот ни себе, ни родным. А так хотелось бы, чтобы что-то изменилось, чтобы что-то начало происходить с ней, а не с окружающими, чтобы она стала нужной и важной, чтобы наступило такое "завтра", которое бы все изменило. Опять размечталась, как в детстве, — упрекнула себя Алевтина и включила телевизор.

* * *

Через год в ноябре для Алечки наступило "завтра" — горькое и неожиданное, навсегда изменившее ее жизнь. Умерла мама: вечером стало плохо с сердцем, а к двенадцати — умерла. Инфаркт — сказал врач "скорой помощи".

Алечке показалось, что у нее второй раз отнялись ноги, во всяком случае, ощущение беспомощности и безысходности было такое же, как тогда в больнице, много лет назад, но тогда ее окружали любящие люди, заботившиеся о ней, а теперь она осталась одна. Дима в рейсе, где-то у берегов Южной Америки, конечно, на похороны его отпустят, может, он даже успеет прилететь, но потом, как она будет жить потом? Ведь ему надо плавать, иначе им не на что будет жить.

Дима прилетел на четвертый день, в тот же день похоронили маму. Прошло девять дней, Дима улетел, а Алечка осталась. Конечно, он сделал все, чтобы облегчить ей жизнь, — оставил денег, купил более легкую и маневренную коляску, нанял домработницу, отдал кошек знакомым и попросил соседку провожать Анечку в школу вместе со своей Дашенькой, хорошо, что они одноклассницы, но все это ничуть не успокоило Алечку, не уменьшило ее тревоги, испуга и растерянности.

Постепенно испуг и растерянность Алечки сменились горем, неделю она проплакала, а потом появилась какая-то глупая обида на себя и на маму. На себя за то, что она никогда даже мысли не допускала, что когда-то мама умрет, а на мать за то, что ничему ее не научила, не приучила к домашним делам. Оказалось, Алечка не знает самых элементарных вещей, которые знают все взрослые люди и даже не задумываются об этом. Вещей, о которых даже у мужа спрашивать стыдно, чтобы он не подумал, что она полная дура. Например, как заполнять квитанции об оплате квартиры, сколько стоит молоко и где лучше его покупать: на рынке или в магазине, сколько денег давать домработнице, когда та идет на базар, как жарить яичницу Анечке на завтрак, в какой день платить уборщице за уборку в подъезде. Анина школа — это вообще один большой вопрос. Миллион вопросов и проблем, и так каждый день, к тому же ей надо учиться обслуживать саму себя и готовить кушать, ведь домработница приходит через день, да и не может она позволить постороннему человеку стирать ее белье, это слишком унизительно.

Алечка плакала по пять раз в день от обиды и беспомощности, но постепенно, день ото дня училась: готовить завтрак и собирать Анечку в школу, вести учет расходов, стирать. Свободного времени почти не

оставалось, оказалось, что дома куча дел, которые она вполне может делать, Алечка похудела, подстриглась, изменилась внешне, а главное — внутренне.

Она почувствовала свою нужность, стала уверенней в себе, собранней и взрослее, странно говорить о женщине за тридцать, что она повзрослела, но это именно так — Алечка повзрослела. Постепенно она научилась готовить, и ей это так понравилось, что она частично отказалась от услуг домработницы — та теперь только продукты покупала, делала уборку и иногда помогала стирать.

Весна пришла еще в феврале, дни стояли теплые, солнечные и такие манящие, что Алечка решилась выйти на улицу, впервые за девять лет. Сосед помог ей съехать по пандусу, и она оказалась во дворе. Первые десять минут Алечка не могла поверить, что это произошло в действительности, — сколько раз она представляла себе, как опять выйдет из квартиры, и теперь ей казалось, что это очередная ее фантазия. Вспомнила, как тысячу раз проходила по этому двору, и заплакала, понемногу эмоции утихли, она посидела еще минут десять и вернулась домой, на следующий день она опять выехала во двор.

Каждый теплый день Алечка старалась хоть полчаса побыть на улице, даже научилась сама спускаться и подниматься по пандусу. Появились знакомые, новые старые знакомые, как, смеясь, говорила Алечка. Ведь ей пришлось заново познакомиться с жильцами своего дома, за столько лет жизнь двора и люди очень изменились, а теперь и Алечка изменилась. Постепенно незаметно для себя она изменилась, и хотя ей по-прежнему бывало очень тяжело, и она безумно скучала по маме, но ей нравились перемены, произошедшие с ней.

* * *

Осенью Белке приснился очень странный сон, сны ей, вообще-то, снились редко, да и то обычно это были не сны, а какие-то обрывки произошедших накануне событий, которые она к утру забывала.

В этот раз Белка очень хорошо запомнила сон, он был четким и каким-то тревожно-реальным. Приснилась комната, большая и светлая, а в углу на каком-то грязном черном тряпье сидит ее покойная бабушка. Перебирает цветные камешки и повторяет: "Ты все бежишь, бежишь, так и потеряться недолго, но ничего, я тебе помогу. Ты отдохнешь, может, что найдешь, а может, тебя найдут...". Бабушка подняла глаза на Белку, улыбнулась и бросила на пол два камешка, один раскололся на три части, а вто-

рой покатился и остановился в центре комнаты. Белка еще хотела что-то спросить, но бабушки в углу уже не было.

Белка проснулась, в душу заползала какая-то тревога или предчувствие, хотя интуиция и предчувствие у Белки напрочь отсутствовали, но тут она забеспокоилась, сама не понимая почему. Ну, подумаешь — сон, даже не кошмар, а просто странный сон. Белка встала, посмотрела в окно, как в детстве учила ее бабушка, сказала "куда ночь — туда и сон" и снова легла.

Про сон она забыла еще утром, а вспомнила о нем через день, когда отходила от наркоза в травматологии первой горбольницы. Ее сбила машина, почти у собственного дома. Белка не видела, откуда появилась эта несчастная "Таврия", еще и на большой скорости. Она так испугалась, что момент аварии совсем забыла, помнила только, как лежала на асфальте, перед глазами было очень много ног и колеса "Таврии". "Ты б еще под "Запорожец" угодила, — мысленно съязвила Белка, — не могла попасть под что-то приличное, а то — "Таврия". С этой нелепой мыслью она отключилась, а очнулась вечером в больничной палате, с гипсом на правом бедре.

Как там бабушка сказала: "Ты отдохнешь, может, что найдешь, а может, тебя найдут". Почему-то слова из сна вспомнились очень четко, вот только Белка не очень их поняла, она, конечно, отдохнет, а вот кто ее будет искать, и что она будет искать — непонятно. Это всего лишь сон, напомнила себе Белка и постаралась больше о нем не думать.

Теперь она тишины наслушается, отоспится, отлежится, телевизора насмотрится, а может, ей это надоест уже через неделю, ну а пока ей некуда спешить. Она просто не может спешить, как бы ей не хотелось. Перелом сложный, врачи напугали, что всю жизнь хромать будет, если не будет соблюдать режим, то есть лежать.

Вначале Белка очень волновалась о Лешке: кто ему кушать будет готовить, стирать, да и вообще, мало ли что ему может понадобиться, а она не сможет помочь, сделать... Переживала о школе, ведь только ноябрь — начало второй четверти, а она раньше конца третьей на работу не выйдет, и дети ее забудут, придется снова завоевывать доверие, устанавливать дисциплину, они ведь только начали к ней привыкать, иногда еще воспитательницей называют, что с них взять — первоклашки. Думала об учениках, которых она, скорей всего, потеряет, — кто же будет ждать репетитора полгода? Еще о многих важных и не очень проблемах, которые она привыкла постоянно решать. И не знала, что с ними делать теперь. Все эти проблемы и вопросы постоянно крутились в голове, а самой навязчивой среди них была мысль о деньгах. Их и раньше постоянно не хватало, а те-

перь — тем более. Белка с ужасом думала, на что они будут жить, на что она будет лечиться, ведь ей надо как можно быстрее поправиться, она не имеет права долго болеть. Эти мысли не давали покоя, Белка плохо спала, стала рассеянной, нервной и все время опасалась будущего.

Через месяц Белка немного успокоилась — с голоду они не умерли, к ним переехала Белкина мама и кормление Лешки взяла в свои руки, водитель "Таврии" оплатил лечение, а через пару недель Белкины ученики уже приходили к ней домой, ей даже понравилось — не надо никуда бегать по вечерам, а оплата та же. Со школой в ее отсутствие тоже ничего не случилось, во всяком случае, так уверяли коллеги, приходившие ее навещать, а однажды в воскресенье к ним в квартиру ввалился весь первый "Д" класс, с шариками и цветами.

Вечера у нее были заняты — занималась с учениками, а иногда — с Лешкой, разговаривала с мамой, все вместе смотрели телевизор. Днем все расходились по своим делам, она оставалась одна, слушала тишину и думала, чаще всего она думала о своей прошлой жизни, той, которая была до аварии. Белка называла ее "прошлой", потому что теперь она точно знала, что будет жить по-другому, даже знала как: медленнее, спокойнее, стараясь видеть и запоминать все мелочи и подробности.

Белка вспоминала свою жизнь и удивлялась — у нее не было ни одного воспоминания за последние десять лет, когда бы она ни о чем не беспокоилась, никуда не спешила, и что удивительно: она никак не могла вспомнить, о чем беспокоилась и куда спешила в тот момент. Ей просто запомнились ощущения спешки и тревоги. Она пропустила столько чудесных мелочей, например, свадьбу лучшей подруги, Лешкины утренники, прошлое и позапрошлое лето и еще что-то очень важное, чего она не помнит. Ничего, она вспомнит и будет все старательно запоминать, а то внукам рассказать будет не о чем, не станут же они слушать ее "отчет" о работе и ценах в тысяча девятьсот девяносто каком-то году.

Бедро срасталось медленно, только в феврале ей разрешили ходить на костылях, и в марте наконец-то она смогла выйти во двор. Вскоре Белка научилась довольно шустро ходить на костылях, выходила во двор почти каждый день, сидела на скамейке под навесом и там познакомилась с Алевтиной.

* * *

Вначале Белка ее не узнала, Алевтина очень изменилась — похудела, подстриглась и стала какой-то строгой, да, именно строгой, это первое, что

пришло ей в голову, когда она увидела Алевтину. Оказалось, что у Алевтины в ноябре прошлого года, примерно тогда, когда Белка попала под машину, умерла мама.

Вначале женщины почти не разговаривали, просто сидели на скамейке и иногда перекидывались ничего не значащими фразами. На пятую или шестую встречу они разговорились, и оказалось, что у них много общих тем и интересов. Алечка рассказала о своей жизни, а Белка о своей, они о многом говорили, вот только ни одна из них не упомянула о своей давней зависти к другой, и не упомянет. Ни за что, — решила Белка. Может быть, когда-то потом, когда все это станет далеким и почти забытым, — подумала Алевтина.



Илья РЕЙДЕРМАН

"Поет невидимая птица..."

От редакции. Илье Рейдерману исполняется 70 лет. Он — из молодых шестидесятников, читавших Цветаеву и Ахматову в самиздате, встречает весьма серьезный юбилей с душой, полной воспоминаний об учителях, в размышлениях о том, нужны ли они нынешним молодым...

Поэт, педагог, культуролог, Илья интересен и поучителен. Публикуем его воспоминания о замечательных людях и стихи, написанные совсем недавно.

Встреча с Ахматовой

С Анной Андреевной Ахматовой я встречался всего один раз. Было это незадолго до ее смерти, в 1963 или 1964 году. В памяти моей не удерживаются даты. Я был студентом Пермского университета, давно уже писал стихи, и был у меня учитель, Андрей Сергеев, с которым я уже несколько лет переписывался и встречался. Поощряя мое стихописательство, он писал: "Болезнь идет нормально". И я понимал, что еще многим придется переболеть, прежде чем я обрету свой голос. Если быть поэтом — это судьба, то у каждого она сбывается по-своему, и я своим голосом заговорил, как мне кажется, довольно поздно, может быть, только на старости лет. А тогда я бредил всеми поэтами, которых открывал для себя. Прежде чем пришла пора "пастерначить" и "мандельштамить", — я был ошеломлен поэзией Марины Цветаевой.

Помнится, мы сидели в библиотеке и переписывали от руки под копирку стихи из ранней книги Марины, случайно уцелевшей в фондах. Среди переписчиков была девушка, в которую я был влюблен. "Муки любви" (разумеется, "несчастной") и стихи Марины образовали гремучую смесь, которая и взрывалась в моих стихах. Сергеев, прочитав их, при встрече мне сказал: пора! И дав мне номер телефона, велел позвонить, чтобы встретиться с Анной Андреевной.

Это был телефон Нины Леонтьевны Шенгели. Мне было велено прийти к определенному часу. Говорила ли со мной по телефону сама Анна Андреевна или Нина Леонтьевна — не помню. С Ниной Леонтьевной я потом подружился, и она мне сказала, что в тот день я был шестой или седьмой из читавших стихи, и мои стихи были лучшими.

Комната. В ней немолодая полная женщина. Первое впечатление: ба-

рыня! Госпожа! Императрица! Величественные жесты, неторопливая речь, голос густой, низкий. Она была не одна — с ней беседовала перед моим приходом женщина, как потом выяснилось, писательница Галя Корнилова.

Мое появление прервало беседу. Мне было велено читать. И я прочитал безумно страстные, горячие (если их подержать в ладонях — обожгут!) любовные стихи, совершенно цветаевские. Я не подражал Марине — я был Цветаевой, пусть и в брюках и в другой эпохе... Как я теперь понимаю, жутким нахальством было читать стихи о любви (кому? Ахматовой?), и к тому же, в цветаевском духе... Но стихи были настоящие. К сожалению, они у меня не сохранились — может быть, их сохранила та, которой они были посвящены...

Когда я их писал — я впервые почувствовал себя поэтом. Впрочем, я их не писал. Я их выборматывал, бродя всю ночь до утра по улицам города. Я был готов ко всему, бредил самоубийством, в моем сознании с грохотом рушилась вся обычная жизнь, и на месте ее возникали пустоты. Эти пустоты я и пытался заполнить стихами. Потом я понял, что стихи спасли мне жизнь, я выжил благодаря им.

Повисла пауза. Потом Ахматова сказала мне слова, которые я стеснялся цитировать, — и именно поэтому до сих пор не брался описывать эту встречу с ней. Она сказала: "Мне вас нечему учить!". Что еще было при этом сказано — точно вспомнить не могу, в голове моей зашумело. Всю жизнь я истолковывал сказанное в том смысле, что "вы все умеете" (кажется, нечто подобное тоже было произнесено), но теперь мне кажется, что можно истолковать и иначе: "Мне, Ахматовой, вас учить нечему — поскольку вас уже учит Цветаева".

Во всяком случае — сказанное было истолковано всеми как похвала. Анна Андреевна о чем-то меня расспрашивала, среди вопросов был и такой: а на каком языке вы читаете английских поэтов? До меня шел разговор об английских поэтах-романтиках и при мне он продолжился. Увы, я ничего путного сказать не мог — кроме того, что читаю Байрона и Шелли только по-русски. Ахматова заметила: "Жаль! В переводах все теряется. Поэтов нужно читать на их родном языке". Мне стало стыдно. Я явно не дотягивал до какого-то уровня, без которого нет равенства в общении.

Я молча прислушивался к разговору Анны Андреевны с Галей. Но Анна Андреевна давала понять, что адресует свои слова и мне. Заговорили о сегодняшних поэтах. "Пишущих хорошие стихи — много. А поэтов — мало", — сказала А. А. Эти слова я тоже запомнил на всю жизнь. Понял, что недостаточно написать одно или даже несколько прекрасных стихотворе-

ний. Что необходима смелость, что нужно отважиться быть поэтом, жить как поэт. О Бродском, которого А. А. в данном контексте, несомненно, имела в виду, я знал в ту пору очень мало. Все же в Перми я был оторван от ленинградско-московской литературной жизни, и листочки со стихами Бродского до меня не доходили. Андрей Сергеев, кажется, давал мне прочесть поэму "Шествие", которой я восхитился, но мало что понял. Да еще показывал открытку от Бродского, адресованную ему. Кстати — войдя в гостиную Нины Леонтьевны, я отрекомендовался, что мой учитель — Андрей Сергеев. И Анна Андреевна сказала: "Хороший у вас учитель!".

Пожалуй, мои воспоминания исчерпаны. Встреча эта, как и предполагал Андрей, была для меня очень важна. Я получил "благословение" — и оно меня согревало всю жизнь, компенсируя горечь непризнания-неиздания, позволяя, несмотря ни на что, не утрачивать веры в свое поэтическое призвание. Я знал, что я, пишущий стихи, — должен, в конце концов, превратиться в поэта, если удастся. Но может быть, самое главное — я получил "эстафетную палочку" от людей серебряного века, от Анны Андреевны да и Нины Леонтьевны, я увидел присущую им меру высочайшего человеческого достоинства, сохранившуюся вопреки всем житейским испытаниям и унижениям. Позднее то же самое открылось мне в Анастасии Ивановне Цветаевой. Я счастлив, что эти люди мне встретились, и я вовремя смог понять: вот "планка" поэтического, этического, человеческого поведения, вот уровень развития личности, — и нужно стремиться достичь этой высоты, и на это не жалко потратить всю жизнь.

3.01.04. г.

Анастасия Ивановна

Рылся вчера в архиве. Старые письма, стихи... Самое сильное ощущение: как будто жизнь моя была проявляемой в ванночке фотографией — изображение еще размыто, нечетко, и кто-то должен разглядеть, предугадать то, что возникнет. Изумляюсь: замечательные люди, мне встретившиеся, — угадали! Угадали даже то, что будет лет через тридцать-сорок... Ведь вроде бы и особых оснований у них не было, для того чтобы ободрять, пророчить будущее, предсказывать судьбу... Какое-то ясновидение! Мне слышится ликующий голос булгаковского Мастера: "Как я угадал!". Осуществилось. Говоря словами Марины, "все в душе сбылось и спелось".

Кто же лучший угадыватель? Человек с творческим отношением к миру. Музыкант, импровизируя, угадывает следующий звук, а заодно и то

целое, в котором этот звук должен занять свое единственное место. Поэт — угадывает слово, рифму, строку... Юноша — угадывает чаемую встречу, живет радостным ожиданием еще неясного, но пречувствуемого события... Всякий чуткий человек угадывает по лицу и губам промелькнувшую мысль, непроизнесенное слово... А тот, кто достиг некоторых духовных высот, угадывает в другом его душу, его дар. Он видит ясно то, что на самом деле еще смутно, он проявляет человека...

Анастасия Ивановна Цветаева — проявила меня. Укрепила мою веру в себя, дала мне увидеть идеальный образ самого себя — в момент, когда я больше всего в этом нуждался. В сущности, в этом-то и заключается чудо доброго, я бы сказал, страстного внимания, особенно характерного для Цветаевых, способных, внимая чему-то, очаровываться им, безмерно преувеличивать реальные достоинства предмета, возвышать, так сказать, поднимать над уровнем моря, уровнем обыденности... Откуда в немолодой женщине — такой почти детский восторг, такая непосредственность и свежесть восприятия? В Цветаевых — интенсивнейший цвет, свет и, брошенный на любой предмет, он преображает его, высвечивает в нем сокровенное.

Юра Коваленко, бывший гражданский летчик, мой знакомый еще по Кишиневу, писал мне бодрые письма, громко хвалил мои опусы и пророчил славное будущее. Будучи вхож в дом А. И. Ц., он показал ей мою единственную книгу "Миг", вышедшую в издательстве "Картя Молдовеняскэ" в 1975 году, и дал мой адрес. Я в ту пору пребывал в Одессе в полной безвестности, печатая на украинском языке статьи в молодежной газете и читая лекции на заводах и в общежитиях. Даже здешнее сообщество начинающих и неофициальных литераторов — не проявило ко мне интереса, да я и сам не очень рвался к новым знакомствам, пребывая во внутреннем одиночестве в том мире, который я для себя выгородил... И вдруг — открытка, обыкновенная почтовая открытка, текст которой не уместился на отведенном для этого месте и перешел на лицевую строну, окружив со всех сторон адрес, использовав каждый миллиметр свободного пространства, так что и сам адрес можно было обнаружить с трудом... Буквы все уменьшались в размерах, покуда не стали по краям совсем бисерными. Почтовые работники, должно быть, до того изумились, что даже забыли шлепнуть печатью по марке. Зато сама А. И. возле марки вывела цифирки: 8.2.80. И ниже поставила цифру 2, так сказать, нумеруя страницы. Написанное меня оглушило.

"*Дорогой Илья! Вы — замечательный поэт!* (подчеркнуто А. И. Ц.) *У меня на столе подарки знакомых поэтов — Горбовский, Парпара, Семе-*

ненко, Грубиян, Захаров, Кобрин, — но восхищение вызывает только Рейдерман. Благодарю Бога за встречу с Юрой Коваленко. И хочется мне (нрзб) Вам только стихи Чижевского — ученого, загубленного в страшные годы, меня вернувшие, — а его вернули они только, чтобы погаснуть. Теперь его поднимают все области науки, ибо был, несомненно, гений, и кроме наук простер свои руки и в живопись (имрессионист), и в Рифму и Ритм".

Далее она обещает найти стихи Чижевского, извиняясь, что недавно переехала в новую квартиру, не все еще разложено, но когда она найдет стихи Чижевского, и я их прочту, я смогу "*восхититься, мысленно пожав руку ушедшего*". Сообщает, что ей 85, что она дружна с поэтом Евгением Винокуровым, написала статью к его пятидесятилетию в журнале "Юность". "*Он прост, у него нет изысканности Вашей, но он должен Вас полюбить, ибо о себе говорит: "я — смысловик, признаю стихи только — смысловые*" Далее: "*Илья, пришлите мне из ненапечатанных, постараюсь познакомить с ними поэтические отделы "Москвы" и "Нового мира", а м. б. и других. Вам надо шире печататься. Вот мои любимые из "Мига" — Хлеб, Полжизни, Эхо света, Февраль безветрен, Когда приезжаешь, Рассекает, Танцы, Театр, (нрзб), Сны, В этом моцартовском, и (нрзб) из др. сб-ка (Юра унес) Ночной поезд. И столько еще... Порадуйтесь со мой!*". И в самом уголке этой странички я только сейчас разглядел аккуратное *А. Ц.*

На лицевой стороне открытки под цифрой 2: "*Кроме Чижевского — стихов мне Вам — прочесть — нет, ибо лучше Ваших не знаю. Но из прозы, если не читали Распутина (Вал. Григ.) — очень советую*". Спрашивает, как отношусь к Марине, какую прозу ее читал. (А я читал буквально все, что печаталось.) Говорит о "Корнях и плодах" в четвертом номере "Звезды" за 1979 г. Спрашивает, член ли я Союза, могу ли приехать в Коктебель, в Москву, какова моя семья...

Что сказать? До сих пор не могу понять меры ее восторга. Книга была не очень удачная, испорченная неизбежным компромиссом с советским издательством. Контрабандой вошедшие в нее стихи — были музыкальными, медитативными, философичными... О них вполне можно было сказать словами вождя пролетариата: "страшно далеки они от народа"... Должно быть, Анастасия Ивановна услышала в них нечто родное себе — отзвуки культуры серебряного века. Учась в Пермском университете, я рылся в богатых фондах библиотеки, выкапывал даже всякие "Чтецы-декламаторы", из которых переписывал стихи Зинаиды Гиппиус и юной Марины Цветаевой, не говоря уже о других. Мои друзья читали наизусть Гумилева, боготворили Марину — и все вместе мы переписывали от руки

чудом уцелевшую в библиотеке книгу Марины "Версты". Переписывали под копирку — чтобы каждому достался экземпляр. Я ясно ощущал свою "прописку" в поэзии серебряного века — и не слишком разделял всеобщее увлечение поэзий Евтушенко, да и Вознесенского. Если кто мне и нравился из тогдашних молодых, так только Ахмадулина. Можно сказать, что я был эстетом, — а это не слишком приветствовалось союзписательскими тюремными надзирателями. Поэтому все неоднократные старания А. И. Ц. как-то пристроить мои стихи — были обречены на неуспех. Помнится, попали они и в журнал "Москва", отделом поэзии которого, кажется, заведовал А. Парпара. Не упомню, где еще они лежали... Но одно деяние А. И. Ц. помню очень хорошо: через знакомую редакторшу, с которой она работала над рукописью книги своих воспоминаний, — она добилась включения книги неизвестного поэта, даже не члена писательского союза, в план редакционной подготовки издательства "Советский писатель"! Правда, автор именовался Ильей Рудиным — по моему журналистскому псевдониму, что пошло, по-видимому, от Юры Коваленко. Рукопись выдержала три рецензии, ни одна из них ее не убила, в числе рецензентов были Лариса Васильева и Владимир Леонович, последнему я по сей день благодарен.

Убила рукопись перестройка — из издательства пришло предложение опубликовать кратенькую выжимку из книги в составе коллективного сборничка нескольких поэтов, я согласился, но предложил именовать себя Ильей Рейдерманом... Остальное — молчание. До сих пор сомневаюсь: нужен ли России еще один "русскоязычный" поэт с неблагозвучной фамилией?

Сохранились еще две открытки, в точности похожие на первую, в одной она спрашивала, почему я не отвечаю (я был не слишком хорошо воспитанным молодым человеком), в другой извинялась, что пишет открытку, так как друзья не принесли конвертов... Были встречи с Анастасией Ивановной — и не одна. Встречалась с ней и моя жена Оля, будучи в Москве в 1982 году.

К сожалению, мемуарист из меня никудышный — нет памяти на детали, подробности, даты, слова, сказанные тогда-то и при таких-то обстоятельствах. Я воспринимаю жизнь как музыку — но разве можно музыку пересказать, от ее остаются лишь впечатления... Впечатление от личности А. И. Ц. было огромным. Маленького роста, сутулящаяся, с плохим зрением — она поражала напором своей жизненной энергии, жадным интересом к жизни. В разговорах неизбежно возникало прошлое — но чувствова-

лось, что оно так и не превратилось в воспоминание, осталось живым... Много лет спустя я понял, что это замечательный дар благодарной и благородной памяти: не давать умереть всему, что жило, сохранить его энергию, витальность, его жажду сказаться и участвовать в нашем сегодня... Это подобно памяти о людях, нами любимых, — они для нас никогда не умирают, мы продолжаем разговор с ними, мы обращаемся к ним, как бы вопрошая, как бы они отнеслись к тем или иным нашим сегодняшним событиям и поступкам. Они вросли в наше сознание, в нашу личность, в нашу душу...

Еще одно качество, обратившее мое внимание, — отсутствие какой бы то ни было рисовки, ощущения своей значительности, но при этом абсолютное, несомненное чувство собственного достоинства. Как бы уже бессознательное, естественное. Потом я понял, что это и есть особенность людей серебряного века — выросших в условиях духовной свободы. Никакие последующие унижения, тюрьмы, лагеря — не смогли этого отменить.

Помню ее квартиру на Б. Спасской, акварели Волошина на стенах. Небольшая комната, ощущение совершенно спартанского быта. Помню, как видел ее на кухне, где она варила себе какую-то кашку, с виду не очень аппетитную. Вероятно, это была овсянка. И это потом как-то по иному осмыслилось, в душу запало, совпало с моей собственной житейской тактикой: человек живет вне быта — над бытом — поверх быта... Хотя я знал, конечно, что она ограничена в своих возможностях налаживания бытовой жизни, что ей помогают друзья... Как я потом узнал, и с деньгами у нее были особые отношения... Как раз такие, при которых денег в нужный момент в кошельке может и не оказаться. Вспомнились строки позднего Пастернака — о весенних птицах: "они в неубранном бору живут, как жить должны артисты. Я тоже с них пример беру".

Она дружила с Пастернаками. Однажды я попал вместе с ней на похороны Александра Пастернака. Туда мы ехали долго в такси — вместе с какой-то сопровождавшей А. И. женщиной. Кажется, Анастасия Ивановна (тогда ли, или в другой раз?) рассказывала мне о Пастернаках — восхищало, что между людьми вообще возможны такие отношения, что люди вообще могут быть такими! У гроба произносились речи, надолго запомнилось сказанное кем-то, кажется, литературоведом Тагером, что Александр Леонидович был человеком, который очень много требовал от себя — и ничего от других. Обратно Анастасию Ивановну везла внучка Бориса Пастернака.

Ее рассказы — о себе, о Марине — я потом обнаружил в книге. Но важно, что именно вспоминалось, что невольно акцентировалось. Помню рас-

сказ о Марине, которая произнесла чью-то фамилию так, что вышел итальянец — и восторгалась красотой фамилии и стоявшего за ней человека. А потом разочаровалась — оказывается, фамилия в правильном произношении звучала совершенно прозаично... Для меня тут открылась модель творческого поведения. Нет, не зря все же Анастасия Ивановна меня приняла и поняла — я всей душой был истинный "цветаевец", я сам был готов очаровываться и восторгаться, преображая действительность так, чтобы она была "благозвучной", музыкальной, прекрасной...

В "Юности" я прочитал рассказы Анастасии Ивановны о ее ссылке, неимоверных бытовых трудностях, строительстве дома, незаметном будничном героизме человеческого духа... Журнал прислала Анастасия Ивановна, на обложке было написано: *И. Рейдерман, см. стр. 23.* А на 23 странице было: *С сердечным приветом. Илье Рейдерману — мои сибирские годы. А. Цветаева. 22.11.86.*

Я написал об этих рассказах рецензию, которую опубликовали в ленинградском журнале "Аврора". Хорошо помню, что Анастасия Ивановна, поблагодарив меня, сказала, что ей нравится, как я пишу, и добавила: "Жду вашу прозу!". Прозаик из меня не вышел. Открытки, которые я от нее получал, непременно содержали в себе фразу: на таком-то году жизни. Увы, по-видимому, сохранились далеко не все... Но думая о датах, вдруг догадался, что благословение Анастасии Ивановны застало меня на тридцать третьем году жизни! В этом возрасте человек, пусть даже дотоле не реализовавший себя, должен ощутить себя "в силе", до конца осознать свое призвание.

В одном из писем Анастасии Ивановне я привел евангельскую фразу "Бодрствуйте вместе со мной" и сказал, что мне смысл ее очень дорог, и что сама А. И. для меня пример такого бодрствования духа. В ответ мне было сказано, что слово *Бог* следует писать с заглавной буквы. Увы, в школе меня учили иному. Но я, кажется, научился не только писать, но и мыслить о Боге "с большой буквы"...

Еще один случай, связанный с Анастасией Ивановной, одновременно и печальный и забавный, не могу не вспомнить. Одесский журналист Евгений Голубовский написал Анастасии Ивановне письмо со своими вопросами и получил ответ, в котором было сказано: *у Вас в Одессе живет большой поэт Илья Рейдерман! Не пропустите!* Взволнованный Голубовский прибежал ко мне и, сидя в комнате на Пушкинской, знакомился с моими рукописями, а может быть, и книжечкой... Полистав, он сказал явно иронически: "Большого поэта Рейдермана мы не пропустили". Что означало, конечно, полное неодобрение моего стихотворчества.

По сей день думаю, что тонкий ценитель всяческой одесской старины, в том числе и одесских поэтов былых времен, на сей раз ошибся. Всю жизнь бьюсь, чтобы доказать обратное. Кажется, только на седьмом десятке лет — обретаю полноту своего голоса. И счастлив, что за моей спиной — Анастасия Ивановна, как бы прикрывающая от злых ветров завистливого недружелюбия, непризнания, холодного безразличия. Сказавшая мне своим глуховатым, но внятным и добрым голосом: Вы — поэт! Да сбудется до конца ею сказанное...

Одесса. 6-7.01.04

Молитва

Как трудно, Господи, как трудно!
Ты счастье отмеряешь скудно.
Но славно, Господи, как славно,
что жизнь трудна и своенравна,
и, словно зебра, полосата, —
вслед за победою утрата,
за темной — светлая полоска.
Иначе — просто все и плоско,
иначе — скучно все и пресно.
Вот пропасти. Вот неба бездна.
И хоть движения неловки, —
живу, шагая без страховки.
Благодарю Тебя за милость,
за то, что эта жизнь — случилась,
что я бессонными ночами
в немую высь гляжу очами,
что — хоть измучена заботой, —
душа звучит высокой нотой,
ликуя, радуясь, страдая,
свой звук в гармонию вплетая.

Ночь на 17.06.07.

Ночная гроза

Белле Ахмадулиной

Все дни стояла страшная жара.
В природе и во мне — все глухо, сухо!
Но отдаленный гром коснулся слуха,
и я воскликнул: Господи, пора!

Пришла пора, чтобы излить дары,
чтоб наших губ и щек — коснулась влага,
чтобы в стихах, в слезах была бумага,
чтобы зашлась душа от той игры,
и сделал вдох я, целой жизни полный,
как будто кто-то мне сказал: живи!
И ночь июньская во вспышках молний
разверзла бездны счастья и любви.
О, как давно я ждал дождя! Ведь я
сух, как земля. Как душно! И как скучно!
Душе нужна безмерность бытия —
она мертва, когда лишь равнодушна.
Как много электричества во мне
скопилось, и в бесплодном напряженье
томится! Разрядилось бы во сне —
но мне дано бессонницы мученье.
Как рыба, жадно открываю рот.
И жизнь опять — река, а не болото.
Спасительный вдыхаю кислород,
при вспышке молнии снимаю фото
своей судьбы, как дерево, кривой,
что все же страстно жаждет распрямиться.
И ствол скрипит. И это мне не снится!
Гроза — в душе. И я еще живой.
Ты сух, бессонный дух, и искрою любой
задет, мгновенно вспыхнешь, словно порох.
Мир озарить — и одарить собой,
исчезнуть вспышкой в мировых просторах...

Ночь на 27.06.07

* * *

Как мертвая лежит собака,
укрывшись от жары в тени.
Земли не оросила влага,
хоть гром гремел. О, эти дни
июньские! День — за два, за три
засчитывается (полны!).
Лишь успевай явиться в кадре,
чтобы озвучить даже сны.

Яви вишневых ягод спелость,
забудь себя, оставив страх,
чтоб все, что сталось, все, что спелось, —
таилось не в черновиках.
Я сам сгораю, словно лето,
качаюсь веткой на ветру.
И кажется — так много света,
и никогда я не умру.

27.06.07

* * *

Поет невидимая птица.
С небес нисходит тихий свет.
Листок древесный шевелится.
Вот — песня есть, а птицы — нет.
Жизнь, своего певца не выдай!
Жилец, что пущен на постой, —
он так живет, никем не видим,
он прячется в листве густой.
И с ветки прыгая на ветку,
капризен и нетерпелив,
он ни за что не хочет в клетку,
просторы новые открыв.
...Листочек со стихотвореньем —
в нем зелень и лазурь небес,
в нем зарифмовано мгновенье.
А где поэт? Поэт исчез.
Пылиться будут где-то книги.
Не слышно шелеста страниц.
В них охи, ахи, вздохи, крики.
И жалобы. И трели птиц.
В век умноженья и деленья
идет мимо поэтов люд.
Иные, может, поколенья,
те буквы черные склюют?
Но кто из стопки книгу вынул —
пусть хоть на миг богат, как Крез!
А где поэт? Неужто сгинул?

Он вжился в жизнь — и в ней исчез.
Покуда в мире песня длится,
не пропадая без следа,
поэт — невидимая птица —
летит неведомо куда...

8.06.07

Зимнее утро

Все флаги ранним утром серы.
Любой из них — какой страны?
Какой из них — достоин веры?
Зима. И трудно ждать весны.
Есть трезвость дня. Есть трезвость часа.
Земных забот девятый вал.
А миг, что только что умчался, —
исчезнет, как и не бывал.
Жизнь — уходящая натура.
Все, неподвластное уму,
все то, чего хотелось сдуру, —
ушло во тьму, ушло во тьму.
Ну что ж — такое время года.
Ты сам, как дерево, зачах.
Как эту тяжесть небосвода
удержишь на своих плечах?
Но дерево, должно быть, знает
глубинный смысл, на все ответ:
Жизнь убывает, исчезает,
чтоб выйти вновь из тьмы на свет...

21.12.06

Входной билет

Феликсу Кохрихту

Живешь, зарывшись в будни, словно крот.
У этой жизни — беспощадной норов.
Кто за руку возьмет и проведет
меня через заслоны билетеров?

Ну что же делать, если ты поэт?
А у поэта — и билета нет,
и он никем не зван на жизни праздник,
полубезумный и смешной проказник.
О нем потом напишет краевед,
что знал его. Да, был бедняга странен.
Гордец, он не вымаливал билет,
но был заметно непризнаньем ранен.
Ему любовь была нужна, как хлеб.
А если нет любви — хотя бы слава.
Что толку умирать под крики "браво"?
Зачем все это? Разве — не нелеп?
...Там — билетер, а тут, глядишь, забор,
мобильника почти секретный номер.
Вступать ли с этим всем поэту в спор?
В ином пространстве он и жил, и помер.
С другой планеты он, с другой звезды,
— должно быть, по ошибке здесь, случайно.
Крылатый конь не признает узды.
Но как же он живет? Сие есть тайна.
Поэта держит в воздухе строка.
А рифмы не найдет — так в землю носом.
О, как слепцу — ему нужна рука
надежная, чтоб не быть под вопросом!
Глядит на все он с тайной высоты,
и, может, только в том его победа.
Не знают билетеры правоты
его. Но он проходит — без билета.

Ночь на 27.06.07

Одесса

1

Тел, подставленных солнцу на пляже, — двое.
Чистый кальций в костях, терпеливых к зною.
Море — хлев, и стоящее в стойлах стадо
по-подводному радо.

И не странно, что выпав из лапы стресса,
окунает в море лицо Одесса,
ибо где нету выхода для печали,
там ошибка вначале.

Это — солнце всегда, над любым сараем,
это кран, где мы бреемся и стираем.
Это город, который — восторг и выдох.
Это блики на рыбах.

Это дом с голубятней, где на канате
голубой купальник студентки Кати.
Это шкварки и смалец дощатых лестниц
и похабные песни.

Это лепка карниза под штукатуркой,
повсеместная страсть к полноте желудка.
Это летние домики с номерами,
это ночь с комарами.

Это степь под колхозами, под бахчами,
и луна на рейде над проводами.
Это мол и маяк, и в мазуте гавань.
Это дворничка Клава.

Тут пасхальное солнышко над евреем,
ветхий дом, где мы нежимся и стареем.
Это мусор дворов, городская свалка
и Холодная Балка.

Пара нищих старух, чистый профиль женский
возле входа в собор по Преображенской,
в майонезном небе ажур балконов
и заправка сифонов.

Это то пространство, которым с детства
терпеливо бредит во мне Одесса.
Это то, на чем выросли мы и отъелись.
Это южная ересь.

2

Я хотел рассказать, как в лимане мира
долго гнила в лазури моя порфира.
И когда я извлек ее из-под спуда,
с миром сделалось худо.

Так зачем в это главное время года
наступает от съеденных дынь икота?
Почему на берег сошел моряк?
Разве что-то не так?

Да, проходят годы, желтеет пресса.
И стареет в лужах моя Одесса.
Чудо-город, который давал все сразу,
помутился, как разум.

Истекающий персиком лик Привоза,
экономить повсюду зовущий лозунг,
магазин "Океан" вместо свежей рыбы
и бетонные глыбы.

Это кислое знание наших дедов.
Это снова их речи, их дым обедов.
Это руны, летящие на сквозняк.
Разве это не так?

И не странно, что выйдя из глаз удода,
выбирает худший прогноз погода.
Флотоядные волны над парусами.
Очень хочется к маме.

Потому-то ты там, где нельзя без весел,
что учитель тебя на просторах бросил.
Ты один в темноте, на воде залива.
Как тебе тоскливо!

Изначальная жадность земельной ренты
протянула к морю свои проценты.
Видно, нет больше повода для печали,
чем ошибка вначале.

Ты не сможешь догнать, и не сможет пуля
отлетевшее солнце в сквозняк июля.
Согласись, мы летаем гораздо ниже,
чем летучие мыши.

Моросящей строкой по загривку леса
улетает в полночь моя Одесса,
оставляя слева по борту бакен
и Пересыпский факел.

Значит, вечная жадность и сласть порока
не дадут никому и ни в чем зарока,
ибо, где нету солнца на горизонте,
разворочены соты.

3

Что б там ни было, друг мой, кончай ругаться.
Сохрани это счастье вдыхать акации.
И хотя ветерок проскользнул за ворот —
это ласковый город.

Он достаточно многое нам оставил:
Хаджибейское солнце и соль в кристаллах,
те же летние домики с номерами.
Ну а пышные дамы?

Это даль, куда баржи увозят дыни,
влажный свет волны в купоросной сини.
Тот же вечный бульвар и его куранты,
те же детские банты.

Это то, что не кончится очень долго:
камышовых стенок скелетик дохлый.
Этот якобы всех интерес к диете,
эти наглые дети.

О лиманской грязи цветок и запах!
Мы позволим себе утверждать, что Запад,
бесконечно много в себя вобрав,
наглотался отрав.

И по-прежнему бабушка водит внука
погулять на площади возле Дюка,
где сидят и курят, склонив головки,
чудо-девы в кроссовках.

.....

Нержавеющим вальсом по крыше лета
пролетела к морю твоя планета.
Что нам делать? Смотреть и дышать на стекла,
раз планета намокла.

Будь, как скромный художник у колоннады,
постигающий сизую суть прохлады.
Видишь, дождик пошел? И рисует дождик
этот самый художник.

4

Тел, подставленных солнцу на пляже, — двое.
Чистый кальций в костях, терпеливых к зною.
Море — хлев, и стоящее в стойлах стадо
по-подводному радо.

Полюби этот свет полусгнившей тины.
Снова море устроило именины.
Это спящая в нем синей крови чаша
манит головы наши.

Нью-Йорк

* * *

Д. Ч.

Холодно нынче, любимый, и солнце так редко,
Иней на гроздьях засохших, листве темно-красной
И на пороге недавно умершей соседки.
Все, что осталось, — платок на заборе цветастый.

Осень стихи написала на листьях пожухлых,
Но недовольно срывает и в пламя бросает.
Всюду костры из стихов — ведь никто не читает.
Дымные рифмы по улочкам стелются утлым.

Здесь на окраине города время, как спица
Вяжет сюжеты на темы уюта, покоя.
Кажется, что ничего никогда не случится —
Будет листва такова, будет небо такое...

А между нами пространства просторы и реки,
Смерчи и смерти, тайфуны и сонмы событий.
Но еще время нас не разлучило навеки —
Мы улыбнемся друг другу, друг друга не видя.

* * *

Все пережить, избавиться, очнуться,
Свариться в черном города котле.
Изведать ложь и ею захлебнуться,
Узнать любовь — ее золу и тлен.

И очутиться вдруг в случайном доме
На берегу лимана, невзначай,
Среди людей едва-едва знакомых,
И с ними пить вино и крепкий чай.

А в полдень все смотреть на гладь лимана,
Широкий, вольный почерк облаков.
И загорать, вдыхая соль романов,
Вдыхая пыль невидимых миров.

И горьковато-сладкий запах дыма.
Писать стихи и дождь ловить слепой
На лист бумаги, что напомнит зимы,
Их белизну и горечь, и покой.

* * *

Капли дождя на папирусах высохших листьев,
В каплях миры отражаются ярко и рвано.
Всюду костры — в них сгорают легчайшие жизни.
Дымная и хризантемная нынче нирвана...

Вечер, трамвай, психбольница, фонарь и аптека —
Все в этой части вселенной для счастья на месте.
За освещенным окном — силуэт человека.
Я же все мимо — с листвою мне падают вести.

Не научилась я жить, и всегда я была такою,
Что важнее всего была осень с ее дыханьем.
И для меня мешок с опавшей листвою —
Все равно что наволочка Хлебникова со стихами.

* * *

Д. Ч.

Я люблю смотреть на твое лицо...
День проходит — его убивает ночь.
Ночь проходит — ее убивает день.
Убивают люди друг друга вновь,
постепенно, не сразу, а лишь чуть-чуть...
Ежедневно, за завтраком, во дворе,
на работе, в школе, всегда, везде...

Я люблю смотреть на твое лицо,
что на фото в альбоме, а в этот миг
убирают пешки своих королей,
убирают пешек своих короли.
И спивается гений, кутит дурак,
и витийствует умник, гордясь собой.

И история свой совершает ход,
и историк лжет.

Я люблю смотреть на твое лицо,
постигать пространство горячих глаз,
изучать географию черт, морщин.
И эпохи ветер сдувает прочь,
мимо судьбы проносятся тех, кто жил...
Но пока я смотрю на твое лицо,
я живу, пока я люблю — живу.



Переводы с испанского

Хорхе Луис Борхес
(1909-1986)

1891

Мне в памяти его не удержать.
Чуть разгляжу — и вновь его теряю:
в костюме черном — все, как у людей;
лоб невысокий; ниточка усов
да непременный шарф через плечо;
вот он идет сквозь праздную толпу,
прямой, сосредоточенный. На Пьедрас,
в пивной, что на углу, берет стакан
бразильской крепкой каньи — по привычке.
"Прощай, браток", — кричит ему прохожий;
молчит, не отвечает. А в глазах
устало стынет ненависть. Квартал,
еще квартал. Надрывная милонга
нахлынула из дворика волной;
гитара знай выматывает душу,
проклятая. Покачиваясь в такт,
он продолжает путь. Еще квартал,
другой. Привычно тянется рука
за пазуху, нащупывая сталь
кинжала под сукном жилета. Он
идет взыскать должок. Еще немного;
вот этот дом. Конец пути. Цветет
чертополох у входа. Изнутри
доносится упругий всплеск воды
под кромкою ведра; затем знакомый голос —
такой знакомый. Под рукой калитка
с готовностью, без скрипа поддается;
здесь, видно, ждали гостя. Этой ночью,
должно быть, наконец, его убьют.

Вот генерал Кирога едет на смерть в почтовом фургоне*

Облезлый сухой мадрехóн**, один посреди пустыни;
Ему больше не хочется пить. Он вытерпел стужу и зной.
Светает. Стынет под бледной, окоченевшей луной
Поле — голодное, жалкое, как паучок в паутине.

Запряженный четвернею фургон трясет и качает;
Он взвизгивает на ухабах — огромный, траурный, жуткий;
Шесть душ, изглоданных страхом, в нем этот рассвет встречают
И одна шальная отвага — без сна которые сутки.

Фельдъегерь, два почтаря — пока еще не убиты;
Рядом — негр-ординарец. На смерть в почтовом фургоне —
Какая славная участь! В царство теней без свиты
Негоже являться Кироге. С ним отправятся люди и кони.

Врешь, не возьмешь меня, Кóрдова! Сброд, хвастуны, горлопаны
(Так размышлял Кирога); я еду своей дорогой.
Я — кол, что намертво впился
в тело пампы. Не вам, бесталанным,
Выдернуть этот кол. Не вам тягаться с Кирогой.

Мне ли — тому, кто пережил тысячу горьких дней,
От чьего негромкого имени копья бросает в дрожь,
Взять и расстаться с жизнью среди этих стылых камней?
Ветер в степи бессмертен, не умирает нож.

Но только рассвет забрезжил там, над Барранка-Йяко,
Клинки сверкнули, и пуля легко отыскала цель,
И смерть, что одна на всех, кивнула ему из мрака,
И кто-то выдохнул, падая: "Будь проклят, Хуан Мануэль"***.

* Хуан Факундо Кирога, легендарный аргентинский каудильо, убитый в 1835 году в результате заговора. Вместе с Кирогой, ехавшим в почтовом фургоне, погибло еще шестеро человек (ординарец, почтовые служащие).

** Мадрехон — название растения.

*** Хуан Мануэль — Хуан Мануэль Росас, тогдашний диктатор Аргентины, "заказчик" убийства Кироги.

Мертвый, уже бессмертный, уже лишь тень, он явился
В ему назначенный ад, откуда возврата нет,
Без опозданий и жалоб; и кровью тот путь сочился,
И души коней и всадников молча летели вослед.

* * *

Научись различать в монотонном гуле щелчок курка,
Тонкий посвист стрелы ушкуйника, лязг затвора,
Страстный шепот змеи. Смотришь — пасть перехода, очередь у ларька;
Оглянись — и увидишь: по снегу, по следу несется свора.

Торжествующий крик; треск сучьев, ломаемых на бегу.
В вышине жемчужно-серое небо, в глазах — кровавая муть;
Лай все ближе. Звенящий морозный воздух ножом раздирает грудь;
Визг одышливых гончих, хрип, возня на снегу:

Словом, в целом картина — что твой гобелен, где псы,
Егеря, зима, поселяне, часовенка вдалеке.
Гобелен не закончен. На левом запястье вяло вздрагивают часы;
Струйка крови доверчиво вниз бежит по твоей щеке,

Да надсадно плачет рожок: выноси, дружок.
Возникает из мрака рука, аккуратно наносит еще стежок.

Хулио Кортасар
(1914-1984)

Happy New Year

Послушай, я немногого прошу.
Пускай рука твоя в моей ладони
поспит, как жабий маленький детеныш,
такой счастливый. Как она нужна мне
теперь, твоя рука. Когда-то, помнишь,
рукопожатье открывало дверь
в твой тайный мир — округлое, как радость,
как маленький зеленый леденец.

Итак, ответь мне: неужели ты
не дашь руки мне в эту ночь, когда
кончается глухой совиный год?
Не можешь? По техническим причинам?..
Ну что ж. Тогда ее я нарисую,
из воздуха сотку твою ладонь,
на ощупь бархатистую, как персик,
и линии на ней, и каждый палец,
и карту вен — страну деревьев голубых
на тыльной стороне твоей ладони.
И вот она, твоя рука. Держу
ее в своей так бережно, как будто
от этого зависят судьбы мира,
весна, что каждый год сменяет зиму,
крик петуха и нежность человечья.

31.12.1951

Billet doux*

Я вчера получил его, это письмо
(между прочим, всем письмам письмо, вам не снились такие):
"это хуже всего — нестерпимый и горький разлад и т. д.,
прозябание без... и непонимание между..."
Здесь мне впору расплакаться — мы ведь действительно
любим друг друга,
просто наша любовь, торопясь, забежала куда-то вперед
и теперь сокрушается, бедная, силясь руками закрыть пустоту —
там, где наши с тобою отсутствуют личные местоименья.
В общем, мы разминулись. А тут еще это письмо.

Что ж, придется ответить тебе, о сладчайшая тень:
я пишу эти строки, вокруг меня город попутных ветров;
рядом — дата: четвертое, месяц ноябрь на дворе,
век двадцатый (и вот уже пятидесятый кончается год).
Уж такое оно, это время. Навеки застряла луна,
как в капкане, в тисках календарной резьбы. Значит, так и
запишем: "Четвертое но..."

* Любовное письмо (франц.)

Нужно было так мало, но столько всего не сошлось:
не хватило размеренной поступи суток, цветка
на обочине; встречи нечаянной там-то и там-то.
Вот такие дела. Продолжение следует на обороте;
две страницы исписанных, две половинки листа,
словно аверс и реверс, ковер и его потайная изнанка,
как приход и уход.

(Кстати, в жизни моей я прошу никого не винить.)

Хосе ЙЕРРО
(р. 1922)

Король Лир говорит

Скажи, что любишь. Прошепчи: "люблю";
впервые и в последний раз — навеки.
"Люблю тебя" — и все. Не говори,
насколько сильно; просто повтори:
"люблю тебя" — мне хватит этих слов.

("Сильнее, чем спасение души
моей", — сказала мне Регана. "Больше,
чем первое дыхание весны", —
отозвалась, помедлив, Гонерилья;
солгали обе — я не знал об этом).

Скажи "люблю", Корделия. Солги —
пускай не мне, самой себе солги.

Все растворилось в вязкой дымке сна —
ночное море; молнии, что гнали
на скалы бедный гибнущий корабль, —
все было не со мной, все было сном;
я сплю, но не приходит пробужденье.
И я живу во сне, дышу во сне,

запутавшийся в липкой паутине,
и вереском поросшие холмы
лежат кругом, и вечность впереди —
такой же сон, но только бесконечный.
Темно и пусто. Буря забрала
с собой Шута; он был товарищ мне,
был мной самим, жестоким отраженьем
в лукавом царстве выпуклых зеркал
и вогнутых — изобретеньи Валье-
Инклана. Руки волн меня несли
и, осерчав, ударили с размаху
меня о берег. А потом, очнувшись,
я увидал сокровища — на влажном
песке здесь столько было черепков,
осколков и причудливых камней,
и лошадиных ребер и хребтов,
обточенных зубами и когтями
морской травы!..

По памяти, на ощупь,
я выстроил утерянный свой мир —
слепил, согрел и жизнь в него вдохнул
под этим новым, незнакомым солнцем.
И вот он, наконец, передо мной;
я слышу, как он дышит тяжело,
упрямо, жадно, с клекотом надсадным
глотая воздух; ждет, что ты придешь
и скажешь мне: "люблю". Вот здесь, взгляни,
храню я небеса других широт:
вот пепельный британский небосвод —
как перья вяхиря; вот провансальский кобальт;
Кастилия — индиго и лазурь;
одна лишь ты способна им вернуть
прозрачность их, сиянье, глубину,
дыхание и трепет. Поспеши,
они твои — и заждались тебя.

Скажи "люблю", Корделия. Скажи
"люблю тебя" — те самые слова,
что выпорхнули из лукавых уст
Реганы с Гонерильей: "я люблю"
(из уст, но не из сердца). А затем
всех королевских рыцарей они
сгубили. Порожденье урагана,
распутники, гуляки, драчуны —
их приняла в объятья тишина
небытия. В тумане растворились
их шлемы, их чеканные щиты —
орлы, химеры, лебеди, дельфины,
единороги, грифы. Где теперь
вы, рыцари мои? Во весь опор
куда несут вас призрачные кони?

Приди. Я королевство отдаю,
чтоб услыхать, как хриплое "люблю"
исторгнет твой кровоточащий рот.
Спасение души моей — за три
коротких слова. Прошепчи, пропой,
пусть голос твой сольется с этим шумом
земным — вода струится по камням,
стрела со свистом рассекает воздух —
и я поверю, будто ты и вправду
их шепчешь мне — беззвучные слова,
слова, которых ты не говорила, —
зачем, зачем ты не сказала их!
В иных пространствах, времени другом
найдется точка; там они живут —
немое колебанье, ультразвук,
всхлип, судорога, волн короткий всплеск, —
и, прежде чем уйти навек, я должен
их выпустить на волю — не беда,
что эхо этих слов умрет скорее,
чем высохнет слезы случайный след
на рукаве из выцветшего шелка.

Здесь тихо и покойно. Пятый акт
идет к концу. Раскрашенное небо,
картонный лес, фанерные холмы,
а вот и я свою играю роль —
старательно прикидываюсь спящим,
а сам все слышу. Мне уже не спутать
трель жаворонка с песней соловья.
Я здесь и жду тебя, — считая дни,
часы и годы. А когда придешь ты,
и егеря погибшие мои
вдруг разом затрубят в свои рожки,
приветствуя тебя — меня узнаешь
по золотой короне без каменьев
(их выклевали жадные сороки),
по деревянной выщербленной плошке —
Шут завещал ее мне, и теперь
дубы и клены щедро наполняют
ее своим багряным подаяньем.

Приди скорей. Уже подходит срок.
Не приноси цветов — ведь я не умер.
Приди, пока меня не затянуло
в воронку сна. Приди сказать "люблю" —
и сразу исчезай. Беги скорей,
пока я не успел тебя увидеть
сквозь матовое тусклое стекло,
плывущую в дрожащих мутных водах;

пока я не успел сказать тебе:
"А, это ты. Не бойся, подойди
поближе. Знаешь, я тебя любил
так сильно, что уже не помню, кто ты".

Habana blues

Чешуя черепичных крыш остывает. Тут
День — как жидкое олово, ночь — отсыревший трут.
Влажно дышит в лицо сентябрь: ты не бойсь, не выдам;
Сгинешь зернышком риса в мешке — фиг тебя найдут.

И неровную кладку стены ощутив спиной,
Можно тихо следить, как из камня уходит зной,
Как смиряется пульс, и кончается век, и в кульке бумажном
Тает колотый лед, и волна идет за другой волной.

Опускается солнце над кладбищем замка Иф;
Пахнет йодом, как в ординаторской. Закусив
Губу, понимаешь: поздно. Но сотни бумажных лодок
Безрассудным ветром несет отсюда в залив.

Ты и рад бы поддаться, с волками по-волчьи выть,
Плавно двигаясь в такт — но к лицу ли такая прыть?
Зажигают свет, и кровавые губы валькирий
Отливают лиловым. Кажется, не доплыть.

Спи, красавица, в оловянном своем гробу.
Вся в цветах из фольги, с одинокой звездой во лбу;
Он не тронет тебя — слишком явно дрожат ресницы;
Да и то сказать, ни к чему искушать судьбу.

Суррогатный кофе, ударницы в бигуди
И солдатский жетон, как ладанка, на груди.
И упрямый, как боль, металлический вкус потери
(И еще много-много светлого впереди).



Уходи

Прочь, прочь, прочь уходи...
Уходи пока еще не ушла любовь...
Уходи!
Я хочу сказать: впереди
буду я...
Через боль
уходи!
Я останусь с собой.
Я останусь счастливой.
Забудь.
Уходи!
Половина счастья?
Зачем мне оно?
Половина песни?
Зачем же ее начинать?..
Может, это совсем не умно:
гнать тебя, так настойчиво гнать?
Нет, уходи!!!

Зазеркалье

Себе любимой

Каталось солнце, словно мяч,
над городишком душным-душным.
Две симпатичные старушки
на лавочке
и детский плач
из синей дряхленькой коляски...
На классики разбит асфальт.
Одна вздохнула:
— Мы без пальт!
— А мой купил нам всем "аляски" —
такие куртки на пуху, —
другая светски улыбнулась.

Мне показалось, я проснулась...
Вдруг солнце спело петуху.
Петух за тучами погнался,
а тучи глупые снеслись.
Покрыла землю грязь и слизь,
кто обнаглел, кто испугался,
кто просто жил.
А я одна
в трясине: с кочки да на кочку...
Кто б подсказал поставить точку
и не смотреть остатки сна?
Но как-то вдруг
полдневной тенью
своих же собственных надежд
я вышла в люди без одежд —
пусть думают, что сновиденье:
прозрачный взгляд через вуаль,
а в ней хозяйничают дырки,
в них лезут умные придирки:
зачем, мол, я ищу крааль,
чтоб зачерпнуть им тот же сон —
бальзам для будней серых...
Я научилась пить без меры
"Мадам Клико" и самогон.
Я научилась пить одна,
я научилась пить с врагами
и виноград топтать ногами,
но только там, где прорва сна:
в трясине будней серых.
Подумаешь, какая блажь,
проснуться в сорок два примерно,
причем в пространстве пятимерном,
где пятой мерой — мой кураж.

Благословляя каждый миг,
живу, как будто верю в чудо.
Ведь сны приходят ниоткуда
и строки, вложенные в стих.

Скорый

Летело, как пепел,
воронье на рассвете,
пожар разгорался в полнеба.
Гонялся за тучами ветреный ветер.
А тучи, как мякиш от хлеба
Крошились,
а крошки на землю летели,
а ветер сгребал их в сугробы.
Купе...
Мы вдвоем на хрустящей постели
храним ощущенье утробы.
Вагон, словно мама, заботливо дышит,
качает, лелеет влюбленных.
И нам все равно, если кто-то услышит
признания наши и стоны.
И то, что не спали всю ночь, — это песня:
последний куплет будет скоро.
И все же, пока мы, уставшие, вместе!
Жаль, взяли билеты на скорый.



Белые одежды

Не унижаться, не просить
Любви, как милости.
Гореть одной? Огонь гасить?
Полет бескрылости.

Надежду рвать и отпускать
Клочками по ветру.
В печали голову сгибать.
И боли до верху.

В страданьях плавятся грехи
И искупаются.
Приходят светлые стихи,
Душа рождается.

За светом истины! Искать!
Дороги... Странствия...
И буду вновь пересекать
Миры, пространства я.

К одежде белой липнет грязь.
Решила смело я —
Мне цвет к лицу. И не боясь,
Надела белое.

Наступает вечер

Ты был, как ласковое утреннее солнце —
Манящее, дающее надежду,
Зовущее настойчиво и нежно.
И мне казалось — вечер не вернется.

Потом был день — безбрежный зной палящий,
Твой яркий свет пронизывал мне сердце.

Навстречу шла, надеясь отогреться
И не боясь сгореть в лучах слепящих.

Был долог день, обманчиво беспечен,
Дарил огонь, мечты и обещанья,
Касался сердца теплыми лучами...
Слабеет свет. И наступает вечер.

Античные сны

Море. Вечер. Час заката.
Пара, сидя на песке,
Ночи ждет рука в руке.
Устремляет взгляд куда-то.

Горизонт скрывает дали.
Там блуждает Одиссей,
Минотавра бьет Тесей,
И Орфей в Аид ступает.

Песня грустная сирены:
Дрогнет Троя и падет.
Но рассказ до нас дойдет
Про Париса и Елену.

На Олимпе, тьмой сокрытом,
Зевс и Гера мирно спят.
Лишь светильники горят
Возле ложа Афродиты.

Мойры ткут судьбы узоры,
Ускоряет время ход.
И рассвета пара ждет,
И мечты туманят взоры.

Поднебесье

Безветрие. Небес почти прозрачность.
Меж облаков скользит изящно солнце.
И вслед за ним летит румяный мальчик,
Черпает облако ладонью и смеется.

Легко и плавно двигаются крылья,
Играет луч на перьях белоснежных.
И каждый взмах наполнен скрытой силой,
А взгляд открыт, доверчив и безгрешен.

На небесах он счастлив и свободен.
И каждый день волшебный и чудесный.
С другими ангелами водит хороводы,
Поет прекрасные и сладостные песни.

Здесь все пронизано хрустально-чистым светом.
Открыто для любого поднебесье.
Но чья-то песня слишком грубо спета,
И режет слух неангельская песня.

Сад нашей любви

Не надо тебя мне. Не надо
Волнения, дрожи, касаний,
Мечтаний, надежд и признаний
И страстных волнующих взглядов.

Я осени этой не рада.
Сухими листами деревья
Устлали дорожки аллеи —
То письма из нашего сада.

Живут в нем прекрасные розы,
Цветут хризантемы и астры,
А воздух звенящий и ясный.
Но скоро наступят морозы.

Наш сад окружил ты оградой.
Его красота – это тайна.
Твой ключ потерялся случайно.
А делать ли новый? Не надо.

Звезды. Сад. Окно. Весна

Небо. Звезды. Сад. Окно.
Вишен цвет пьянит вином.

Шепот листьев в тишине
Растворяется в луне.

Заблудившийся сверчок
Спел немного — и молчок.

Россыпь звезд и тишина.
Красотою ночь пьяна.

Кто не в силах ночью спать,
Тот придет сюда мечтать.

Свет в окне давно погас.
Шепчут листья свой рассказ.

И кому-то не до сна.
Звезды. Сад. Окно. Весна.



Моветон

Острым приступом мигрени тот подземный переход,
где в пальтишке из шагрени чья-то бабушка поет:
"Слышу голос родниковый, вижу синие глаза..."
Взгляд ее к стене прикован. Повернуть бы мне назад,
закатать себя с макушкой в безразличия бетон,
чтоб незрячая старушка не сказала: "Моветон".
Голосок ее не кроткий, подбородок волевой,
но рука стыдливо дрогнет не от капли дождевой —
от прохладного металла разной ценности монет.
Словно ласки ожидала, а не денег на обед...

Играя в мечту

Терзаешь не скалы будней,
не мертвый гранитный камень —
по речке времен и судеб,
играя в мечту веками,
сплавляешь Ты жизни наши
деревьями и корнями...
Ты стал на три мира старше,
но тешишься сизарями.
Средь них — след голубки белой,
то Твой поцелуй на память.
Рисуешь зеленым мелом
траву, что покровом станет
фигуркам из мягкой глины
с Твоею мечтою — выжить...
На скулах земного Сына
смеются веснушки рыжим.
И Он на свои ладошки
чернильные ставит пятна,
не зная, что понарошку
отметил Свои стигматы...

Юг

Знойный юг по весне, как юнец в предвкушенье любви, —
Переполненный чувствами, жар излучающий робко.
Он пока еще девственник, к ночи всегда нелюдим
И грустит о пейзаже, что сник за изящной высоткой.

Исподлобья глядит на распутство весенних ветров,
С обнаженных дерев обрывающих хлипкие ветки.
Сколько лет тебе, юг? Что ты видишь сквозь стены веков,
Если в марте по-новому жаждешь июньской отметки?

Запах жареной рыбы, смешения специй, амбре
Тел, пропитанных Солнцем и воздухом с примесью йода,
Вкус любви на губах вперемешку с густым каберне,
Танец пылких сердец под украшенным звездами сводом —

Все не раз повторится. Рождений твоих череда.
Мотыльками слетятся озябшие за зиму души.
А пока пьют покой и морскую волну берега...
Юг в преддверии лета шальными ветрами простужен.

Паяц, давно пора подняться...

Подчеркнута зеленою травой
кривая изгородь открытых ветру пальцев.
Паяц, тебе давно пора подняться,
но ты лежишь,
ладонь твоя дугой.
В глазах — река молочного тумана.
Так смотрят издыхающие псы,
не вглубь себя, на блеск живой слезы
в руке хозяина.
Затем собачий слалом
в мир без потех, без гонки за мячом...
Паяц, ты стар! Но ты не обречен
на склоне лет играть сизифов камень,
теряя нить, связующую память.

За линзами усталого ума
зрачки в сто солнц, сжигающих недуги.
Открой глаза, озябшие от буден
игры, в которой прикупом сума,
и то — на сцене.
В Закулисье — сумма
всех сил,
"на бис" стяжающих тебя.
Но ты подобен тени корабля
на глади моря девственно угрюмой.
С жестокой мерой рослого Прокруста
себе выносишь приговор:
Виновен!
В том, что твой рот помадой обезволен
во имя бутафорского искусства,
в том, что себя не поднял на дыбы...
Мал золотник отыгранной судьбы,
дороже всех билетов на премьеру
в который раз воскресшего Мольера.



Нина ПРИБУТКОВСКАЯ

Песни для детей старшего возраста

Мелодрама в двух частях

Действующие лица

ЛЕОНОРА — высокая статная женщина, похожая на древнеримскую скульптуру, 40 лет.

ГЕОРГИЙ — ее муж, ровесник Леоноры, так же достойно красив.

СТАРИК — сохранил юношеский взгляд и осанку молодости. Около семидесяти.

ТЕТЯ СОФИЯ — с первого взгляда видно, что бывшая красавица, ровесница Старика.

Действие происходит в квартире Леоноры и Георгия.
Время действия — наши дни.

Действие первое

Кухня панельного дома. Леонора печет пирог. Старик бренчит на гитаре и напевает.

ПЕСНЯ СТАРИКА

Я во сне не летаю, а падаю вниз,
Для полетов, как видно, года мои вышли,
Вот гора предо мной, словно черный карниз
У покатой, окрашенной в синее, — крыши.

ЛЕОНОРА: Жестоко так думать, тем более говорить, папа, но вся твоя жизнь — это песенки ни о чем, солнышко, травка, женщины, радость. От чего радость-то, папа?! (*После паузы.*) Мне кажется, когда человек радуется без объективных причин, это глупость, это надо сильно сохранить-ся, не тратиться. Видишь, как бог распорядился, речь у тебя отнял, а песенки оставил. (*Смотрит на него испуганно.*) Это я так, в порядке рассуждения. Ты не обиделся?

СТАРИК (*качает головой*)**:** Нет, не обиделся.

ЛЕОНОРА: Ты пой, пой сколько нужно, маму не вернешь, хотя я, честно говоря, не думала, что тебя так сильно ударит после ее смерти.

СТАРИК (*поет*)**:**

Начинается день, удаляется сон,
но как вижу тебя — сразу на сердце робость,

улыбаешься ты, я как будто спасен,
но опять я лечу в бесконечную пропасть.

ЛЕОНОРА (*вынимая из духовки пирог*)**:** Пой, папочка, пой.

Входная дверь открывается. Входят София и Георгий, нагруженный чемоданом и сумкой, у Софии на руках кошечка.

ГЕОРГИЙ (*громко и радостно*)**:** Тетка — паникерша! Поезд протащило вперед, пока добежал до вагона — стоит на площадке, слезы в три ручья, меня никто не встречает. Ей кричат: вы загораживаете, сойдите вниз! Подбежал, снял ее со ступенек, а то все движение остановила.

ЛЕОНОРА (*бросается к Софии*)**:** Тетя София, какая вы молодец, что приехали!

СОФИЯ: Если не нужна, я могу поехать обратно, у меня комната в Минске, я не нищая.

ЛЕОНОРА (*помогая ей раздеться*)**:** Георгий неделю не мог прийти в себя от радости, когда узнал, что вы едете.

СОФИЯ (*вынимая пенсионное удостоверение*)**:** Вот моя пенсия. Пенсия, конечно, маленькая, но нам с Мартой хватает, правда Марта?

ЛЕОНОРА (*продолжая ухаживать за ней*)**:** Все вспоминал, как вы с ним ходили купаться, как плавали вместе, как ездили в театр, как рисовали в парке.

СОФИЯ: Дорогая, я не в обиде, я понимаю, жизнь есть жизнь. И Марта так считает.

ЛЕОНОРА: Сегодня машину мыл, цветы ездил покупать — тетушка любит цветы. Тетя София, с таким племянником можно только поздравить.

Старик бренчит на гитаре, что-то тихо напевает.

СОФИЯ: Ему было три года, когда я повела его в садик. И в школу в первый раз повела его я. В школе все десять лет думали, что я его мама, а когда его настоящая мать пришла на выпускной, все очень удивились.

ЛЕОНОРА: Он вам благодарен.

СОФИЯ: Я повела его в садик в вышитой рубашечке, я ему в Сочи покупала. (*Кошечке.*) Ты слышишь, Марта? А какой я ему костюм китайский с начесом купила! У меня есть фотография, где он в костюме с начесом и вышитой рубашечке, и у вас есть такая фотография. Георгий, у тебя есть эта фотография? Неси сюда скорее, покажи.

ЛЕОНОРА: Тетя София, позвольте вам представить моего папу, так по жизни случилось, что вы никогда не видели моего папу.

СОФИЯ: Георгий, неси фотографию, там ты в рубашечке и в костюме, мы покажем Марте.

ЛЕОНОРА: Тетя София, это мой папа!

СОФИЯ (*кошечке*)**:** Не мявчь, не стони, мы с тобой у родных. (*Обращается ко всем.*) Спит только со мной, пока не погладишь — есть не будет. Ее кормить нетрудно, у вас кости есть? Крупные она не ест, а мелкие грызет за милую душу!

ЛЕОНОРА: Где же мы ей костей возьмем?

СОФИЯ: Нет костей? Молоко есть? Сметана? Марта все ест, она не привередливая.

ЛЕОНОРА: Тетя София, так по жизни сложилось, что вы никогда не видели моего папу.

СОФИЯ (*после продолжительной паузы Леоноре*)**:** Ты бы мне еще американского президента представила.

Подходит к Старику, отнимает гитару.

Это я, босяк!

Старик и София обнимаются, Георгий и Леонора изумлены.

СОФИЯ (*Леоноре*)**:** Мы с твоим папой родились в один день. У нас в Юзовке был роддом, и все дети рождались в Юзовке, и те, кто жили в Горбатовке, и те, кто в Юрьевке, и даже те, кто в Юдендорфе. Так вот, мы с твоим папой родились в один день с разницей в два часа. (*Старику.*) Кто раньше родился, ты или я? Ты. Я? Ты хочешь сказать, что я? А чего ты хихикаешь все время? (*Леоноре.*) Слушай, а чего он все время хихикает? (*Старику.*) Что, тебе весело? (*Леоноре.*) Неприятно на душе становится, хихикает, как дурачок.

ЛЕОНОРА: После смерти мамы у папы случился инсульт, была парализована правая нога, и он лишился речи, но когда он поет песни — все в порядке, врач говорит, так бывает, и рекомендует больше петь, тогда и речь вернется, а улыбка — это он не смеется, это у него нервное.

СОФИЯ (*Старику*)**:** Вечно с тобой какие-то чудеса! А я еще неплохо выгляжу! Как я выгляжу? Да?! О, мне все говорят: София, ты чудесно выглядишь!

ЛЕОНОРА: К приезду тети Софии я испекла пирог с яблоками.

И вот он, этот пирог, горячий, с румяной корочкой, символ домашнего уюта и семейной радости, плывет над головами присутствующих.

СОФИЯ: Пирог с яблоками! Моя кошечка не любит яблоки.

Георгий открывает шампанское.

ЛЕОНОРА (*Софии*)**:** Ничего, найдем и для вашей кошечки еду. (*Обращаясь ко всем.*) Ужин в честь прибытия тети Софии считаю открытым. Прошу поднять бокалы.

Все чокаются и выпивают.

СОФИЯ (*вздыхает*)**:** Миша мой умер, так жалко Мишу!

ЛЕОНОРА: Георгий, положи тете салат.

СОФИЯ: Все соседи жалели Мишу. Миша был такой хороший человек! Он тоже умел печь пироги, Миша умел делать все.

ЛЕОНОРА: Берите пирожок, тетя София, не стесняйтесь, возьмите кусочек побольше.

Леонора и Георгий ухаживают за стариками.

СОФИЯ (*уплетая еду*)**:** Твой папа был страдание и смерть, страдание и смерть! Больше ничего, больше ничего! Девчонки изо всех восьми деревень, если они жили в Юзовке или в Юрьевке, в Горбатовке и даже в Юдендорфе — они замирали от счастья, когда видели его. Виктюкович, Мордовская, те травились, а он только и мог бренчать на гитаре, вот как сейчас. Вы подумайте, какие мы были глупые! Мы были такие глупые, что половина из нас травилась, а половина ходила на аборт.

ЛЕОНОРА (*давится куском*)**:** Из-за папы?

СОФИЯ: Нет, все не могли ходить на аборты из-за твоего папы, тогда чем бы занимались другие парни? Но мы были глупые, это точно!

ЛЕОНОРА: Я и не предполагала, что у вас было такое бурное детство.

СОФИЯ: Шла война, мы много трудились и не знали, останемся ли жить. Родители наши были вместе, и мы росли за одним столом. Был огромный стол, еды сколько угодно, не такая, как вы едите сейчас, но картошка, лук — все было свое! Родители пели, и мои, и его, ой, как они пели! А ты помнишь песню, которую мы в детстве пели?

Старики поют. Георгий и Леонора смотрят на них с умилением.

ПЕСНЯ СТАРИКОВ

Детский садик, где пчелиный рой,
там детишки бегают гурьбой,
там играют и поют,
за руки берутся и бегут.

У фонтана, где цветет каштан,
длинноногий мальчуган,
перед девочкой стоит,
что-то шепеляво говорит.

"Слушай, Лелька, вырасту большой,
далеко уедем мы с тобой,

отращу себе я для красы,
как у Сеньки дворника усы".

Дни промчались, словно ураган,
незаметно вырос мальчуган,
у фонтана встретилися вновь,
закипела страстная любовь.

Под Одессой, где большой лиман,
похоронен воин — мальчуган,
у оврага стой и не беги —
расстреляли девочку враги.

Детский садик, что пчелиный рой,
там детишки бегают гурьбой,
там играют и поют,
за руки берутся и бегут.

У фонтана, где цветет каштан,
ждет девчонку новый мальчуган.
Перед девочкой стоит,
что-то шепеляво говорит.

"Слушай, Лелька, вырасту большой,
далеко уеду я с тобой,
Отращу себе я для красы,
как у Сеньки дворника усы".

СОФИЯ (*спохватывается, Старику*)**:** Уже поздно, ты должен идти домой, смотри, как быстро темнеет, споткнешься, упадешь. Иди.

ЛЕОНОРА: Папа живет с нами.

СОФИЯ: У него есть своя квартира. (*Старику.*) У тебя есть своя квартира?

Старик кивает.

СОФИЯ (*Старику*)**:** Живи в своей квартире! В своей квартире лучше, никто не мешает, иди домой.

ЛЕОНОРА: Папа живет с нами!.

СОФИЯ: Его квартиру вы должны сдавать жильцам, получать деньги, деньги брать себе. Ведь вы же за ним ухаживаете. Так все делают.

ЛЕОНОРА: Там племянница живет, его внучка! У нее ребенок!

СОФИЯ: Вот пусть эта племянница и внучка его заберет и ухаживает за ним, раз живет в квартире, сейчас все так делают.

ЛЕОНОРА: Жестокая дрянь! За все время, что папа у нас, — ни разу не позвонила, не то что бы прийти проведать старика, ведь они с мамой вырастили ее, а она вместо благодарности приложила силенки к тому, чтобы мама раньше времени ушла на тот свет. Родила непонятно от кого, вечно у нее с работой непорядок, вечно какие-то мужики. Пережалили ее дедушка с бабушкой, да и мы все. Чувствовали вину. Мой брат не захотел жениться на ее матери, и она, еще не родившись, оказалась сиротой.

СОФИЯ: Ой, бросьте, каждый из нас, в конце концов, оказывается сиротой.

ЛЕОНОРА: Папа согласился завещать свою квартиру Александру, папа живет сейчас в его комнате, но папе у нас хорошо.

ГЕОРГИЙ: Хватит скучных разговоров! Завтра едем на дачу, подышим свежим воздухом, разомнемся. Как, дед, согласен?

Старик смеется.

ГЕОРГИЙ: У меня тост! (*Все поднимают бокалы.*) Что делает человека человеком? Самоуважение! Что бы ни случалось в жизни — никогда не надо опускаться до низости, нужно уметь себя сохранять. А в чем, скажите, состоит самосохранение? В благородстве! Умей делать хорошие дела вопреки своим удобствам, а как же! Вот сейчас сижу я с вами, дорогие мои старики, и рад, что вы сыты, в тепле, у вас хорошее настроение. За вас! За ваше драгоценное здоровье!

Все поднимают бокалы и чокаются. Звучит радостная возвышенная музыка, которая осеняет счастливый семейный ужин. Свет на сцене постепенно убывает, звучание музыки становится все более приглушенным, сцена погружается в темноту, во мрак, и вот уже наступает ночная тишина, где каждый шорох на учете и слышно тиканье часов.

Появляется тетя София в ночной рубашке, встает у постели и долго смотрит на спящую Леонору. Леонора просыпается, видит стоящую, как приведение, тетю, вскрикивает.

ЛЕОНОРА: Что с вами, тетя София?

СОФИЯ: Извини, деточка, я шла в туалет и перепутала комнаты.

Леонора переворачивается на другой бок.

СОФИЯ (*показывает рукой на комнату, из которой доносится храп*)**:** Он так храпит!

Леонора не отвечает.

СОФИЯ: Никогда не думала, что дойду до такого состояния, когда меня положат спать в одной комнате с посторонним мужчиной.

ЛЕОНОРА (*не поворачивается*)**:** Тетя София, если хотите, мы вам постелим на кухне.

София вдруг громко плачет. Просыпается Георгий.

ГЕОРГИЙ: Что случилось, тетя София?

СОФИЯ: Мне показалось, что он погрозил мне пальцем.

ГЕОРГИЙ: Кто, тетечка?! Кто посмел?!

СОФИЯ: Мой муж Михаил! Он был здесь!

ЛЕОНОРА: Тетя София, успокойтесь, это он вас к себе зовет!

СОФИЯ (взвизгивает): К себе?!

ГЕОРГИЙ (*Леоноре*)**:** Ты соображаешь, что говоришь?!

София рыдает.

ЛЕОНОРА: Я хотела успокоить, что он ее любит, он не грозит, он зовет.

София рыдает еще громче.

ГЕОРГИЙ (*Софии*)**:** Тетечка, не плачьте, тетечка, успокойтесь, ему там хорошо.

ЛЕОНОРА: Получше, чем нам. (*Софии.*) Тетя! Дом панельный! В панельном доме нельзя громко плакать.

ГЕОРГИЙ (*Леоноре*)**:** У нас есть что-нибудь успокоительное?

ЛЕОНОРА: Навряд ли, потому что в нашем доме никогда не было психопатов.

ГЕОРГИЙ (*роется в аптечке*)**:** Сейчас, тетка, сейчас.

ЛЕОНОРА (*Софии*)**:** В вашем возрасте, тетечка, нельзя быть такой впечатлительной, вы быстро состаритесь и умрете.

СОФИЯ (*приостанавливая рыдания*)**:** Как я выгляжу?

ЛЕОНОРА: Отвратительно! Вы постарели лет на двадцать. В вашем возрасте каждая слеза — трагедия для лица.

СОФИЯ (*тут же успокаиваясь*)**:** Я больше не буду!

ГЕОРГИЙ (*найдя лекарство*)**:** Сейчас, тетя, сейчас. Вот вода. Пей, тетка. и не сдавайся.

ЛЕОНОРА: Я думаю, нужно вызвать "скорую".

СОФИЯ (*вскрикивает*)**:** Нет!

ГЕОРГИЙ: Что я, родной тетке не могу вызвать "скорую"?

ЛЕОНОРА: Приедет "скорая", увезет тетечку в больницу, там хорошо, там медсестры не спят, они по ночам дежурят, с ними можно поговорить.

СОФИЯ: Я не хочу "скорую", мне уже лучше.

ЛЕОНОРА: Тогда утром вызовем врача.

СОФИЯ: Врач смеряет мне давление.

ЛЕОНОРА: Психиатра!

СОФИЯ: Я не хочу психиатра

ЛЕОНОРА: К сожалению, у вас все признаки.

СОФИЯ: Это неправда!

ЛЕОНОРА: Понаблюдаем до утра, тетя София, дорогая.

Целует ее.

ГЕОРГИЙ: Спать, дорогие мои, спать!

СОФИЯ (*кивает на комнату, в которой спит Старик*)**:** Он даже не проснулся.

ЛЕОНОРА: Если бы он проснулся — можно было бы совсем умирать!

СОФИЯ: Прости меня, детка, прости, я разбудила тебя.

ЛЕОНОРА: Идите спать, тетя, мне завтра на работу.

СОФИЯ (*направляется в свою комнату, причитает*)**:** Если бы он не храпел, я бы еще как-то спала, но с таким храпом действительно можно сойти с ума.

ЛЕОНОРА (*укладывается в постель*)**:** Господи, еще неизвестно, какая сама будешь в старости.

Засыпает, но над ней снова стоит София.

ЛЕОНОРА (*вздрагивает*)**:** Что?!

СОФИЯ: Ты красиво спишь, японцы говорят, если человек красиво спит, — это хороший человек. С тех пор как умер Михаил, я не сплю по ночам.

ЛЕОНОРА (*вставая с постели*)**:** Ладно, пошли, попьем чаю.

СОФИЯ: И ты мне дашь этого чудесного красного желе из красивой баночки?

ЛЕОНОРА: И шоколадную конфету.

СОФИЯ: И маленький бутербродик с той колбасой, помнишь? Она такая маленькая, красивая, я не успела попробовать.

ЛЕОНОРА: Сервелат.

СОФИЯ: Ой, он мне так понравился, так понравился.

ЛЕОНОРА: Будете есть по ночам, тетя София, потеряете фигуру.

СОФИЯ: Правда, у меня хорошая фигура? Ты ведь так считаешь? Я неплохо выгляжу для своего возраста?

ЛЕОНОРА: Пока не начинаете нервничать! Знаете, тетя София, ничто так не старит женщину, как распущенные нервы. Нервы нужно держать вот так! В кулаке!

СОФИЯ (*повторяет*)**:** В кулаке!

ЛЕОНОРА: Больше негде, тетя София, только в кулаке, и тогда вы будете всегда хорошо выглядеть.

СОФИЯ (*бормочет*)**:** Ты права, детка, ты права.

Леонора и София на кухне. Леонора подает чай и все, что попросила тетя София. Леонора зевает, ей хочется спать.

СОФИЯ (*с удовольствием принимаясь за трапезу*)**:** Как они жили между собой?

ЛЕОНОРА: Кто?

СОФИЯ: Твои родители!

ЛЕОНОРА: Мама работала, занималась мной и братом. Папа работал на заводе рядовым конструктором, никогда его не повышали по службе, ему некогда было думать о карьере, о зарплате, о нас, он все время сочинял песни, исчезал на недели, а то и месяцы — походы на байдарках — опять песни, непрерывные выступления в клубах, на вечерах у студентов, все за бесплатно.

СОФИЯ: Мама не ревновала его?

ЛЕОНОРА: Я была в классе пятом, мы с братом пришли с улицы, дверь приоткрыли. У нас абажур оранжевый висел шелковый, с кистями, а они под абажуром, круглый стол, каждый уперся в него руками, кричат друг на друга! Он тогда влюбился сильно. Кричал, что не может обманывать, потом в ноги ей бухнулся, просил отпустить.

СОФИЯ: Она, конечно, не отпустила!

ЛЕОНОРА: Не отпустила!

СОФИЯ: Правильно сделала!

Леонора и София пьют чай.

СОФИЯ (*после паузы*)**:** Моего Мишу тоже любили женщины. Ему назавтра умирать, а вечером пришла одна, говорит, мы любили друг друга, дайте я за ним поухаживаю. Ни стыда, ни совести.

ЛЕОНОРА: Эта его тяга к красивости! Назвал меня Леонорой! Видите ли, он мечтал о красивом имени, а он подумал, сколько сил нужно, чтобы имя такое на себе нести?.. Нагрузил именем, а силы я сама в себе копила, пока он пел...

СОФИЯ: Ты не слышала, детка, в его песнях никогда не звучало имя София? Красивое имя, хорошо ложится на музыку.

ЛЕОНОРА: Художественная самодеятельность. Ненавижу художественную самодеятельность! Если за твои песни тебе не платят денег, заткнись и будь как все. Я тоже могла бы писать стихи и песни.. Это, знаете ли, как себя распустить.

СОФИЯ (*кусает конфетку*)**:** Кошечка моя, ей у вас так понравилась, очень умная кошечка, она тут же понимает, где свои, где чужие, она вас ис-

кренне полюбила, она к вам очень привязалась, моя кошечка. (*Внезапно.*) Он умирал мучительно. Пока он умирал, я стала лет на двадцать старше. Знаешь, Леонорочка, мало того что тебе надо умирать, так перед смертью так намучаешься! Мне было страшно с ним расставаться. Пока он лежал в комнате, и люди приходили с ним прощаться, мне казалось, мы вдвоем принимаем гостей, только я всегда говорю, а он — не хочет. А когда я приехала с кладбища и вошла в квартиру, я заметила, что за мной кто-то наблюдает сверху! Я поняла, это Господь Бог. (*Показывает наверх.*) Когда у человека не остается никого, за ним смотрит Бог. Он смотрел, как София вошла в комнату одна, взяла рубашку, повесила ее в шкаф, села на диван, долго-долго сидела, пока не настало следующее утро, а Он все глядел на меня сверху. (*Показывает наверх.*) Зачем Он нас разъединяет? Все, кто родился в один день, должны жить вместе и умирать в один день, и тогда никто не будет смотреть на нас сверху, как мы ходим из комнаты в комнату одни и ложимся спать одни, и встаем. Спасибо, Леонорочка, очень вкусное желе. Я тоже хорошо готовлю, хочешь, я буду вам готовить? Я очень хорошо выгляжу около плиты. И стирать могу, все что ни положишь, это раньше я была легкомысленная, а теперь я очень работящая, правда, ты можешь проверить, моя кошечка от меня в восторге. И по магазинам я могу ходить, даже три раза в день, да сколько нужно! Зачем мне сидеть, задрав ноги к потолку? От этого они толстеют.

ЛЕОНОРА: Тетя София, я вас при любых условиях обязана уважать, вы воспитали Георгия.

СОФИЯ: В школе все думали, что я его мама, маму увидели только на выпускном вечере, что тут началось! Все просто возмутились, что я не мама! А как я возила его в оперный театр! У нас в городе не было оперного театра, и тогда мы поехали в другой город, по дороге он простудился, я так намучилась. (*Кричит.*) Георгий, ты помнишь, как я намучилась, когда?!.

ЛЕОНОРА (*бьет ее по губам*)**:** Тетя София, ночью нельзя кричать.

СОФИЯ: Извини, дочка, я перепутала. (*Замечает вазочку.*) Вот эту вазочку я вам дарила, и одеяло, которым Старик укрывается, тоже покупала я. Слушай, Леонорочка, почему он укрывается моим одеялом? Я дарила одеяло Георгию.

ЛЕОНОРА: Не все так просто, тетя София! У нас двухкомнатная квартира, мы взяли папу, значит, Александру уже негде находиться, мальчик почти не бывает дома, хочет жениться, жить негде. Мы уже предупредили племянницу, чтобы она съезжала, она все тянет.

СОФИЯ: У меня комната.

ЛЕОНОРА: Не смешите меня, тетя София, кому сейчас нужна ваша комната в Белоруссии! Ах, тетя София, вам нужно было иметь своих детей!

СОФИЯ: Не получилось, деточка, не получилось.

ЛЕОНОРА: В этом ваша трагедия. (*Зевает.*) У каждого человека своя трагедия.

СОФИЯ (*бросается перед ней на колени*)**:** Леонорочка, ты так устаешь! У тебя измученный вид, я тебе буду помогать, я буду делать все, что ты скажешь, я буду тебе ноги мыть.

ЛЕОНОРА: Тетя София, вы воспитали Георгия, вы имеете право, но вы же видите, место занято, я не могла не взять папу — он погибнет один, он вечный юноша.

СОФИЯ: Я согласна спать с ним в одной комнате, я уже привыкла к его храпу.

ЛЕОНОРА: Тетечка, лапонька, жизнь у всех кончается одинаково — горшки, бинты, полный маразм. Ему семьдесят — вам столько же. Через пару лет начнется веселье. Если вам плохо одной, давайте мы вас поместим в дом для пожилых людей, мы будем вас навещать каждую неделю. А, тетечка? Это выход!

СОФИЯ: Я не для этого воспитывала Георгия!

ЛЕОНОРА: Нужно идти спать, тетя!

СОФИЯ: Утро вечера мудренее?

ЛЕОНОРА: Нет, тетечка! Они одинаковые, и утро, и вечер, это люди просто так придумали, чтобы было на что надеяться. Я тушу свет! Мне осталось спать всего два часа.

Леонора тушит свет уходит. София тихо и осторожно бредет к себе. Свет. Ясный, дневной. Георгий читает газету, Леонора возится по хозяйству.

ЛЕОНОРА (*что-то долго и безуспешно ищет в холодильнике*)**:** Странное дело, исчезла ветчина. Был паштет, сыр.

ГЕОРГИЙ (*читает газету, благожелательно*)**:** Подъели.

ЛЕОНОРА: Быстро.

ГЕОРГИЙ (*не отрываясь от текста*)**:** Купим еще.

ЛЕОНОРА (*разыскивая безуспешно в холодильнике продукты*)**:** Я не жадина!

Георгий жует, читает, кивает.

Я таскаю, как лошадь, — в руках, в зубах и в ногах!

Георгий читает.

Меня знакомые на улице не узнают, я постоянно с сумками, продукты исчезают, как в черную дыру!

Георгий читает, согласно кивает.

ЛЕОНОРА (*стучит кулаком по столу около его носа*)**:** Сколько можно есть?

Георгий давится, газета выпадает из его рук.

ЛЕОНОРА: Потом сидят в туалете по три часа, да еще ссорятся между собой, что долго занято.

ГЕОРГИЙ (*как можно осторожнее*)**:** Твой папа, в основном, налегает.

ЛЕОНОРА: Папа никогда много не ел.

ГЕОРГИЙ: Ты заметила, как он растолстел?

ЛЕОНОРА: Твоя тетя София ест в три горла.

ГЕОРГИЙ: Горло у всех одно, успокойся.

ЛЕОНОРА: Я видела, как она за один раз тянула в рот три шоколадные конфеты.

ГЕОРГИЙ: Ты подсматривала за ней, Леонора?

ЛЕОНОРА (*бросается к нему*)**:** Прости!

ГЕОРГИЙ (*обнимая ее*)**:** Успокойся, это с каждым бывает.

ЛЕОНОРА (*поднимая голову к верху и простирая руки*)**:** Господи! Зачем тебе нужна эта постоянная борьба? Почему нельзя подарить чувство собственного достоинства навечно, тогда все были бы красивыми и не делали бы ничего плохого, не было бы войн, была бы сплошная справедливость. Нет, я все-таки не пойму, зачем нужно погружать человека в подлости всякие?!

ГЕОРГИЙ (*Леоноре*)**:** Дай мне руку!

Леонора подает ему руку.

ГЕОРГИЙ: Повторяй за мной.

Взявшись за руки, Георгий и Леонора произносят текст как заклинание.

Мы добры, мы великодушны! Только доброта делает человека красивым, только терпение награждает мудростью. Мы пришли в этот мир, чтобы жить достойно. Жить достойно — значит, жить радостно!

Стоят обнявшись, внезапно Леонора вскрикивает, бросается к мусорному ведру, вытаскивает сыр, ветчину, паштет.

ЛЕОНОРА: Я таскаю. Я надрываюсь. Что же это такое?!

Леонора рыдает, уткнувшись в плечо Георгия.

Вечер. Кухня. Все вместе. Старик с гитарой.

ПЕСНЯ СТАРИКА

Вот опять жизнь проносится
Мимо окон твоих,
И никто в дом не просится,
Нет своих, нет чужих,

И в такие мгновения
Я безумствую вновь,
А в душе, без сомнения,
Полыхает любовь
Возникает видение,
Наяву иль во сне,
Ты мое сочинение,
Свет в далеком окне.

ЛЕОНОРА (*подметая пол*)**:** Нет, я скажу. Я только хочу сказать, что не говоря о материальных трудностях, связанных с покупкой продуктов, существуют трудности чисто физические. Нас с Георгием фактически двое. Александр уже взрослый, он домой не всегда приходит, а в последнее время, когда в доме столько народа, ему вообще некуда приходить.

Вытирает навернувшиеся слезы.

Вы должны понять, нам с Георгием надо не так уж много, тем более что мы приверженцы легкой еды. Все, что я покупаю в дом, это для вас, тетя София и папа, — только для вас. Мне хочется, чтобы вы были сыты в это нелегкое злое время. Сердце болит, когда слышишь об одиноких беззащитных стариках. которые голодают и мучаются. В результате — что же мы с Георгием видим? Хулиганство какое-то. Продукты, я уже не говорю о деньгах, но труд какой вложен, чтобы купить и принести. (*Подходит к мусорному ведру.*) Великолепные продукты выброшены в мусорное ведро. Меня сейчас не интересует, по какой причине, меня интересует: кто! Кто это сделал?! Я задала вопрос и жду на него ответа! (*Пауза.*) Повторяю, я жду ответа!

Тяжкое молчание.

Я все еще жду!

Пауза.

Значит, будете сидеть голодными, оба, два дня, нет, три, пока кто-то из вас не признается. Издевательство! (*Плачет.*)

Георгий резко опрокидывает стул, на котором сидел. Уходит.

ЛЕОНОРА (*упрямо продолжает сквозь слезы, заставляет себя продолжать*)**:** Старость не избавляет от совести! Даже если — маразм! Маразм, как правило, результат неправедной жизни! Я не могу отдать свою собственную жизнь на съедение вашему маразму.

Убегает с рыданиями. Старики сидят, боясь пошевелиться, как провинившиеся дети.

Георгий входит.

ГЕОРГИЙ (*старикам*)**:** Ребята! Что же вы молчите! Слепые же, ну и выбросили по ошибке. Признайтесь — и забудем. Погода какая, а? Поехали на дачу, тетка, тебе воздух нужен, Старик бы мяч погонял, полезно, а?

Пауза.

Как хотите.

Уходит и возвращается.

Она этого никак не заслуживает. Ради уважения к ее труду могли бы и извиниться! Дело совести.

СТАРИК (*показывает на себя*)**:** Это сделал я!

ГЕОРГИЙ (*бросается к нему*)**:** Я очень рад! Очень! (*Обнимает его, кричит в комнату.*) Леонорочка! Это сделал твой папа! Папа признался!

ЛЕОНОРА (*появляясь*)**:** Папа?!

ГЕОРГИЙ: Слепой, ну что ты удивляешься? — выбросил по ошибке!

СТАРИК (*машет рукой*)**:** Ну что со мной сделаешь! (*Улыбка озаряет его лицо совсем некстати.*)

ЛЕОНОРА (*бросается к нему*)**:** Папа! Ты боялся мне сказать! Больше никогда, слышишь, никогда не бойся, я пойму, я никогда. (*Не выдерживает, рыдает.*)

СОФИЯ: Столько продуктов перевести в мусор!

ЛЕОНОРА (*резко*)**:** Все, тетя София, закрыли тему!

ГЕОРГИЙ (*обнимает Софию и Старика*)**:** Старики вы мои, старики! Поехали на дачу, прокачу с ветерком!

Звучит светлая мажорная музыка. Она легка и красива, возвышенна и драматична. Под такую музыку стоит жить! Музыка постепенно стихает, сцена погружается в темноту, во мрак, в ночную тишину.

Ночь. Тишина. Всеобщий храп. Появляется тетя София, она рвет на себе ночную рубашку. На этот раз первым просыпается Георгий.

ГЕОРГИЙ (включая ночник, изумленно): Тетя София, что с вами?

СОФИЯ (кашляет, глаза вылезают из орбит): Я задыхаюсь, я почему-то задыхаюсь. (Кричит.) Деточка моя, я умираю!

ЛЕОНОРА (просыпается): Что случилось? Пахнет! Пахнет газом!

Бежит на кухню.

В это время София изображает пантомиму под названием "Смерть в раю".

ЛЕОНОРА (*возвращаясь*)**:** Газ! Была открыта газовая горелка.

СОФИЯ (*слабым голосом*)**:** Мне захотелось пить. Рагу на ужин, не в укор тебе будет сказано, Леонорочка, оказалось немного острым,

в моем возрасте уже не употребляют такое острое. Но я это не к тому, я знаю, в кувшине на кухне всегда есть свежая кипяченая вода. Леночка такая хозяйка, ой, она просто великолепная хозяйка, тебе, Георгий так здорово повезло, ну так здорово повезло.

ЛЕОНОРА (*кричит*)**:** Тетя София, прекратите болтать!

СОФИЯ (*слабым голосом*)**:** Вот я и говорю, пока я пила воду, я задохнулась, страшно задохнулась.

Делает попытку плюхнуться в обморок. Георгий удерживает ее.

ЛЕОНОРА: Ваша кошечка, она ведь тоже могла задохнуться, посмотрите, как она, тетя, я волнуюсь.

СОФИЯ: Бедная Марта! (*Бросается из комнаты.*)

ЛЕОНОРА (*Георгию, после паузы*)**:** Сейчас она вернется и намекнет нам, что, возможно, это сделал Старик.

ГЕОРГИЙ: Да, она его явно подставляет, это понятно даже ребенку!

ЛЕОНОРА: Если она думает, что таким образом меня можно заставить выгнать из дома собственного отца — это просто смешно!

ГЕОРГИЙ: В ней говорит одиночество.

ЛЕОНОРА: Дорогой, неужели ты мог подумать, что я не сочувствую?!

ГЕОРГИЙ: Она не просто так, она согласна нам помогать по хозяйству.

ЛЕОНОРА (*решительно, после паузы*)**:** Двух стариков мы не потянем.

Еле-еле, по стенке, входит "ослабевшая" София.

СОФИЯ: Старик ходил на кухню, когда вы все уже легли.

ЛЕОНОРА: Тетя София, почему в ваших историях место пугала все время занимает мой папа?!

СОФИЯ: Я ничего не сказала, я только сказала, что видела, как Старик ходил на кухню.

ЛЕОНОРА: Он имеет право ходить куда хочет, тетя София, не нужно жить фантазиями, это слишком болезненно, я не хочу, чтобы вам было больно, поэтому вы должны воспринять все как есть — по-другому не будет!

СОФИЯ: Вот и я говорю, если он ходит ночью на кухню и ест, это еще ни о чем не говорит.

ЛЕОНОРА: Не может этого быть, он не может быть голодным.

СОФИЯ: Я сама удивляюсь, когда вижу, как он под подушку кладет себе продукты.

ЛЕОНОРА: Какие продукты?!

СОФИЯ: Всякие, Леночка, всякие, даже соленые грибы, и он все это ест по ночам. Ах, если вы бы знали, как он чавкает ночью!

ЛЕОНОРА: Замолчите! Вы нарочно наговариваете на моего папу! Вы хотите выжить его из моего дома!

ГЕОРГИЙ (*кричит*)**:** Не смей кричать на мою тетку! Она никогда не врет! А твой отец всегда был чокнутым! Эта его улыбочка одна чего стоит!

ЛЕОНОРА (*кричит*)**:** Это хамство с твоей стороны, ты же знаешь, что у него — осложнение от болезни.

ГЕОРГИЙ: У нормальных людей и осложнения нормальные. (*Орет.*) Мне надоела его глупая ухмылка, песни его надоели! Как его твоя мать терпела — не пойму! Никчемный, кроме гитары, в руках ничего не держал. (*Обращается к тете Софии.*) Тетя, представьте себе эту картину: она в саду с лопатой, а он ей песни поет — зашибиться этой же лопатой. А когда я с Леонорой познакомился, она мне сказала: у меня папа — бард. Видали мы таких бардов!

ЛЕОНОРА (*тихо*)**:** А вот этого я тебе никогда не прощу.

СОФИЯ: Деточки мои, помиритесь! Никто не виноват. Старик с детства был странным, он еще в роддоме вел себя не так как надо. Рассказывали и в Юзовке, и в Юдендорфе. все про него знали. Но сейчас! Сейчас что-то особенное. Вы никогда не замечали, что у вас деньги пропадают?!

ЛЕОНОРА: Я сейчас вас вышвырну вон, тетя София! Мой папа, в отличие от вас, имеет высшее образование, воспитал двоих детей!

ГЕОРГИЙ: Не надо, тетя София, что вы в самом деле. С нами разговаривает интеллигенция!

ЛЕОНОРА (*вопит*)**:** Вон из моей спальни, негодяи!

ГЕОРГИЙ: Куда прикажешь нам идти? Здесь ты расположилась, как барыня, в той комнате храпит твой придурковатый папочка! Ложитесь, тетя София, занимайте кровать, в этом мире все так устроено: сам не наедешь — так на тебя наедут!

СОФИЯ (*укладываясь в постель Леоноры*)**:** Леонорочка, дорогая! Я не могу видеть, как ты плачешь, мне легче дойти моими больными ногами до Египта, чем выдержать такое. Я люблю твоего отца, мы с ним вместе родились, кто-то позже, кто-то раньше, не в этом дело. Но ты пойми, старость — вещь неуправляемая, кому-то везет, мозг остается ясным, вот как у меня, а у кого-то он угасает. У твоего папы — буйный склероз! Что ты тут сделаешь, ведь это твой папа, но странности у него есть. Я не зря спросила про деньги, у него под подушкой вперемежку с продуктами лежат деньги. Может быть, это его пенсия?

ЛЕОНОРА: Какое вам дело до пенсии моего отца?!

ГЕОРГИЙ: Тетя, пенсию он держит на книжке, для Александра. Так мы с ним договорились.

СОФИЯ: Мне нет никакого дела до ваших денег, я просто хочу, чтобы меня уважали и не считали вруньей! Это неприятно.

ЛЕОНОРА (*внезапно*)**:** Всем оставаться на местах!

Уходит.

СОФИЯ (*Георгию*)**:** Я могу уже спать?!

ГЕОРГИЙ: Да, тетя, сейчас я вам выключу верхний свет.

СОФИЯ: Мальчик мой, кроме тебя, у меня нет ни одной живой души, вот только Марта, если бы Марта умела говорить.

ГЕОРГИЙ: Тетя! Я виноват перед вами, я вас предал, тетя, простите меня, простите!

СОФИЯ (*гладит его по голове*)**:** Успокойся, мой мальчик, успокойся, твоя тетка еще в своем уме, и она понимает, что лишний старик в доме — это обуза! От стариков нужно избавляться, они пахнут болезнями, просят есть и постоянно наблюдают. Наблюдают и молчат. Живые стены! Ужасно!

ГЕОРГИЙ: Не говорите так, тетя, вы будете жить с нами, я вам клянусь!

Входит Леонора, с ней полусонный Старик.

ЛЕОНОРА: Тетя София, я приношу вам свои извинения. Под подушкой у папы лежали деньги и сберегательная книжка.

СОФИЯ: Еще там лежали бутерброды с сыром. Целых два.

ЛЕОНОРА: К черту еду, хочет — пусть ест, но деньги! Мы же договорились с тобой, папа, что твою пенсию ты не снимаешь, мы копим ее Александру на свадьбу, и вдруг я смотрю — ты снял приличную сумму. Тебя Александр об этом попросил?

Старик улыбается.

В чем дело, папа? Ты не хочешь мне говорить?

СОФИЯ: Мне кажется, он улыбается нарочно, это не нервы!

ЛЕОНОРА: Ты снял эти деньги для Василисы?

Старик кивает.

Мы же с тобой снимали для Василисы деньги осенью!

Старик молчит.

В твоей любви к Василисе есть что-то преступное. Преступное против нас.

СОФИЯ (*причитает*)**:** Если бы ты умел ценить счастье, которое тебе досталось, жить с этими людьми. с этими святыми людьми!

ЛЕОНОРА: Прекратите тетя, я сама разберусь. У Василисы в мыслях нет тебя забрать к себе, хотя ты вырастил ее, она слишком хорошо понимает, что старик в доме — это обуза! И вот за все, что мы с Георгием сделали для нее, для тебя, — вот за все это вы воруете у нас деньги!

ГЕОРГИЙ (*Старику*)**:** Знаешь, дорогой, мне плевать на эти деньги,

не я за тобой ухаживаю, и не мне тебя судить, но я за нее. (*Показывает на Леонору.*) Ты же ей в душу плюнул!

ЛЕОНОРА: И ты, Георгий, не вмешивайся. Папа, ты понял, что дело не в деньгах, да? Ты понял, что ты меня обидел, да? Я же по глазам вижу, ты понимаешь, родной мой! (*Целует его.*) Деньги я заберу, извини, но они принадлежат мне. (*Целует еще раз.*) Папуля, мой, глупенький!

СОФИЯ: Детки мои, ради вас жизнь готова отдать, не могу я, когда вас обманывают. Георгий, Леонорочка, деточки вы мои бедненькие, как же над вами измываются, и защитить вас некому. Одна душа болит за вас, это душа тети Софии.

ЛЕОНОРА: Прекратите. Георгий, объясни тете, здесь не театр.

СОФИЯ: Вчера, когда вы были на работе, к нему приезжала эта Василиса — внучка его, и твоя, Леонорочка, племянница, она приезжала с нотариусом, и он подписал ей дарственную на квартиру!

Пауза.

ЛЕОНОРА: Ты подарил нашу квартиру, это правда, папа?!

Старик кивает головой.

СОФИЯ: Я молчала целый день...

Георгий медленно надвигается на Старика...

ЛЕОНОРА (*кричит*)**:** Я сейчас умру! Я уже умираю!

Крик Леоноры перекрывает сирена "скорой помощи".

Действие второе

На авансцене — столик уличного кафе.
Леонора сидит за столиком, что-то пишет. Вбегает Георгий, он запыхался, спешил.

ГЕОРГИЙ: Прости, задержался, забрал трудовик, созвонился с Минском, взял билеты.

ЛЕОНОРА (*поднимая голову*): Прочти, быть может, у тебя есть претензии?

Георгий умоляюще прижимает руку к груди.

ЛЕОНОРА: Поправь, я при тебе перепишу, ты распишешься, я отнесу к нотариусу, все расходы я беру на себя.

ГЕОРГИЙ: Я сам в состоянии заплатить.

ЛЕОНОРА: Не будем торговаться.

ГЕОРГИЙ (не хочет читать документ): Как ты считаешь нужным.

ЛЕОНОРА: Все должно быть по правилам. Пей кофе, пока горячий,

ты же любишь кипяток. (*Читает вслух.*) Мы, нижеподписавшиеся, бывшие супруги Кирилловы, по согласованию друг с другом делим наше совместно нажитое имущество следующим образом: машина марки "Ока" стоимостью тридцать тысяч рублей остается у Георгия Валерьяновича Кириллова. Квартира общей площадью 105 квадратных метров — оформлена на Элеонору Вадимовну Кириллову.

ГЕОРГИЙ (*перебивает*)**:** Ты помнишь женщину — она приходила к нам в дом примерно год назад, просила милостыню?

ЛЕОНОРА: Мебель: кухонный гарнитур немецкого производства, комплект из шести вещей, стоимостью в одну с половиной тысячу, остается за Кирилловой Элеонорой Вадимовной.

ГЕОРГИЙ: Это была моя мать.

ЛЕОНОРА: Гарнитур-стенка стоимостью шесть тысяч рублей.

Георгий вырывает из рук листок, рвет.

ЛЕОНОРА: Я ей дала буханку хлеба и еще что-то из одежды.

ГЕОРГИЙ: Она не за милостыней приходила, она ко мне приходила.

ЛЕОНОРА: Нотариус попался хороший, просто прелесть. Жаль, мы не знали ее раньше, можно было бы пообщаться как с интересным человеком. Последнее время мы мало общались с яркими людьми.

ГЕОРГИЙ: Я говорил тебе, что мать умерла, когда мне было шестнадцать. Когда мне было шестнадцать, я ушел от нее, а умерла она в прошлом году, ее задушил любовник. Пришел из зоны, пили вместе, поссорились. Она никогда не была заслуженной учительницей России, она забеременела мной, когда поступила в педучилище, и бросила учебу. Сестер и брата видел на похоронах, они от другого. А ко мне подходил какой-то дядя Коля, всматривался, но заговорить побоялся.

ЛЕОНОРА: Зря ты порвал список, теперь мне нужно заново писать, потом посылать тебе, потом заверять у нотариуса — волокита.

ГЕОРГИЙ: Говорят, американские негры пели в блюзах о том, что они не хуже белых. Я устал петь блюзы. Тетка выволакивала меня из этого мучения, когда тебе стыдно за то, что воруешь, за то, что пихают тебя, за то, что голоден, за то, что грязь под ногтями, грязь внутри. Тетка отмывала меня и уговаривала: только не злись, только не обижайся. А я же не злюсь, я ненавижу, глухо ненавижу, потому что знаю, ненавидеть громко — неприлично. И знаешь, кого я ненавижу? Тех, кто себя уважает, как будто бы внутри нет гадости. Внутри каждого такие залежи, что лопатой не выгребешь, а чувствуют себя спокойно! С какой стати? Я мучаюсь, а они — нет, а разве я кого-то хуже? Разве я виноват, что меня не та мать

родила? (*Декламирует.*) Мы пришли в этот мир, чтобы жить достойно. Жить достойно — значит жить радостно. (*Леоноре.*) Что же ты не присоединяешься? Присоединяйся. Достоинства — хоть зад полоскай, а нерадостно чего-то.

ЛЕОНОРА: Во сколько поезд?

ГЕОРГИЙ: В 23.30.

ЛЕОНОРА: Поеду собирать тетку.

ГЕОРГИЙ: Я буду около дома в половине одиннадцатого.

ЛЕОНОРА: Я закажу такси, и мы с теткой выйдем на улицу. Александр приедет к поезду, он будет не один, с Анной. Говори, что едешь провожать тетку, и улыбайся. Главное — улыбайся!

ГЕОРГИЙ (*внезапно бросается к ней*)**:** Вцепись в меня, заплачь, ведь мы расстаемся навсегда!

ЛЕОНОРА (*вырывается*)**:** Ненавижу художественную самодеятельность!

Убегает.

Занавес открывается. Комната Старика. Старик лежит на кровати. Около него хлопочет София!

СОФИЯ: Не знаю, что ты так сильно расклеился. Ударил он тебя не больно. Сейчас многие дерутся. Ты же видишь, какая экология! Мы с Леонорой повисли у него на руках, так что он успел ударить только один раз. А ты, как будто бы тебя не били никогда, упал, потерял сознание. Много ли нам, старикам, нужно? Один раз ударить — и мы на том свете. Не надо так вытаращивать глаза, не пугай меня и Марту. (*После паузы.*) Как-то раз пошла на рынок капусты купить, у меня тогда муж был спортсмен — бегун, здоровый, Алексей, он постоянно на диете сидел, я ему то капусту, то морковь тушила. Вот пошла на рынок — и при мне мальчишку бьют, мальчишке лет семь-восемь, яблоки своровал, штуки три, по-моему, я сейчас не помню. Подбежала, стала кричать, что он мой племянник, что мой муж — прокурор, что я всех в тюрьму посажу, еле отбила. Он приходил ко мне почти каждый день, и каждый день я читала ему что-нибудь жалостливое, кормила, одевала в костюмчик и водила в театр. Каково же ему было потом снимать хорошую одежду и плестись к матери! Когда мать посадили, и он оказался в интернате, я платила учительнице музыки, наняла учителя по английскому. Он приходил ко мне каждую субботу и воскресенье. Я готовила, пекла, мы много гуляли. Он плакал по утрам в понедельник. Как он плакал!!! (*После паузы.*) Когда он заканчивал интернат, я уговорила его от-

казаться от матери. Только вчера я поняла, какой страшный грех совершила. Другим он не стал, он стал хуже. (*Старику.*) Только не умирай, разве можно прожить жизнь, чтобы никто не ударил? По улице пойдешь — и то пихнут! Квартира — это деньги! За деньги теперь наказывают. Кто бы знал, что деньги сейчас войдут в такую силу! Благородство — как дорога, кончается там, где лежат деньги. Деньги — куча, в кучу все и валится!

Старик садится на кровати, что-то просит подать.

Куда ты показываешь? Подать? Что? Гитару? Прости меня, господи, ты стукнутый своими песнями.

Дает ему гитару. Старик ее настраивает.

ПЕСНЯ СТАРИКА

Небо синее-синее,
а в лесу — тишина,
Мы идем с тобой, милая,
мы идем не спеша,
А вокруг, а вокруг
бабье лето,
листья падают,
мерно кружась,
Ты идешь со мной рядом,
красивая,
над моею любовью смеясь.
И пусть годы пройдут,
пройдут,
ты забудешь меня.
Но люблю тебя милая,
но люблю навсегда.
А вокруг, а вокруг
бабье лето,
листья падают,
мерно кружась.
Ты идешь со мной рядом,
красивая,
над моею любовью смеясь.

СОФИЯ (*тихо смеется*)**:** Когда ты пел, у меня перед глазами вставал огромный-огромный лес, деревья — ужас какие высокие, а мы как будто парим чуть над землей, движения медленные, мы держимся за руки, смотрим в синее-синее небо и улыбаемся. И деревья смотрят на нас и улы-

баются, золотые деревья. Вот уже сорок с лишним лет, когда я ложусь спать — я сначала представляю себе эту картинку, а потом уже засыпаю.

Старик улыбается.

Что ты так сильно улыбаешься? Никак не могу привыкнуть, что это у тебя нервы. Не нервы? Ты улыбаешься? Ты хочешь сказать, что у тебя то же самое?!

Старик кивает. София садится рядом, берет его руку.

Ты помнишь, какая буря разыгралась в Юзовке в ту нашу ночь, когда мы лежали в сарае? (*Вздыхает.*) Мы делали вид, что боимся бури, и поэтому не выходим из сарая. А в это время нас с факелами искали по всей деревне. Ты помнишь? По всей деревне!

Старик кивает.

Я успела добежать огородами мимо Меркушкиного дома, улеглась с постель, мама вернулась, а я ничего не знаю, сплю. Ну, опоздала немного, шла из Павловки от подруги, пришла — а мамы нет. (*После паузы.*) А когда ты уехал учиться, мама все равно узнала. Она не стала кричать и обзывать меня разными словами, как принято в приличных семьях, она договорилась с Потапихой. А я кричала, выла, — а куда было деваться, когда Потапиха резала меня по частям, а мама говорила откуда-то сверху чужим голосом: надо вытерпеть, надо вытерпеть? Мама долго ждала внуков, а потом поняла, что детей у меня не будет никогда, помню, она уже не вставала, взяла меня за руку, но я и так поняла, за что. Ты помнишь мою маму?

Старик кивает, и они долго сидят в оцепенении.

(*Внезапно София кричит.*) Зачем ты уехал из Юзовки? Зачем ты уехал? Зачем ты женился?!

Входит Леонора.

ЛЕОНОРА (*резко*)**:** Тетя, я вам много раз объясняла, что в панельном доме нельзя кричать!

СОФИЯ: Деточка моя! Я так взволнована, я так нервничаю из-за Георгия. Ему сейчас так трудно! Я уверена, он в первый раз в жизни ударил человека.

ЛЕОНОРА (*бросается к ней, хватает за руку*)**:** Тетя, этого не было, слышите? Не было никогда.

СОФИЯ (*выдергивая руку*)**:** Я поняла, я счастлива. Слышишь, старик, Георгий придет — и вы помиритесь. Главное — все простить друг другу, кто прощает, тот дольше живет!

ЛЕОНОРА (*собирая вещи*)**:** Тетя София, вы с Георгием сегодня уезжаете в Минск.

СОФИЯ: Я не собираюсь уезжать сегодня.

ЛЕОНОРА (*продолжая лихорадочно собирать вещи*)**:** А вас никто и не спрашивает.

СОФИЯ (*подходит к Леоноре, растерянно*)**:** Ты меня выгоняешь, деточка?

ЛЕОНОРА: Георгий вам все объяснит!

СОФИЯ (*берет Марту на руки, заискивающе*)**:** Леонорочка, будь такая добренькая, объясни нам с Марточкой сейчас.

ЛЕОНОРА (*не отрываясь от работы*)**:** Складывайте вещи, тетя София, и не испытывайте мое терпение!

СОФИЯ (*плачет*)**:** Я не хочу.

Старик подходит к Леоноре, пробует заступиться за Софию.

ЛЕОНОРА: Ты еще тут! Пришел делать мне замечания? Я тебя ненавижу! Я тебя всегда ненавидела, и чем больше от тебя восторга испытывали окружающие, тем больше я тебя ненавидела. Ты песню новую сочинишь, поешь, а у мамы в глазах сиянье, как будто бы не слышит, что песнито заезженные-переезженные. Художественная самодеятельность, светило местного значения. Ты только делал вид, что живешь с нами, а сам жил в одиночку, ты навязывал нам романтику вместо денег, врал, что жизнь — это поэзия. А у меня туфли приличные появились в восемнадцать лет, а в каком я пальто ходила в институте — стыдно было на улицу выходить. Зато имя какое — Леонора! Леонора в обносках — смейся кто может. Тебе всегда нужно было красоваться: ах, я с гитарой, ах, женщины, ах, зрители. Петух самовлюбленный! Правильно он тебе врезал, прости меня господи!

СОФИЯ: Деточка, что же ты такое говоришь?

ЛЕОНОРА (*кричит*): Не перебивать меня в моем доме! (*Бросает сумку на пол.*) Приду через час — чтобы ваши вещи, тетя София, были собраны.

Уходит так же стремительно, как вошла.

Старик ложится на постель, София садится рядом.

СОФИЯ: Прости меня, это я виновата! Я все подстроила. (*После паузы.*) Думаешь, я за место в этом доме воевала? В этом доме доброту выдают, как по рецепту, столовая ложка натощак. На них больно смотреть, как они мучаются, принуждают себя к доброте. Две красивых статуи, два твердокаменных человека. Кто им внушил, что жить красиво — это жить правильно?

Старик обнимает ее.

Не было дня в моей жизни, чтобы я не вспоминала о тебе и не мечтала бы к тебе прислониться, вот как сейчас. Когда увидела тебя больного, мне в голову не пришло пожалеть тебя, ведь ты так красив! И потом, мне показалось, что ты не изменился, ты и раньше мало говорил, все пел. Я толь-

ко одно поняла: тебе лучше, чем мне, я одна, а ты — с детьми, и даже внучка твоя, из-за которой ты мучения принимаешь, она плоть от плоти твоя, а я — никто. Тебе есть кого любить, а мне — только тебя!

Старик целует ее, подходит к столу, берет листок, что-то пишет.

СОФИЯ: Ты простил меня, простил? Я счастлива.

Старик отдает ей листок.

Что это? Записка? (*Читает.*) Леоноре?

Старик одевается.

Ты идешь гулять? Куда ты идешь?

Старик жестами объясняет.

Ты уходишь жить к Василисе? Правильно ты решил, абсолютно правильно. Так полагается: кому квартира и деньги, тот и должен ухаживать. Без денег мы никому не нужны. Это жизнь, не нужно обижаться. Подожди Леонору, она проводит. Мне не нравится твоя походка.

Бросается к нему.

Что за срочность? Подожди.

Старик отталкивает ее и уходит. София остается с запиской в руке, несколько мгновений стоит озадаченная, потом решается прочитать. Каково же ее изумление и испуг, когда она видит, что держит в руках чистый лист бумаги. София бросается к дверям, кричит: Вернись, Старик, вернись!

Авансцена. Леонора бежит по улице. Ее толкает мужчина, Леонора пробует уклониться, но мужчина опять и опять толкает ее. Леонора возмущена, но в мужчине она узнает Георгия. Георгий пьян.

ГЕОРГИЙ (*блажит*)**:** А поезд мчится мимо лужи. Судьба на новом вираже, давай пожмем друг другу руки, мы не увидимся уже. Стишок! Сам сочинил!

ЛЕОНОРА: В каком ты виде!

ГЕОРГИЙ: Ты пробовала когда-нибудь сочинять стихотворение? Пробовала, я видел тетрадку. (*Хохочет.*) Семья поэтов! Беда!..

ЛЕОНОРА: Ты пьян!

ГЕОРГИЙ (*вынимает бутылку*)**:** Стакан есть? Такая приличная тетя, а ходит без стакана! А я по-семейному, у нас в роду — все из горла!

Пьет.

ЛЕОНОРА (*вырывая из рук бутылку*)**:** Стыд какой! Кто-нибудь увидит.

ГЕОРГИЙ: Ты чего, как неживая? Увидят, услышат!! (*Пляшет вприсядку.*) Я — парень простой! У нас в семье все простые — братья мои, сестры, все вот такие! Уродцы. И я — уродец! (*Вынимает еще одну бутылку.*)

Простила меня? (*Открывает бутылку, пьет.*) Простила! За то, что Старика ударил... простила! Правила жить мешают: неприлично стариков бить, нельзя прощать, а хочется...

ЛЕОНОРА: Потому что он тоже виноват, он в первую очередь виноват, Где все те, для кого он пел свои песни, кто-нибудь вспомнил? Хоть кулечек конфет кто принес? А эта дрянь, ради которой он на казнь готов пойти, она много о нем думает? Я ему ближе всех. Я тоже пишу стихи, он хоть бы раз попросил почитать..

ГЕОРГИЙ: Он, не знает, наверное...

ЛЕОНОРА: Он никогда ничего обо мне не знал... Он даже не знал, что ничего не знает.

ГЕОРГИЙ: Когда мы судим их, мы казним себя... Я знаю, что говорю, я отрекся от матери.

ЛЕОНОРА: Эта женщина издевалась над тобой, как можно ее жалеть?!

ГЕОРГИЙ: Ты — статуя! Стоит статуя, в руках граната!

Убегает.

ЛЕОНОРА: Георгий, Георгий, ты в невменяемом состоянии, вернись, тебя кто-нибудь побьет.

Убегает за ним.

Квартира Леоноры и Георгия. Входит Старик, София пятится, как будто бы видит пришельца с того света. Старик проходит к столу, еще что-то пишет, подает Софии.

СОФИЯ (*читает*)**:** Пусть Леонора не звонит Василисе. (*Старику.*) Почему?

Старик машет рукой.

Что ты задумал? Я знаю, что ты задумал, я не пущу тебя, я на руках повисну.

Старик идет к двери.

СОФИЯ (*загораживает дверь*)**:** Не надо со мной бороться, я хорошо себя чувствую. Мы родились с тобой в один день. Ты умрешь — значит, и я умру тут же, а я не хочу умирать!

Старик пытается прорваться.

Хочешь умереть — черт с тобой, бросай меня, предатель, ты мне всю жизнь искалечил, предатель, ты теперь даже умереть собрался без меня. Подлец! Ничего, там с тебя спросят.

Старик прижимает руку к груди, целует руку Софии.

СОФИЯ: Нет, такое не прощается за спасибо, как честный человек ты обязан на мне жениться!

Старику смешно.

Хочешь жениться на молодой — я для тебя стара. Я это предполагала.

Старик пытается опровергнуть домыслы.

У меня комната в Минске. Ты когда-нибудь был в Минске?

Старик машет рукой: давно.

А теперь это совсем другой город, совсем другой. (*Берет Марту на руки.*) Марта, кошечка моя. Старик хочет посмотреть наш город, пригласи человека как положено.

Старик улыбается.

Вот и билеты на поезд, давай, Старик, поворачивайся, мы можем опоздать!

На авансцене Леонора и Георгий.

ЛЕОНОРА: Как ты поедешь в таком замызганном виде, пойдем домой, приведешь себя в порядок и чаю попьешь.

ГЕОРГИЙ: Поднимусь, попрошу прощения у Старика. Это уж его дело, простит или нет, но я должен.

ЛЕОНОРА: Нужно спешить, до поезда остается полтора часа.

Уходят.

Квартира. София и Старик с гитарой за спиной, они спешат к выходу. Входят Георгий и Леонора.

ГЕОРГИЙ (*Старику*)**:** Старик, я уезжаю. Неказисто получилось... Прости, если можешь.

СТАРИК (*с трудом выговаривая*)**:** Леонора, ты похожа на маму...

Пауза.

Всеобщее изумление.

ЛЕОНОРА: Папа, ты заговорил!

СОФИЯ: Недаром Георгий тебя ударил, ой недаром, клин клином вышибают.

ГЕОРГИЙ (*Старику*)**:** Не держи на меня зла, Старик, ты сильнее меня. Ты должен простить.

ЛЕОНОРА (*замечая гитару и вещи*)**:** Папа, что ты задумал?!

СОФИЯ: Не кричи, деточка, я тебе сейчас все объясню. Дело в том, что мы со Стариком родились в один день.

ЛЕОНОРА: Ой, тетя София, при чем здесь ваши истории?

СОФИЯ: Мы хотим умереть в один день, поэтому мы решили пожениться!

ЛЕОНОРА (*Георгию*)**:** Ее лечить надо, у нее — старческое.

СОФИЯ (*тащит вещи к двери*)**:** Нам некогда болтать, у нас поезд от-

ходит. Старик едет со мной. И Марта с нами. Марта, девочка моя, прыгай мне на руки!

ЛЕОНОРА: Папа, как тебе не стыдно?! Долго ты еще будешь мучить меня своими выходками?

СОФИЯ (*кричит Леоноре*)**:** Я тебе его не отдам — я никому его не отдам, я буду кусаться, и Марта будет кусаться. Я полюбила его, как только родилась, в ту же минуту. Я любила его всю жизнь, и сейчас люблю, а вы разинули рты, чтобы сказать пошлость: любовь — это удел молодых! Любовь — это любовь, и возраст здесь ни при чем, я не знаю, сколько я буду счастлива, возможно, до первого паралича, а быть может, пока не отключусь насовсем, но вы не можете мне возразить, что господь плохо настроен по отношению к Софии! Бог уважает настоящую любовь! Ведь ты уважаешь меня, господи?!

ГЕОРГИЙ: Тетка, я который раз преклоняюсь перед тобой!

СОФИЯ (*Старику*)**:** Песню, Старик!

Старик настраивает гитару, они поют вместе с Софией.

Детский садик, где пчелиный рой,
Там детишки бегают гурьбой,
Там играют и поют,
За руки берутся и бегут.

СОФИЯ: Дети, проводы считаю открытыми, мы ждем вас у подъезда.

Старики удаляются с песней.

Леонора и Георгий некоторое время стоят без движения.

ЛЕОНОРА: Этого я ему никогда не прощу! Лель престарелый!

ГЕОРГИЙ: Потому что ты — твердокаменная.

Леонора закатывает ему пощечину.

Ты чего руки распускаешь?

ЛЕОНОРА (*кричит*)**:** Бросайте меня все! Не любите! Меня всегда любили в последнюю очередь. У тебя есть любовница! Подонок! Убирайся, или я разобью вазу о твою голову!

ГЕОРГИЙ: Леонора, ты вопишь, как базарная баба!

Комната погружается в темноту, слышна яростная ругань, переходящая в битье посуды, женский плач, а над всем этим небесным куполом возникает и звучит светлая возвышенная музыка. В ней драматизм и изящество, легкость и щемящая грусть, в ней нескончаемое движение, которое называется ЖИЗНЬЮ.

Нижний Новгород

Одесса — Париж — Москва
Воспоминания художника

От редакции. Это отрывки из воспоминаний, которые подготовила и любезно предоставила редакции внучка А. Нюренберга, дочь писателя Ю. Трифонова Ольга Тангян, живущая в Дюссельдорфе.

Амшей Маркович Нюренберг родился в 1887 году в Елисаветграде, умер в 1979 г. в Москве. Учился в Одесском художественном училище, жил в Париже, оставил книгу мемуаров.

Профессор Бомзе



Амшей Нюренберг. Автопортрет

Одесса, 1911 г. Нежно-голубой вечер. Сижу на берегу моря и пастелью пишу белые с высокими охристыми парусами яхты. Вдали, под крутой синеющей горой, люди и дымок. Вероятно, готовят уху.

Для художника — романтическая тема. Вдруг позади меня громкий веселый голос:

— Наконец вас поймал! Полгода ищу. Есть для вас интересная и благородная работа — портрет моей покойной дочери...

— Охотно берусь.

— Приходите, договоримся. Вот мой адрес. Жду вас завтра в это же время.

Он оторвал листок из блокнота и карандашом быстро написал: Софиевская, 1б, квартира 8, профессор Бомзе. И, передав листок, бросил:

— Жду вас!

— Обязательно приду, профессор.

Затем, извинившись, что оторвал меня от творческой работы, растаял в вечерней голубизне.

Заказ перед поездкой в Париж был очень нужен, и я не заставил себя долго ждать. На второй день вечером я зашел к профессору. В его светлом кабинете, заставленном стеклянными шкафами, остро пахло нафталином и табаком. Пол был устлан выцветшими украинскими коврами. В углах стояли мощные гордые фикусы.

Профессор открыл один из шкафов, достал большой обвязанный шелковой лентой пакет. Дрожащими руками развязал его и с величайшей осторожностью вынул серо-розовое платье. Оно было подобно куску застывшего розового облака.

— Вот ее любимая шляпа, туфельки и фотографии, — сказал он упавшим голосом.

Я взглянул на него. Глаза его были полузакрыты, и кончики мягких усов вздрагивали.

— Может быть, не стоит рисовать портрет? — тихо спросил он. — Я думаю, фотограф не сможет воспроизвести ее тонкий облик. Как вы думаете? Я верю, что только художник-портретист сумеет передать ее образ и состояние.

Я молчал.

— Пишите, — сказал он полушепотом. Он никак не мог решиться отдать мне в руки дорогие для него фотографии и вещи.

— Пишите, — повторил он, волнуясь. — Но вы не должны прикасаться к моим вещам. Это мое условие. Вы согласны?

Я согласился.

Каждое утро он в кожаном чемоданчике приносил платье, шляпу и туфли. Стряхивал с них серебристые чешуйки нафталина и раскладывал все это на стуле. Потом он устраивался на подоконнике у окна, задумчиво разглядывая за окном цветущие белые акации. Много курил и изредка произносил отрывистые слова.

Он внимательно следил за моей работой и щедро давал советы. Критиковал, иронизировал, мешал мне сосредоточиться и уловить то неуловимое, что было в этих пожелтевших фотографиях и что видел он и не мог увидеть я.

Чувствовалось, что работа моя его волновала, что он жалел о затеянном. После сеанса он долго и осторожно укладывал вещи в чемоданчик и несколько минут, щурясь, простаивал около портрета.

Склонив голову, он глухо, с возмущавшей меня непочтительностью спрашивал:

— Штрихи останутся?

— Нет, их не будет. Это подготовка...

— Глаза уже сделаны? В них нет жизни! Это не ее глаза! Они не светятся! — у него начинали трястись руки, и я, подавив в себе раздражение его разговорами, начинал снова переделывать и переписывать лицо его Леночки. Как-то, придя ко мне, он, волнуясь, спросил:

— Не думаете, что лучше было бы написать мою Леночку на фоне цветущих акаций. Это было бы очень поэтично! Вы изобразили бы два цветения.

— Впрочем, — добавил он шепотом, — не нужно теперь усложнять работу. Вы замучаетесь...

Поглядев куда-то вверх, он тоскливо продолжал:

— Да, вы правы. Кончайте портрет. Я не дождусь конца...

Немного погодя он повторил:

— А насколько это было бы поэтичнее показать две жизни, два цветения... девушки и акации.

Слишком трудную, почти невыносимую задачу ставил он передо мной. Меня утомляло его курение, раздражали высокомерие и равнодушное непонимание живописи, но я должен был закончить эту работу и получить за нее плату.

Больше всего я работал в минуты, когда он, досыта накурившись, впадал в состояние, похожее на забытье. В такие минуты я выжимал из себя все, что мог. Палитра моя пестрела красками, и я радостно и быстро старался что-то поправить и улучшить.

Придя в себя, профессор тупо рассматривал портрет и снова начинал меня терзать.

— Нет, нет. Теперь для меня уже ясно: живопись — это выдумка.

И погодя, добавлял:

— Мы на разных точках зрения. Вы думаете о красивых колоритных красках, о подмалевках, о темпераментных мазках, а я мечтаю на холсте увидеть свою любимую дочь, дорогую Леночку... свою незабываемую Леночку...

— Бросьте работать! — сказал он после восьмого сеанса. — Ничего не выйдет. Даром время теряем.

Он подошел ко мне и истерически зашептал:

— Я пришел, чтобы забрать портрет, палитру и кисти... и все это сжечь...

— Как? — удивился я.

— Да, да, — заторопился он. — Я твердо решил это сделать.

Лицо его выражало решительность и злобу.

Глаза его горели, рот был сжат.

Я понял, что спорить с ним было бессмысленно. С грустью я решил попрощаться с неоконченным портретом. Ничего не выйдет. Но кисти и палитру, к которым я привык, мне стало жаль, и я попытался их спасти.

— Профессор, вы очень жестоки. При чем здесь палитра и кисти? Не трогайте их.

— Я не хочу, — сказал он, — чтобы вы ими кого-нибудь еще рисовали.

Мне пришлось ему уступить.

Не глядя на меня, он торопливо вынул из бумажника три красных бумажки и дрожащей рукой бросил их на стол.

— Думаю, — сказал он сквозь зубы, — что этого достаточно.

Я отошел к окну.

Поспешно завернув в газету палитру и кисти, он одной рукой схватил чемоданчик, другой — портрет. И шагом человека, которого незаслуженно жестоко обидели, направился к двери.

Лавочник-философ

Художественные материалы я покупал в небольшой лавочке, находившейся неподалеку от школы на Преображенской. Над входом висела яркая вывеска, вызывавшая во мне образ солнечной Африки.

Жену Шварцмана называли "тихой Рейзат". Это была рембрандтовская старуха с приподнятыми узкими плечами и покорными сияющими глазами. Она не любила длинных разговоров и умела в двух-трех умно сказанных словах выразить очень многое.

Детей у Шварцманов не было. Их заменили жившие на верхней полке пышные кремовые голуби и два сибирских кота.

Шварцман был философ, на жизнь и людей он смотрел сверху или сбоку. Он считал мир творением не бога, а черта и его приятелей. "Бог, — говорил он, улыбаясь и щурясь, — давно в отставке. Он, как старый николаевский солдат, живет одними воспоминаниями о боевом прошлом". Два правила — "ничему не удивляться" и "беречь сердце и желудок" — руководили всем его бытом и жизнью.

Эти правила он и мне старался привить.

— Вас все волнует, — говорил он, глядя в мое лицо мягкими глазами. — Не набрасывайтесь на жизнь, в ней ничего нет вкусного... Она дает одну изжогу.

Однажды я решил попросить у него взаймы немного денег.

В Одессе была весна, наполнявшая меня до краев, чудесная весна. В парках

цвели акации, сирень. Улицы были залиты густым ярко-желтым хмельным солнцем, а море так посинело, что казалось подкрашенным ультрамарином.

У меня завелась одна рыжая курсистка с бронзовым телом. Веселая, болтливая. Она умела ярко улыбаться и образно рассказывать о своей родине и детстве. Я ее часто рисовал на берегу моря на фоне облаков. Ей это нравилось, и она охотно позировала. Все шло хорошо. Но одно меня огорчало — это моя одежда, и особенно штаны. Они были ужасны: потертые у швов и промазанные красками на коленях. Буду краток. Мне нужны были новые штаны, хорошие тонкошерстные штаны рублей на шесть, а может, и семь. На толкучем рынке я встречал такие. Мне хотелось предстать перед моей рыжеволосой обязательно в победоносных штанах. Но где достать денег, чтобы купить их? И тут я вспомнил о Шварцмане. Он, я знал, меня поймет. Он добр. Я ему в грустных выражениях расскажу о моей драме. Он будет тронут. Я двинул к старику. Придав лицу печальное выражение, я зашел в знакомую лавочку. Мой трогательный тон показался мне убедительным. Старик меня внимательно выслушал. На его мягком носу дремали темно-синие очки. Шварцман, видимо, волновался. Но это хороший признак. После волнений у него наступала реакция, когда он добрел. Итак, я был близок к удаче.

— Друг мой, — начал Шварцман, медленно снимая очки, — я вам денег не дам...

И, подойдя ко мне мягкими шагами, ласково, но внушительно, добавил:

— И знаете, почему? Потому что я не хочу вас потерять.

Я недоуменно смотрел на его очки, стараясь через яркую холодную синеву стекол проникнуть в казавшиеся мне всегда освещенными добрым огоньком глаза. Заметив, какое впечатление произвели на меня его слова, он продолжал, растягивая время:

— Вы, я вижу, меня, друг мой, не поняли. Подумайте хорошенько над тем, чем кончится моя любезность. Я вам дам шесть или семь рублей. Хорошо. Получили — и адье. А потом? Потом знаете, что получится? Денег лишних, чтобы отдать мне долг, у вас не будет ни завтра, ни послезавтра, ни через год. Вы только не делайте больших глаз, как сова, — перебил он себя, — и слушайте меня. Вы меня начнете избегать, а потом возненавидите. Верно говорю? И все это за мое доброе дело... Так зачем мне делать глупость, если я могу ее не делать? Денька два будете дуться на меня, потом все забудете, словом — вы опять мой дорогой гость.

Он отечески мягким жестом протянул свои сухие бледные руки и, наклоняясь ко мне, шепотком произнес:

— Скажите, что я неправ.

Я молчал.

* * *

Шварцман имел свои взгляды и на живопись. Он любил со мною поговорить об искусстве. О его назначении и целях. Он посещал выставки, знал многих художников и следил за их работой.

Он наливал себе и мне большие граненые стаканы крепкого чаю, клал себе три, мне два куска сахару и, прищурив глаза, начинал поучать меня. Очки лежали на столе, дожидаясь взволнованных моментов речи.

— По-моему, — важно начинал он, — большим художником может быть только портретист. Учись, мой юный друг, быть портретистом. Самое трудное и самое возвышенное искусство — портрет. Человеческое лицо.

Наступал момент жеста. У него был удивительный природный дар придавать своим жестам любой психологический характер и оттенок.

— Человеческое лицо... Что может быть более интересным и волнующим? Глаза, видевшие горе и несчастье, глаза, знающие, что такое слезы. Рот, который не только поглощал пищу, но и произносил проклятия, стонал и охал... Лоб, светящийся мыслью, духом сопротивления, критикой, или лоб, который обо всем передумал, все познал. В каждой морщинке есть своя жизнь, свои радости и страдания. Ничего нет интереснее человеческого лица, Пейзаж вещь хорошая, но он не знает, что такое страдание, а без страданий не может быть и глубоких художественных работ. Я люблю море, восхищаюсь лесом, речками, но скажите, если в лесу или у моря разбойники на ваших глазах нападут на вашу родную мать, изнасилуют и убьют ее — разве лес или море хоть единым движением ответят на это? У природы нет ни души, ни сердца.

— Поэты и художники другого мнения, — вставляю я робко.

— Поэтам и художникам можно так же верить, как весной девятнадцатилетней девушке. Слушайте дальше. Кто на этом свете больше всех страдает? Бедные и нищие. Поглядите хорошенько на них — и если у вас сердце не замусорено всяким хламом — вы меня поймете. Только бедных и нищих должен рисовать художник. Только их. Их лица интереснее, богаче лиц богачей...

Голос его становится глуше, словно отодвигается он все дальше и дальше. Опять пауза. Шварцман долго вздыхает и, покачав головой, задумчиво прибавляет:

— Если бы у меня был талант, я бы, как ваш Рембрандт, рисовал только бедных людей. Он понимал, что такое красота и где ее нужно искать. Мудрый был человек.

* * *

Шварцман учил меня также умению жить и работать.

— Художник должен быть похож на ученого рабби, — неспешно говорил он, подбирая и обсасывая слова. — Он должен с утра до вечера сидеть дома и работать. На разглядывание жизни и участие в ней он должен тратить только десять процентов. На еду, женщин и всякие другие удовольствия — тоже десять процентов, а остальные восемьдесят процентов должны идти на картины. Поняли, мой юный друг? Еще лучше, конечно, если художник на свою работу тратит девяносто процентов, тогда он наверное чего-нибудь добьется. У художника должно быть твердое, но не как камень, сердце и крепкий, ничего не боящийся желудок. С женщинами он может встречаться только раз в месяц.

Судьба каждому дает только один золотой. И нужно суметь его бережно и умно использовать. Один себе накупит детских игрушек и сластей, другой вина и паюсной икры, а третий — книг, учебников и простого житного хлеба. Каждый человек имеет свою дорогу, свои ямы и свою непогоду. Скажите, что я неправ?

Он умолкает, смотря на меня с подчеркнуто нежной и иронической улыбкой. Наступает торжественная пауза. Выпив стакан чаю и неспешно вытерев свои прокопченные табачным дымом усы, он продолжает:

— Бог не вмешивается в такие дела. И не потому, что он стар и глух, а потому, что дела эти для него мелкие. Ум есть, глаза тоже — действуй по собственному разумению.

К концу его речи синие очки уже покоятся на горбатом носу. Он их бережно снимает и кладет на стол, рядом с сахарницей.

— Так, так, мой друг... Берегите вашу золотую монету. И если будете тратить ее, десять раз подумайте над тем, чего целесообразнее купить. Помните — другой вы уже не получите.

Я пристально гляжу ему в глаза. Спокойным и неподвижным взором он встречает мой взгляд. Бледные старческие губы улыбаются.

— Еще выпьем по стакану хорошего чаю? — с чувством спрашивает он.

— Выпьем, — радостно отвечаю я.

Саша из "Гамбринуса"

Раз в неделю вечером к нам приезжал наш меценат и друг художников — инженер Оскар Мишкиблит. Он покупал у нас этюды и давал деньги на краски и холсты. Он брал двух извозчиков, усаживал на них всю

компанию (Юхневича, Фраермана, Бориса Успенского, Малика, меня и мою жену) и отвозил нас в известный в то время ресторан "Зимний садок". Там играл воспетый Куприным знаменитый Саша. Завидев нас, скрипач в знак радостного приветствия поднимал над головой скрипку и несколько минут торжественно держал ее.

Он знал, что мы художники, ценил и любил нас. Меценат Оскар заказывал для нас богатый ужин с пивом Санценбакера и свободной музыкой.

Нам казалось, что Саша весь вечер играл только для нас.

Мы без конца чокались с ним. Пили за его счастливый талант и былое здоровье, за его удивительную скрипку. Он много пил, но никогда не бывал пьян. Мы любовно разглядывали его глыбообразную фигуру с огромным животом, его выразительное женское лицо с выступающей челюстью и глубоко сидящими маленькими горящими глазами.

Мы его рисовали. На рисунках делали нежнейшие надписи. Он благодарно улыбался, но рисунков не брал. Он знал песни всего мира и передавал их со всеми присущими им национальными особенностями. Саша играл под сурдинку и речитативом напевал их. Его горячо любили моряки всех стран, он хорошо знал, как волновать их крепкие сердца. Часто мы видели, как здоровенный моряк-детина, сидя за столом с кружкой пива, под звуки его скрипки плакал, как ребенок. Особенно нам нравились две песенки, напеваемые беднотой. В одной — молодой человек упрашивает свою возлюбленную не прислушиваться к тому, что нашептывает ей ее недобрая мать. В другой — сапожник после выпитого стакана красного вина мечтает о завоевании мира.

Это был замечательный виртуоз трактирно-ресторанной музыки. Его удивительное творчество, приносившее нам много радости, запоминалось. Часто, чтобы поднять рабочее настроение, мы напевали сашины песенки.

Нападение

В 1918 году в студии "Свободная мастерская", которой я руководил, занятия шли бесперебойно. Днем живопись, вечером рисунок. На рисунок (обнаженная модель) приходило много художников: Фраерман, Елисеевич, Фазини, Гозиасон, Константиновский, Мидлер и Малик.

В Одессе жилось нелегко. После бегства немцев город был захвачен австрийскими оккупантами. В них было нечто опереточное. Они вошли в город с бравурной музыкой, разноцветными флагами и транспарантами. Смена оккупантов была беспрерывной. Исчезли продукты. Рынки были

закрыты. Город лихорадило. Появились воры и налетчики, руководимые их вождем, косоглазым Мишкой Япончиком.

Как-то раз поздно вечером, возвращаясь из студии, мы с Фраерманом шли по Екатерининской и по обыкновению вели оживленный разговор на любимую тему — о Париже. И вдруг на углу Троицкой нас остановили два налетчика с револьверами.

Один громко скомандовал: "Стой! Руки вверх!".

Мы остановились. Подняли руки. Налетчики ловко и быстро начали нас обшаривать.

— Сема, — воскликнул один, — я у них в карманах нашел хлеб. Они говорят, что художники, но это голодранцы... Что с ними делать?

— Отпустим их, — разочарованно сказал другой.

Нас отпустили.

— Идите, только не оглядывайтесь, — раздраженно добавил он.

И они нас крепко выругали.

Нас спас хлеб, который мы брали для стирания угля на рисунках вместо исчезнувших в городе резинок.

Пройдя шагов пятьдесят, мы остановились, оглянулись. Их и след простыл. Мы рассмеялись.

— Какое счастье, — сказал, радуясь, Фраерман, — что они не сняли с меня дорогое парижское пальто! Что бы я делал?

Поблагодарив судьбу за доброту, а воров за деликатность, мы весело распрощались и разошлись по домам.

Одесские художники и море

Может показаться странным и даже невероятным, что одесские художники море не писали. Такие мастера, как Кириак Костанди и Петр Нилус ни одного морского пейзажа нам не оставили. Вспоминаю, как-то в мастерской Костанди я случайно увидел небольшой этюдик, написанный, очевидно, для какой-то картины. Темно-синяя балюстрада и позади нее крохотный кусочек голубовато-розового моря.

— Это, — подумал я, — вся дань, которую Костанди отдал морю... Художник, который два раза в день проходил мимо моря (его дача находилась на 12 станции около моря).

Прожив рядом с морем почти всю жизнь, известный акварелист (в старом словаре он был назван королем акварелистов) Геннадий Ладыжинский написал только один большой морской пейзаж (маслом) "Пересып-

ский порт". Но и на этом пейзаже море было заслонено большим количеством кораблей и парусов.

Не писал также море певец одесской осени великолепный пастелист Дворников.

Другие одесские художники (малые мастера) — Головков и Бальц — увлекались больше романтикой одесского порта.

Долго я не мог понять, почему одесситы не пишут морских пейзажей, и только спустя много лет, когда я начал писать море, мне стала понятна причина их морефобства. Одесские художники любили море с его удивительной романтикой, восхищались им, часами просиживали около него и морские темы считали богатейшим живописным материалом, но они не могли освободиться от влияния старых олеографических традиций, которыми жили маринисты. Не было знаний, творческих сил писать море таким, каким его чувствует сегодняшний художник.

Они хорошо понимали, что море теперь нельзя писать так олеографично, как в прошлом веке писали Айвазовский, Судковский, Лагорио и одессит Попов.

Очевидно, нужны были новые, неакадемические средства выражения. Я убежден, что, изучив импрессионистские решения морского пейзажа таких новаторов, как Клод Моне, Эдуард Мане, молодые одесские художники, любящие море, писали бы его ярко, темпераментно и колоритно, и что фактура в их работах была бы богатой и красивой. Одесским художникам была чужда живопись с клеенчатой и стекловидной фактурой. Тогда и в одесских музеях висели бы звучные, гармоничные и романтические изображения моря. Полотна, которые напоминали бы сибирские самоцветы.

Профессора медицины — художники

Все знают, что Одесса дала много выдающихся музыкантов, поэтов, писателей, художников, но мало кто знает, что Одесса дала группу видных профессоров медицины — художников. Это были не любители искусства, а видные ученые, профессионально занимавшиеся живописью.

Они активно участвовали в одесской художественной жизни: устраивали выставки с обсуждениями и организовывали изовечера с докладами.

Назову наиболее известных — анатома Лысенкова, автора известного учебника по анатомии. Он также написал пластическую анатомию для художников. К сожалению, учебник был напечатан в небольшом тираже и быстро разошелся. Достать его невозможно. Лысенков был последовате-

лем постимпрессионистов. И своими учителями считал Матисса и Гогена. Он писал преимущественно натюрморты. Писал он их в анатомическом театре, где на цинковых столах лежали анатомируемые им трупы.

Лысенков ставил столик, накладывал на него яркие южные фрукты и овощи и с большим завидным увлечением писал их, демонстративно показывая, что искусство у него на первом плане.

Своим друзьям он часто говорил: "Человеческая энергия неутомима. Нужно только ее чередовать". Свою нежную любовь к живописи он выражал шутливой фразой: "На том свете я буду заниматься только живописью. Анатомию брошу...".

Лысенков успешно участвовал на многих больших выставках.

Профессор Снежков читал лекции в университете о болезнях уха, горла, носа. Постоянный участник южнорусских выставок. Писал осенние цветы в ярких кувшинах. Краски у него были нежные, лирические.

Живописью также занимался знаменитый окулист Филатов. На выставках он редко выставлялся. Писал выдуманные им пейзажи и раздаривал их своим друзьям.

К этой плеяде медиков-художников надо отнести и профессора-кожника Николая Юхневича, бывшего члена общества "Независимых". Несколько лет назад в Одессе была его персональная выставка. Юхневич большой и тонкий поэт. Пишет портреты, пейзажи и натюрморты. Его пастели свидетельствуют о высокой живописной культуре и большом вкусе. Он много рисовал. Его рисунки выразительны и полны жизни. Он также успешно работал в области карикатуры.

Доктор Циклис

Заболевая, мы обращались к известному доктору Илье Циклису — неизменному другу музыкантов и художников, которых он бесплатно лечил, согревал морально, а иногда и поддерживал материально.

Это он выпестовал и воспитал наших известных музыкантов: Ойстраха, Гилельса и Марию Гринберг.

Циклис недавно умер. Ему было восемьдесят шесть лет. Его хоронила вся любившая его Одесса, пришедшая на похороны с печальными влажными глазами и с большими букетами цветов.

Каждый, пришедший на похороны, тепло вспоминал его редкую, оставившую в душе светлый след доброту.

Молдаванская беднота, которой Циклис отдавал свое сердце и очень

часто свои сбережения, приехала на улицу Розы Люксембург, где жил и работал Циклис, чтобы попрощаться с ним. Он умер, как и жил — просто и философски.

В предсмертные минуты он душевно попрощался с лечащими его врачами и друзьями, повернулся к стене и сказал: "Все кончено".

Зозуля

1927 год. Париж. Улица Барро, гостиница "Сто авто". Первый за всю зиму снег. Рыхлый, жиденький. На один-два часа. Париж — романтический пейзаж, написанный молодым Клодом Моне. Тянет взять кисточку, но ноги и руки зябнут. И потом, поставишь мольберт и начнешь писать — а снег растает...

В моем рабочем районе поселился приехавший из Москвы писатель и редактор "Огонька" Ефим Зозуля. Он приехал отдохнуть, поглядеть Париж и поучиться живописи. В то время он занимался не только литературой, но и живописью, и хотел пожить "жизнью художника".

— Это была моя тайная навязчивая мысль, — говорил он.

Я постарался его "приклеить" к живописи. Показал ему Люксембургский музей, салоны и магазины картин. Зозуля себя чувствовал счастливым.

— Столько живописи, захлебнуться можно, — говорил он.

Особенно его интересовала современная живопись, живопись последних дней. Ему хотелось поучиться французскому колориту и фактуре. Он мне рассказывал, что в молодости мечтал быть художником. Много рисовал, писал, но жизнь оторвала его от живописи и бросила в литературу. В Париже он решил хоть на некоторое время вернуться к живописи. Когда я ему посоветовал поработать годика два и написать 25–30 полотен, устроить персональную выставку и показать себя, Зозуля, улыбаясь, отвечал: "Что вы, что вы, Амшей! Мне этого никак нельзя. Вы не знаете наших писателей. Это очень злой народ. Они тогда обязательно скажут, что настоящее призвание Зозули — живопись".

Мещанинов

Среди русских скульпторов, совершенно слившихся с французской культурой, имя Оскара Мещанинова — одно из самых ярких. Тонкий, чисто французский вкус, острое чувство ритма и пластичности, большие знания ремесла скульптуры (современной и музейной) — характерные черты его творчества.

Мещанинов принадлежит к группе неоклассиков (Майоль, Деспио, Бернар), в лице которых он нашел своих первых учителей. Его работы не являются "сколками жизни", он не копирует натуру, являющуюся для него только трамплином. Его образы точны: они носят следы глубокого размышления. Его типы и жесты скромны и благородны, а средства выражения, которыми он пользуется, связаны не столько с характером и формой изображаемого лица, сколько с характером и формой самого скульптурного материала. Его знания музейной скульптуры (особенно готики) велики и строги и служат коррективом в его медленном и упорном труде. Работы Мещанинова следует рассматривать, прежде всего, как красиво обработанные массы камня и бронзы (влияние Бернара).

* * *

В его понимании задач скульптуры чувствовалась большая строгая культура, вызывавшая восхищение. Мы всегда верили его благородному и возвышенному вкусу и удивлялись его безошибочным оценкам. Он недолго жил, но все созданное им свидетельствовало о большом крепко завоеванном творческом опыте. Часто я себя спрашивал: откуда в этом витеблянине такая высокая культура искусства?

Его ум, тонко отшлифованный парижской жизнью, меня покорял и согревал. Он чувствовал не только современность, но и будущность, о которой он говорил как о настоящем. Его доброта покоилась на двух принципах: на чувстве сердца и чувстве ума. Он любил людей всех видов и умел их завоевывать на долгие годы.

* * *

Оскар Мещанинов родился в белорусском городе Витебске, городе, давшем русскому искусству Шагала и ряд других интересных художников и скульпторов. Первые уроки по скульптуре он получил в Одесском художественном училище (1905-1906). В 1907 году он отправился в Париж, где работал в школе декоративного искусства и мастерской известного скульптора Мерсье. С этой эпохой связаны его первые серьезные работы и первое участие в Салоне Национального общества. В 1911 году в Осеннем салоне появляются его три головы, две из бронзы и одна из азиатского мрамора.

В это время он под руководством оказавшего на него большое влияние Жозефа Бернара выполняет ряд ответственных декоративных работ. В 1914 году он уезжает в Россию. Живет и работает в Петербурге и Витебске. По возвращению в Париж в 1916 году Мещанинов со всей присущей ему энергией и волей приступает к ряду задуманных им больших и слож-

ных работ. Наступают годы кропотливого и упорного труда. Появляется его ставшие известными камни и бронзы. "Человек в цилиндре" (бронза) был выставлен в Осеннем салоне в 1922 году и обратил на себя внимание всего художественного мира Парижа. В этой скульптуре поражает необычайное сочетание нагого тела с цилиндром. Такую странность следует рассматривать исключительно как некий формальный замысел. Контраст между формой цилиндра и формой тела — и организуемая им гармония — вот главная идея автора. "Человек в соломенной шляпе" (бронза) относится к периоду 1922-23 годов. "Девушка с букетом" (камень) — следующая работа Мещанинова. Она была выставлена в Осеннем салоне в 1925 году и так же, как "Человек в цилиндре", пользовалась большим успехом. О ней критика писала: "Девушка с букетом" Мещанинова — искусство, от которого веет истинным благородством".

В 1926 году Мещанинов совершил поездку в Индокитай. В последние годы творческой жизни он страстно увлекался индусской скульптурой и готикой.

В 1928 году Мещанинов привез в Москву в дар советской власти свою скульптуру "Девушка с цветами". Работа находится в Третьяковской галерее.

О его творчестве написано много больших и малых статей во французских, немецких и английских журналах. Некоторые критики (Рамбоссон) причисляют Мещанинова к плеяде крупнейших мастеров современной Франции.

* * *

Разбогатев, даровитый скульптор построил себе на опушке Булонского леса (Авеню де Пенн) двухэтажный особняк. Строил его знаменитый архитектор, новатор Ле Корбюзье. Это, кажется, был первый особняк, построенный в Париже еще не признанным гениальным архитектором.

* * *

Мещанинов славился своим высоким вкусом и непотухающим жаром тонкого коллекционера. Он собирал новейшую, часто еще не признанную прессой живопись (это он открыл Сутина), индусскую скульптуру и восточную майолику. Но все это не так сильно его волновало, как русская музыка. Он мог долго горячо говорить об огромнейшей душевной силе Чайковского, Мусоргского, Стравинского и Прокофьева. У него была большая коллекция пластинок русских опер, песен и романсов. Он любил заводить патефон и под звуки старой и новой русской музыки лепить свои великолепные скульптуры. Мещанинов дружил со всеми выдающимися скульпторами и живописцами нашего времени и стремился привить им

страстную любовь к русской музыке. Чтобы ближе общаться с русской музыкой, он женился на талантливой пианистке — дочери известного дирижера Купера.

Последние записи в дневнике (1975-1979)

Когда я в молодости карабкался, взбирался на гору и часто уставал, мой друг Валентин мне поучительно говорил:

— Все нормально. Ты создаешь свою карьеру.

Жизнь, точно сон, быстро промчалась. Я постарел. Надо было спускаться с горы. Я цеплялся за травы и камни, мечтал только об отдыхе. Валентин опять поучал меня:

— Все нормально. Ты ищешь угла, чтобы отдохнуть от своего труда. Быть ближе к небосклону.

* * *

Мы встретились у подножия горы. Я спускался, он поднимался.

* * *

Живу, точно затерт льдами.

* * *

Результат оказался неожиданным. Я остановился на полуслове. Не могу работать. Не тот душевный настрой.

* * *

Страдания бывают разные и по форме, и по содержанию. Их так много, что сосчитать невозможно. А радости даются редко и в граммах. Точно небольшие таблетки от головной боли.

* * *

Судьба меня поселила на теневой стороне улицы и всю жизнь обещала переселить на солнечную.

* * *

Tout casse, tout passe.

* * *

Члены группы известной РОСТы имеют право вне очереди на Ваганьковскую дачу.

* * *

Русская матерщина меня три раза спасала от смерти, а может быть, в лучшем случае, от инвалидности.

Первое знакомство с французским языком (когда я жил в Париже) мне принес Мопассан. Я выучивал целые страницы по методу моего друга Ме-

щанинова. Второе знакомство мне дал мешочек с письмами двух влюбленных. Этот мешочек я нашел во дворе моего отеля в мусорном ящике.

* * *

1975. Москва. Яркий образец (человеческой) художнической зависти. Недавно в Союзе (МОССХе) ко мне подошел пожилой человек.

— Товарищ Нюренберг? — спросил он, заглядывая внимательно в мои глаза.

— Да, вы не ошиблись, — ответил я.

— Никак не соберусь передать вам. А ведь четверть века уже прошло.

— Приятное?.. Готов вас слушать.

— Очень приятное, — сказал он и задумчиво улыбнулся. — В 1945 году я был на вашей персональной выставке... Был и Кончаловский. Он стоял перед вашей картиной. Потом отошел и дружески сказал: "Талантливый художник!".

Это было несколько месяцев после войны.

* * *

О деревьях:

Однажды, делая на базаре наброски, я обратил внимание на одно очень некрасивое по форме дерево. Оно показалось мне уродливым и ин-



Выставка в Москве. 1960 г. Полина, Ольга, Нина, Амшей

валидом. Но когда я близко к нему подошел и начал внимательно его разглядывать, ничего от болезненного уродства я в нем не нашел. И тогда я понял, что нет уродливых деревьев. В каждом из них есть своеобразный благородный стиль, дух. Ни уродства, ни убогости, ни нищеты не бывает. Даже будто бы в самом жалком дереве вы почувствуете гордость, мужество или достоинство. Эти характерные черты свойственны в какой-то мере и форме.

* * *

Как умирали мои друзья-художники:

У Осмеркина дрожали пальцы, его клонило ко сну.

Он мечтал держать в зубах папиросу и умереть обязательно "а ля" Сезанн с кистью в руке. Так и случилось.

Перельман плакал, мечтая выплакать у Судьбы еще годик, чтобы околачиваться на Верхней Масловке и на своей даче, восхищаясь своим богатством.

Федя Богородский хотел напевать себе веселую песенку и работать в форме матроса...

* * *

Черное море бывает ласковым и приветливым. Но если разъярится — беда. Описывать не буду.

* * *

Был и я когда-то молод
Верил и любил.
Но когда и где —
Не помню,
Все теперь забыл.

* * *

Счастье найти человека, идеалом которого является доброта.

* * *

Язык шахматиста:

Я потерял преимущество, упустив пешку, и проиграл.

* * *

Никак не мог одолеть свое самолюбие и старался не оглядываться по сторонам.

* * *

Сердце и мозг наизнанку. С первых дней моей мечтательной жизни дружил с иллюзиями. Наш идеализм был прекрасен, но чрезмерно наивен.

Прошлое для меня, как материал для критического анализа собственных действий. Я черпал в прошлом вдохновение для грядущих дел.

* * *

Жак Малик ведал, как дружить с "обжорками". Мне никогда не доводилось так плотно и сытно обедать.

Хозяева отелей попадались крутые на расправу.

* * *

Он словно старался привязать меня к жизни и искусству. Он будто все время старался подкрасить мои полинявшие мечты и надежды...

Весной, когда воздух был напоен сильным ароматом цветов, я стремился в музеи, чтобы вобрать в себя новое и обогатиться образами импрессионистских мастеров... побыть рядом с ними и подышать их творчеством.

Долог и тяжел был этот путь.

* * *

Не надо мечтать,
Надо в очередь стать.
И если счастье, увидев меня,
Улыбнется, значит, звезда надо мной проснется.
Надо, друг мой, в очередь
Стать и молча ждать.

* * *

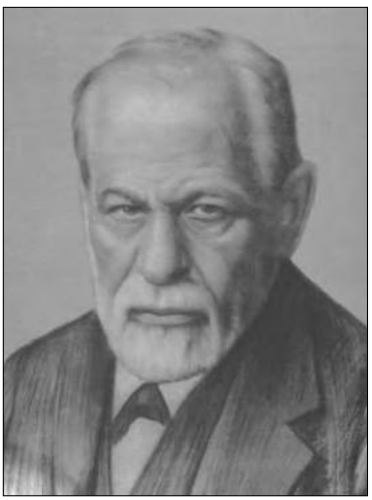
Когда просыпаюсь и вижу солнце, не хочу умирать!

Публикация Ольги ТАНГЯН



Валентина КОГАН

История одного портрета



Проницательный и пристальный взгляд из-под опущенных тяжелых век... Взгляд выразительный и глубокий, таящий в себе некое знание, лежащее на грани непознаваемого. Взгляд человека, осмелившегося вторгнуться в "тайное тайн" человеческого сознания и бытия. Имя ученого и мудреца, отважившегося на это и ставшего родоначальником учения, именуемого психоанализом, — Зигмунд Фрейд. Это он смотрит на вас, читатель, с внутренней стороны обложки журнала Украинской ассоциации психоанализа ("Психоаналіз", № 1, январь 2003 г., Киев) в качестве визитной карточки журнала.

Этот портрет принадлежал моему отцу доктору Якову Моисеевичу Когану и был подарен ему неким художником, имени которого я не знаю. Мне лишь известно, что портрет, мастерски сделанный углем, художник писал не с натуры, а с фотографии Фрейда, помещенной в одной из его книг, хранившихся в библиотеке отца.

Фотография эта была совершенна и по своей выразительности, и по техническому исполнению. Работая над портретом, художник значительно увеличил его относительно размеров фотографии и сумел создать при этом безупречную копию, сохранив фотографическую точность и выразительность оригинала. В портрете воспроизведено то, что особенно поражало в фотографии: прямой твердый взгляд Фрейда, — что называется "глаза в глаза", — и удивительная его способность "не отпускать" взгляд смотрящего, куда бы последний ни перемещался.

Завороженная этим феноменом, я становилась в отдаленном углу просторного отцовского кабинета, в котором высоко над письменным столом, почти под самым потолком, висел портрет, и робея, упиралась своим детским взглядом в завораживающе прямой взгляд Фрейда. Не отводя взгляда, я медленно двигалась вдоль противоположной стены кабинета, а глаза с портрета неотступно следили за мной. Со страхом и трепетом я меняла

направление движения, но везде за мной неотвратимо следовали эти глаза, вызывая жутковатое ощущение некой мистической одушевленности портрета.

Я не помню, когда портрет появился в нашем доме, но осознанно вспоминаю его висящим на своем месте лишь в первые послевоенные годы. Не знаю и того, как уцелел портрет в годы оккупации Одессы.

Общеизвестно, что с 30-х годов в Советском Союзе психоанализ фактически был запрещен не только как научный и психотерапевтический метод, но и как важный метод исследования и анализа общественных явлений. Идеологическая удавка все туже затягивалась на шее не только самого учения, но и угрожала благополучию тех, кто, как и мой отец, разделял и развивал научные взгляды Фрейда.

В какой-то момент отец осознал, что хранить у себя дома портрет столь одиозной личности небезопасно и что это чревато самыми серьезными последствиями. Оправленный в красивую резную раму цвета слоновой кости, портрет был не только лицом (в прямом и переносном смысле) отцовского кабинета, но и его украшением. Реалии времени требовали если не уничтожить, то уж, во всяком случае, надежно скрыть портрет от посторонних глаз. И тут отца осенила идея: не снимая и не вынимая портрета из рамы, под тем же стеклом закрыть его сверху другим портретом. Только чей лик скроет Фрейда от посторонних глаз до наступления часа его реабилитации, — этого тогда отец еще не решил.

В то время в психбольнице на лечении находился художник, некий Николай Оже, имевший в своей родословной какие-то французские корни. Это был высокий мужчина лет пятидесяти с благородной внешностью, спокойным продолговатым лицом и большими красивыми руками. Он был одинок, его никто не посещал. Я не знаю, с каким диагнозом он находился в больнице, но был он тих и кроток. Однажды он обратился к отцу с просьбой дать ему возможность заняться рисованием. Отец купил краски, кисти, бумагу, холст и прочую полагающуюся утварь и привел его к нам домой (мы тогда жили в админкорпусе больницы).

С тех пор Николай Оже часто приходил к нам и подолгу занимался рисованием. Я не составила себе представления о масштабах его дарования, так как не очень в этом компетентна, да и делал он только репродукции с картин известных художников, помещаемых на цветных глянцевых вкладках в журнале "Огонек".

Там-то и увидел отец репродукцию портрета академика И.П. Павлова работы художника М.В. Нестерова, (за который, кстати, художник полу-

чил Сталинскую премию в 1941 году). Вероятно, эта картина, оказавшаяся в нужный момент в нужном месте, мгновенно родила в сознании отца шальной замысел использовать ее для задуманной цели.

Для посвященных в историю несовпадения и даже противостояния научных концепций Павлова и Фрейда идея использовать лик Павлова для спасения портрета Фрейда таила в себе вполне явный гротесковый смысл, точно вписывающийся в широко известное — "история повторяется дважды: один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса".

Николай Оже, воодушевленный конкретностью поставленной цели, воспроизвел на холсте масляными красками цветной портрет Павлова, увеличив его до размеров портрета Фрейда. Так строгий черно-белый Зигмунд Фрейд был надежно защищен лубочно красочным бело-розово-голубым И.П. Павловым.

Точной даты этой акции я не помню. Вероятно, это было в начале 50-х годов. Павлов служил укрытием Фрейду до 70-х годов, когда мы покинули нашу квартиру в психбольнице. К тому времени прошло уже более 10 лет со дня смерти моего отца. Рама с портретом была снята со стены, и ученые, рукотворные воплощения которых провели в "тесном контакте" много лет, наконец, расстались. Портрет Фрейда мы без раздумий подарили доктору Б.Г. Херсонскому, а портрет Павлова в числе других картин — репродукций, выполненных Николаем Оже, — остался в качестве экспоната, иллюстрирующего творчество душевнобольных, в музее больницы, который впоследствии разместился в комнатах нашей бывшей квартиры.

Значительно позднее в некоторых публикациях мне неожиданно встретилась несколько иная версия истории "выживания" портрета Фрейда. По этой версии, портрет имел якобы две стороны: "фрейдовскую" и "павловскую". Для официальных посетителей отца предназначался портрет Павлова, закрепленный в раме сзади, с оборотной стороны портрета Фрейда. А вечерами, когда у нас дома собирались психоаналитики, коллеги отца, раму с портретами якобы поворачивали к собравшимся обратной, "фрейдовской", стороной. Этот вымысел мне представился достаточно безобидным, и я не придала ему особого значения. Но горячие головы молодых одесских, психоаналитиков, узнававшие от меня об этом, настояли на обнародовании правды о "бесповоротной" надежности укрытия портрета Фрейда.

Без сложностей выяснился источник дезинформации: версия принадлежала одному из коллег отца. Для меня это было тем более удивительно, что этот человек бывал у нас дома, принимал участие в доверительных

"фрейдовских" беседах и был в добрых отношениях с отцом. Вероятно, поэтому вымышленная им версия всем казалась достоверной. Очевидно, в простой погоне за остротой интриги этот человек взял на свою душу безобидный грех вполне правдоподобного вымысла.

Вот и вся история того, как сохранился этот замечательный портрет, с которого умным и проницательным взглядом Зигмунд Фрейд смотрит на творческие поиски продолжателей теории и практики своих великих прозрений.



Анна БИЛЫК

Театрально-критическая элита "Одесского листка"

Конец XIX — начало XX века

Вторая половина XIX века знаменовала новый, культурно-просветительский период в жизни Одессы. Южная Пальмира становится культурным центром Юга Российской империи и одним из самых театральных ее городов. Здесь функционирует большое количество стационарных театров, а сценические пристрастия местной публики сделали город гастрольной Меккой для столичных и зарубежных коллективов и отдельных исполнителей "звездного" уровня. Однако полной театральной кассы было недостаточно, театру и публике стали необходимы не только анонсы, имеющие рекламный характер, но и профессиональный анализ спектакля. Популярные газеты, имевшие театральную рубрику, — "Одесский вестник", "Новороссийский телеграф", "Одесские новости" — регулярно отражали все происходившее в сценической жизни города.

Особое место принадлежит газете "Одесский листок". "Редактор-издатель этой газеты, В.В. Навроцкий, начав свою публицистическую карьеру с "Листка объявлений", довел его постепенно до размеров большого органа, насчитывающего, в сравнении с остальными газетами, наибольшее число подписчиков", — писал современник А. Егоров [1, с. 75]. "Одесский листок" был самой популярной газетой. Его тираж составлял в XIX веке в среднем 6000 экземпляров, это в два раза больше, чем у "Новороссийского телеграфа" и "Одесских новостей". Был выдержан и принцип общедоступности издания. За счет солидного тиража редакция могла снизить цену на годовую подписку на издание до 6 рублей, когда у того же "Новороссийского телеграфа" она была в два раза больше — 12 рублей [21, с. 113].

Первым редактором-издателем был В. Навроцкий. Актер Л. Леонидов (Вольфензон), отдавая первенство "Одесскому листку", вспоминает: "Дела его (Навроцкого. — **А. Б.**) шли блестяще. У него работали лучшие силы: В.М. Дорошевич, Барон Икс (Герцо-Виноградский), Марк Ярон и другие" [2, с. 59]. Редактор тщательно селекционировал творческий коллектив, который обеспечивал газете всероссийскую известность. Следует отдать должное В. Навроцкому как руководителю, потому что сотрудники издания были непростыми людьми — независимыми, со сложными характерами и большими требованиями: не мешать работать и платить вы-

сокие гонорары. Так, И. Белоконский вспоминает про одного из журналистов: "Получая солидный гонорар, С. Герцо-Виноградский вел открытый и весьма безалаберный образ жизни... Как сейчас помню его всегда изысканно одетым, нередко во фрачной паре; на улицах он появлялся не иначе как в лоснящемся цилиндре" [3, с.144].

Про другого, не менее известного рецензента, коллега напишет: "Его (Дорошевича. — **А. Б.**) пригласил В. Навроцкий (редактор "Одесского листка), не пожалев гонорара в 500 рублей в месяц. Для того времени это была в Одессе баснословная сумма. Фактический редактор получал 250. Средний заработок был 100 рублей даже для солидного сотрудника. В. Дорошевич, а затем А. Эрманс подняли одесские гонорары" [4]. Такие критики не работали на имидж того или иного актера по редакционному заказу. Имея большие гонорары в Одессе, они позволяли себе быть художественно неангажированными журналистами, писать, не заискивая перед знаменитостями, открыто и принципиально.

В "Одесском листке" на протяжении многих лет сложились традиции оперативного театрального анализа. Своевременно выходили не только скупые и схематичные отзывы-клише вроде того, что "актер играл хорошо", "другие справились с ролью", "сборы полные", но и рецензии, дающие подлинную оценку спектаклю.

Разнообразием театрально-критических жанров газета могла поспорить с любыми специализированными изданиями. Особое место занимают фельетоны. Хотя этот жанр не является исключительно театральным, но все же дух сценического искусства здесь был очевиден. В нетеатральных публикациях преобладала театральная лексика. Вот ряд примеров, выбранных почти наугад: "драма и комедия в суде", "сцена из "Дочери рынка" исполнена в мировом съезде одесскими адвокатами", "Риголетто" в коммерческом суде" или "бенефис прессы". Известными фельетонистами "Одесского листка" были С. Герцо-Виноградский (Барон Икс), Влас Дорошевич, М. Фрейденберг (Оса), А. Гермониус (Финн). Журналист А. Червонибар вспоминал: "Из семи фельетонов в неделю, — говорит он (В. Дорошевич. — **А. Б.**), — у меня шесть о театре. Ни о чем другом нельзя писать" [4]. Это объясняется тем, что во времена жесткой цензуры проявить свой дар можно было, в основном, в рамках театральной тематики, где не существовало столь строгих ограничений.

Рубрику "Дела-делишки" вел мэтр одесской журналистики и театральной критики С. Герцо-Виноградский. Он работал в "Одесском листке" с начала существования издания и до конца своей жизни, исполняя фактически

роль редактора. До 1880 года он имел восьмилетний стаж работы в ведущих одесских газетах — "Одесский вестник", "Правда", "Новороссийский телеграф", где проявил себя как ведущий театральный критик. "Природа наградила его крупным публицистическим талантом или, вернее, она создала его фельетонистом. Можно без преувеличения сказать, что в семидесятых годах Герцо-Виноградский не имел себе соперников в провинции в этом роде литературы, да и в столицах мало было подобных ему. Что же касается Одессы, то он здесь был царь и бог", — писал И. Белоконский [3, с. 143].

Ежедневные фельетоны располагались по рубрикам: "За день", которую вели Влас Дорошевич и А. Гермониус, "Отклики" — А. Кауфман (Знакомый), "О чем говорят" — М. Фрейденберг (к слову, отец известного ученого-культуролога Ольги Фрейденберг). Фельетон всегда вызывал интерес читательской аудитории, особенно если его автор — король этого жанра, Влас Дорошевич. Театральными фельетонами Дорошевича зачитывалась вся Одесса. Тонкий вкус, глубокое понимание природы театра, внимание ко всем компонентам спектакля, профессиональные характеристики актерской игры завоевали Дорошевичу признание как со стороны широких кругов читателей, так и театральных деятелей. "Антрепренеры, артисты и артистки обожали Власа Михайловича. Его фельетоны создавали интерес к театру, делали сборы" [4].

Фельетонисты не являлись рецензентами в классическом значении этого слова. Сами они об этом не раз заявляли. "Если бы я был рецензентом, то я бы просто сказал, что "1889 год" был разыгран по всем правилам, и артисты, принимавшие в нем участие, провели свои роли вполне добросовестно... Вообще, "1889 год" прошел, как и все обыкновенные репертуарные пьесы", — писал М. Фрейденберг [5].

Как фельетонисты, так и театральные рецензенты в то время профессионального образования не имели — в связи с отсутствием такового вообще. В основном, они были выпускниками филологического факультета Новороссийского университета. "Большинство современных рецензентов — я говорю о драматических, — это, на мой взгляд, не в обиду им будет сказано, обыкновенные театральные "зрители", владеющие пером и имеющие большую или меньшую театральную эрудицию, смотря по тому, часто ли посещал данный рецензент театр", — писал фельетонист А. Кауфман [6].

Многие служители этого жанра были непосредственно связаны с театром. Например, В. Дорошевич играл в местной труппе как актер-любитель, М. Фрейденберг писал пьесы, которые ставились на одесской сцене. В январе 1892 года одесситы в бенефис ведущего актера Трубецкого увидели

фрейденбергскую комедию "Профессор Ясенев". Рецензент рубрики "Театр и музыка" не стал давать традиционный анализ новой пьесы, правда, не без заискивания заявив: "О достоинствах самой комедии "Профессор Ясенев" считаем себя не вправе здесь говорить, так как речь идет о произведении нашего сотрудника. Предоставляем поэтому судить о ней самой публике" [7].

Но судили произведение не только зрители, но и журналисты других изданий. "Новороссийский телеграф" посвятил ему шесть рецензий и отзывов — такого внимания не удостаивались даже именитые драматурги. Автора обвиняли, в первую очередь, в "вольностях, допущенных в обращении с русским языком", непрофессионализме. "Задачи художественного сценического мастерства далеко не так легковесны и мелки, как цели фельетонного балагурства в газете. Для их выполнения, хотя бы самого посредственного, требуется художественная чуткость, начитанность, знание сцены и ее условий, развитый литературный вкус, способность охвата жизненных явлений. Что автор лишен этих качеств, видно по выдуманности и ляповатой отделке его пьесы" [8]. Досталось при этом и Фрейденбергу-журналисту: "Знакомые с газетной деятельностью Фрейденберга, мы не ждали ничего хорошего от его произведения" [9]. В защиту коллеги высказался Л. Куперник, сотрудник "Одесского листка", который считал, что дебютант обладает большой самоотверженностью, без боязни выставив на суд публики свое произведение. Анализ Л. Куперника противоположен ранее приведенным отзывам: "Комедия оказалась сценичной, написана хорошим литературным языком. И не лишена некоторых сценических эффектов, которыми автор умело воспользовался. Фрейденберг, хотя и дебютант на поприще драматургии, но, очевидно, знает сцену..." [10]. Про большой успех пьесы писал и московский театральный журнал "Артист".

С мнением фельетонистов считались, их слово всегда доходило до адресата, они умели предвидеть успех спектакля, с легкостью сделать рекламу, а это немаловажное обстоятельство, потому что в условиях антрепренерского театра от кассовых сборов зависело существование самой труппы, заработок актеров и т. п. Неоднократно на страницах газеты шли разговоры о задачах театральной критики. В своих статьях одесские журналисты, пишущие о сценическом искусстве, подчас ставили весьма серьезные вопросы, в частности, искали формулу взаимосвязи искусства и жизни.

Театральное общество, становясь на защиту актеров, не раз пыталось ограничить свободу деятельности рецензентов, желая взять их творчество под контроль. Фельетонисты оперативно отреагировали на требования Театрального общества и выступали в защиту коллег по цеху. "Не надо забывать

еще одно обстоятельство: критика всегда бывает субъективная, как и то, что подлежит критике" [6]. Фельетонисты были в более выгодном положении, чем рецензенты. Их стиль характеризовался раскованностью, смелостью суждений, темпераментом. Они были практически неуязвимы, то, что вызывало споры, обиды и выяснение отношений с рецензентами в суде, фельетонисту прощалось. Объяснение этому кроется в самом жанре, даже негативная оценка спектакля фельетонистом рассматривалась как реклама. Для журналистов, работавших в этом жанре, характерной чертой было преобладание эмоций над аналитичностью художественных взглядов.

Фельетонисты затрагивали вопросы драматургии, репертуара, часто освещали и околотеатральные проблемы, например, отношение горожан к сценическому искусству. Журналист "Одесского листка" писал: "Любовь одесситов к театру, и в частности, к русской драме — несомненна. Отражая обывательские симптомы, одесские "злобисты" и фельетонисты всегда уделяли много места театру, приветствуя достодолжным образом и открытие спектаклей" [11]. В среде фельетонистов, а их работало не меньше двух в газете (часто в одном номере выходило три и более рецензий на один и тот же спектакль), не было открытой конкуренции, перекрестных разногласий, попытки переубедить коллегу. Схватки из-за театральных тем возникали с представителями других изданий. В основном, журналистские "дуэли" провоцировались рецензентами "Одесских новостей" и "Новороссийского телеграфа", сотрудники которых не упускали возможности указать на недостатки коллег преуспевающей конкурирующей газеты. А. Егоров (Конспаров), автор книги "Страницы из прожитого" (1913 год), объясняет факт "нездоровой конкуренции" популярностью "Одесского листка" у подписчиков.

Среди именитых журналистов в жанре театрального портрета в "Одесском листке" работал только Влас Дорошевич. Он писал о современниках, чьи работы видел, рассказывал о тех, кого знал лично. Поэтому одни портреты написаны как воспоминание, другие в духе полемики, но объединяет их неповторимая авторская манера, хлесткость стиля, ирония. Каждый из них — маленький шедевр. В. Дорошевич жил в эпоху расцвета актерского театра, где от имени и популярности исполнителя во многом зависел успех спектакля. Это было время, когда жизнь актера была "достоянием общества", предметом обсуждения как критиков, так и околотеатральной публики. Критерием оценки деятельности актера для Дорошевича было только творчество. Внимание критика не обошло многих великих мастеров сцены того времени: М.Н. Ермолову, М.Г. Савину, М.М. Глебову,

А.П. Ленского, П.А. Стрепетову. Показательно то, что артистов критик неизменно называл по имени-отчеству, что свидетельствует об уважении к людям театра, оценке их деятельности наравне с уровнем государственных лиц. Это было нехарактерно для того времени — как правило, перед фамилией ставилась буква "г." или реже — лишь имя актера.

Театральные портреты написаны блестящим литературным языком, красочно и вдохновенно, с лирическими отступлениями и попутными рассуждениями на темы актерского мастерства. Зерно его фельетонов — художественный анализ, включающий рассмотрение эволюции личности художника. Дорошевич был не просто рецензентом, а критиком-публицистом, критиком-художником. С его уходом из газеты театральный портрет растворился в других жанрах. Он стал невыразительным и безликим, зачастую чрезмерно комплиментарным.

Однако главной по значимости как для актера, так и для читателя была театральная рецензия. В газете на протяжении 30 лет велась рубрика "Театр и музыка". Немало критиков вели эту рубрику, но задачи всегда ставились одни те же: анализ и оценка спектаклей, разъяснение режиссерского замысла или актерской трактовки роли, а также определение места спектакля в общетеатральном процессе. Эта рубрика требовала высокого профессионализма, грамотности рецензента, его подготовки в качестве эксперта конкретного театрального артефакта. Те критики, которые не отвечали вышеназванным требованиям, безлико рассказывали о театральной жизни, ограничивались пересказом спектаклей или пьесы, надолго не задерживались в "Одесском листке". Эту рубрику отслеживали не только практики театрального цеха, читатели, но и конкуренты из других местных газет, которые искали повод указать на просчеты или некомпетентность коллег. Фельетонист "Одесских новостей" писал: "А приятно иметь дело с "Одесским листком". Видишь, по крайней мере, что слова даром не пропадают. Всякий совет выслушают и постараются, по мере сил, исполнить. Был у них рецензент Ефъ. Мы против него ничего не имели, но не могли не указать на некую наивность его души" [12].

Одним из активных критиков, работающих в этом жанре, был Лев Теплицкий, пришедший в издание в начале XX века из специализированной газеты "Театр". Следует отметить, что критик одновременно являлся сотрудником московского журнала "Театр и искусство" в Одессе. Его стиль отличен от других рецензентов. С одной стороны — критик-художник, любящий эпитеты, яркие краски, с другой — вдумчивый аналитик. "По банальной канве пьесы Потапенко "Волшебная сказка" талантливая артист-

ка разбрасывает чудные узоры, внося нечто свое собственное, новое и свежее своей обаятельной игрой, выразительной мимикой... Все искусство артистки (речь идет о В. Комиссаржевской. — **А. Б.)** в этом случае и заключалось в том, что она сумела "изъять" образ Наташи из всей фабулы" [13].

Теплицкий совершает профессиональный переворот в одесской критике, потому что использование специальной театроведческой терминологии не практиковалось в нетеатральных изданиях. Большинство его рецензий написано на анализе контрастов: актер — автор пьесы, актер — актер. Например: "Г-жа Комиссаржевская вносит "душу живую" в фальшивую пьесу Потапенко" [13].

Но не всегда этот прием был оправдан. В творческом багаже Л. Теплицкого есть ряд противоречивых рецензий. Слабые стороны критика сказались в его рецензии на спектакль "Гамлет" с актером М. Дальским в главной роли. В начале статьи Л. Теплицкий старается навязать читателю мнение, что "русским исполнителям роль эта (Гамлета. — **А. Б.)** удается лучше, чем иностранным", обвиняя Т. Сальвини и Э. Росси в "искусственности и певучести" в исполнении этой роли, Э. Поссарта и Л. Барная в "продуманности и сухости". Игру названных европейских знаменитостей критик сопоставляет с исполнением роли Гамлета Н. Милославским, В. Чарским, Ф. Горевым, М. Ивановым-Козельским, большинство из которых вряд ли непосредственно наблюдал на сцене, но с уверенностью констатировал, что "гамлетизм", как будто, родственен по душе" исключительно русской школе. Л. Теплицкий называет М. Дальского "лучшим исполнителем этой роли в настоящее время", актером, который "ведет роль Гамлета вполне реально и прочувствованно", "во многих местах подымается до истинно художественной высоты", но при этом критик заявляет, что "весь первый акт артист ведет не в совсем верном тоне, причем на лице его отражается не скорбь, а скорее обморочное состояние", ряд мизансцен сыгран нарочито театрально. В завершение рецензии, не пытаясь понять и объяснить постановочный и актерский замысел, критик дает подчас навязчивые советы относительно спектакля. "Например, появление "материальной" тени в сцене с матерью и музыка, под которую эта сцена ведется, да еще со световыми эффектами в темноте. В тех местах, где музыка действительно нужна, ей бы лучше было помещаться за кулисами, а не в зрительном зале" [14].

Но критик живой человек, и ему свойственно ошибаться. Изо дня в день в своей рубрике критик составлял историю городского театра. Значительное место он уделял молодым актерам, в частности, тогда еще начи-

навшей сценическую карьеру А. Пасхаловой, игравшей в антрепризе М. Лубковской. Л. Теплицкий дает глубокую характеристику стиля игры, выделяя мягкий лиризм, обаяние, которое "чарующе действует на душу зрителя". Автор статей с легкостью перечисляет свои порой крайне субъективные замечания, зачастую не утруждая себя необходимой профессиональной аргументацией: "У Пасхаловой при всем ее крупном даровании, при всем богатстве колорита есть две особенности, которые во многих, и преимущественно бытовых ролях, вносят некоторую дисгармонию между тем, что дает автор, и тем, что воспринимает зритель" [15]. Критик дает совет актрисе не быть одноплановой, "не вести роль в минорном тоне", а "индивидуализировать" изображаемый образ.

Для Л. Теплицкого важно, чтобы режиссерское и актерское прочтение совпадало с авторским виденьем образа. "Богатое по внутреннему содержанию и сильное по художественной обработке произведение Чехова "Три сестры" представляет для артистов очень сложную задачу. Не только общий ансамбль достигал громадной иллюзии, но и отдельно каждый исполнитель давал публике яркий и верный образ того лица, которое задумал автор" [16].

Мимо внимания Л. Теплицкого не проходило ни одной детали в спектакле. Впрочем, порой это ему самому оказывало плохую службу. Так, высоко оценив режиссерскую работу в спектакле по пьесе К. Гуцкова "Уриель Акоста", критик заявлял, что ни в одном храме алтарь не помещается посередине. Дело в том, что основная часть действия проходит в синагоге. Л. Теплицкий неправильно употребляет религиозную терминологию: вместо алтаря в его рецензии должно было звучать слово "аналой" — место для чтения Торы в синагоге. Эта деталь могла вызвать недоверие к рецензенту со стороны еврейских читателей, которых у газеты было не так уж мало. К тому же рецензент сам отмечает: "Сцена была эффектна, но не имела смысла" [17]. Советы он дает и по поводу перевода комедии Дюма-сына "Заблудший отец": "Переводчик этой пьесы допустил значительную ошибку неточным переводом заглавия: не "заблудший" отец, а легкомысленный, ветреный отец, и под этим эпитетом он будет вернее понят зрителями" [18]. Эта комедия с 1898 года шла в московском театре Ф. Корша, переводчицей комедии (этого критик не удосужился уточнить) была дочь именитого театрального деятеля Н. Корш. Это дало повод журналистом из "Одесских новостей" сыронизировать в адрес критика: "Иногда прямо даже дает иллюзию грамотного человека. Ей-богу! Мы очень довольны" [19].

Коллектив издания всегда прислушивался к работникам театра. Проводились опросы относительно мнения актеров о прессе. Это было смелой

акцией, потому что здесь вполне могли быть затронуты интересы самого "Одесского листка". Благодаря профессионализму сотрудников, освещению значимых для городских театров проблем газета завоевала авторитет.

В 1903 году "Одесский листок" праздновал 30-летие. На юбилей откликнулись представители литературы и искусства — антрепренеры, актеры, редакции газет и журналов. Слова признательности звучали и от литературно-артистического общества: "Литературно-артистическое общество не забудет вклада, сделанного "Одесским листком" для его жизни..." [20].

Литература

1. А. Егоров. Страницы из прожитого. 1881-1906. — Одесса, 1913.
2. Л. Леонидов. Воспоминания, статьи, беседы, переписка, записные книжки. — М., 1960, с. 756.
3. И. Белоконский. Отрывки из воспоминаний // Голос минувшего. — 1913, № 3, с. 135-154.
4. Одесские богатыри. Воспоминания А. Чивонибара // Южная мысль. — 1913, № 4.
5. Оса. О чем говорят // Одесский листок. — 1889, № 347.
6. Знакомый. Отклики // Одесский листок. — 1903, № 217.
7. Театр и музыка // Одесский листок. — 1892, № 21.
8. Альфред. Летучие заметки // Новороссийский телеграф. — 1892, № 5347.
9. Р. Театр и музыка // Новороссийский телеграф. — 1892, № 5345.
10. Л. Куперник. Театр и музыка // Одесский листок. — 1892, № 28.
11. Знакомый. Отклики // Одесский листок. — 1903, № 213.
12. ALTALENA. Вскользь // Одесские новости. — 1902, № 5751.
13. Л. Т-цкий. Театр и музыка // Одесский листок. — 1902, № 298.
14. Л. Т-цкий. Театр и музыка // Одесский листок. — 1902, № 300.
15. Л. Т-цкий. Театр и музыка // Одесский листок. — 1902, № 301.
16. Л. Т-цкий. Театр и музыка // Одесский листок. — 1902, № 231.
17. Л. Т-цкий. Театр и музыка // Одесский листок. — 1902, № 230.
18. Л. Т-цкий. Театр и музыка // Одесский листок. — 1902, № 245.
19. Л. Куперник. Театр и музыка // Одесский листок. — 1892, № 28.
20. Одесский листок. — 1903, № 333.
21. С. Бернштейн. Исторический и торгово-экономический очерк Одессы в связи с Новороссийским краем. — Одесса, 1881, с. 144.

Роман БРОДАВКО

Народная артистка

С известного портрета Михаила Божия смотрит немолодая женщина. Художник запечатлел ее сидящей в кресле в минуты раздумий. О чем она размышляет? О череде прожитых лет, каждый год из которых был насыщен событиями, неизменно вызывающими общественный резонанс? Возможно, о будущем — о том небольшом отрезке времени, который оставался в ее земной жизни, и необъятном временном пространстве, которому принадлежит дело ее жизни — Украинский театр.

Народной артисткой Лидия Мациевская стала задолго до того, как это почетное звание было ей присвоено в 1947 году официальным указом. Наверное, если бы существовало звание "народная любимица", то она бы получила его первой. Популярность Лидии Владимировны в Одессе была огромной — и среди образованной театральной публики, и среди жителей рабочих окраин: Пересыпи, Слободки, Молдаванки, Сахалинчика, Дальних и Ближних Мельниц, для которых она была своя, любимая.

В дотелевизионную эпоху актеров-кумиров создавал театр. Даже с развитием кино он не утратил своего авторитета как одно из самых массовых и привлекательных зрелищ, в основе которого сила и обаяние таланта отдельных личностей. Театр породил феномен актера, поэтому зачастую в него приходили не на тот или иной спектакль, а на исполнителя, участие которого было гарантией художественного качества.

Мациевская была из таких актрис. Ее творческий диапазон был огромен. В молодости она была и лирической героиней, и характерной актрисой. В зрелые годы лирическое начало уступило место эпически мощному драматическому накалу, а характерность углубилась за счет более глубокого понимания психологии героинь.

Мациевская была великолепна и в классике, и в современном репертуаре. В основе ее искусства кроме Богом данного таланта была великая школа украинского реалистического театра, школа, с которой она была связана узами не только духовного, но и семейного родства.

Лидия Владимировна родилась в 1889 году в селе Кашперовка Тетиевского уезда Киевской губернии. Отец ее был священником. Мать Лидии Мария Романовна овдовела, когда девочке исполнилось шесть лет. Женщина осталась с четырьмя детьми на руках и зарабатывала на жизнь пением в церковном хоре на Подоле в Киеве. В храме ее услышал Марк Лу-

кич Кропивницкий, выдающийся украинский актер, режиссер, драматург, театральный деятель, и пригласил в свою труппу.

Вскоре Мария Романовна вышла замуж за сына Марка Лукича Константина. Впоследствии Мациевская писала: "Отчим был прекрасным культурным человеком, воспитал нас, сирот, и привил нам любовь к Родине и театру". Поскольку мать и отчим играли в труппе Кропивницкого, и детство, и юность Лидии Владимировны прошли в театре. Марка Лукича она считала дедом, всегда с огромной любовью вспоминала о нем. И М.Л. Кропивницкий любил свою названную внучку. Когда в детстве она копировала игру известных актеров, Марк Лукич обратил внимание на одаренность Лиды и стал поддерживать ее влечение к сцене.

В самом начале девятисотых годов родители Мациевской вышли из состава труппы Кропивницкого, поселились в Одессе. Отчим, К. Вукович-Кропивницкий, руководил несколькими рабочими драматическими кружками. Таких кружков в Одессе в начале XX столетия было немало. Из них выходили не только преданные театральному искусству зрители, но и профессионалы.

Мациевская приехала в наш город, когда ей было семнадцать лет. К тому времени она успела окончить Киевское епархиальное училище и педагогические курсы, несколько месяцев поработать в Лебединском училище, откуда ее уволили за самовольное включение в программу произведений Чернышевского, Добролюбова и Шевченко.

В Одессе Лидия Владимировна устроилась на работу в еврейскую гимназию Масловой и Градской. Кстати, здесь среди ее учеников был известный поэт Семен Кирсанов. Одновременно Лидия Владимировна поступает на Высшие женские курсы, где в то время преподавали известные профессора Новороссийского университета Щепкин, Лазурский, Ланге. Жила на Слободке. В центр добиралась всегда пешком. Зарабатывала мало, но при этом умудрялась помогать матери.

Дебютировала Мациевская в 1904 году в любительском спектакле "Бондаривна" по пьесе И. Тобилевича, поставленном отчимом на заводе Гена (в советское время — ЗОР), сыграла центральную роль. Затем были: Наталка в "Наталке Полтавке", Оксана в "Запорожце за Дунаем", София в "Безталанній", Проня в "За двумя зайцами", Аза в "Цыганке Азе"...

В 1908 году Лидия Владимировна поступает на профессиональную сцену в театр "Трезвость", где прослужила десять лет. Это был театр, где часто менялись руководители и состав труппы. Порой на помощь в создании того или иного образа надеяться не приходилось. Она научилась работать над ролью сама. И, конечно, училась у других.

О том, насколько театральным городом была Одесса в первые десятилетия XX века, написано много. Постоянные гастроли выдающихся исполнителей и театральных трупп не только воспитали высокий уровень художественного вкуса одесской публики. И в огромной империи, и за границей было известно, что в Одессе может пойти только то, что имеет высокое художественное качество.

Молодая Мациевская не пропускала практически ни одного театрального события: будь то гастроли Малого театра или Московского художественного, оперные спектакли с участием Шаляпина и Собинова, драматические с участием К. Варламова и В. Давыдова. Она была потрясена игрой Веры Комиссаржевской. Впоследствии говорила, что Комиссаржевская и Заньковецкая ей "открыли глаза на сценическое искусство".

Но, конечно, особенно близкими Мациевской были спектакли украинских трупп. Легендарные для нас личности Ивана Тобилевича, Мыколы Садовского, Панаса Саксаганского, Михаила Старицкого, Ивана Марьяненко, Ганны Затиркевич-Карпинской были ее старшими современниками. Благодаря деду и родителям она была знакома со многими из них, имела возможность видеть спектакли, не только сидя в зрительном зале, но и стоя за кулисами. Это была бесценная школа, подарок судьбы. В 1953 году Мациевская вспоминала: "Как я счастлива, что в детстве имела возможность не только видеть прекрасную игру корифеев украинского театра... но и принимать участие в их спектаклях. Так, в юбилей Марка Лукича я играла маленькую сестру Власа в пьесе "Олеся", кстати, любимом моем произведении. Главную роль сыграла Любовь Павловна Линицкая, милая и славная актриса...".

Одесса искренне любила украинский театр всегда. Этой любовью были охвачены не только украинцы, но и русские, евреи, поляки, немцы... Любили за правдивость, за героико-романтическую приподнятость, бесконечный юмор и музыкальность. Труппы, постоянно выступавшие в Одессе, не ограничивались только национальным репертуаром. Шла русская и западноевропейская классика, современная драматургия. В интерпретации всегда в той или иной мере проявлялись специфические черты национального театра. Это сочетание "родного" и "иного" всегда плодотворно и интересно для зрителя, особенно если этот синтез органичен и сотворен подлинными мастерами. Мациевская это поняла в молодые годы. Это появилось в исполнении ею ролей в пьесах Шекспира и Гольдони, Бомарше и Гоголя, Островского и Шолом-Алейхема, Запольской и Горького.

В начале прошлого века талант Мациевской креп год от года. Ее имя

становится известным в Одессе. Но она никогда не переставала учиться, справедливо считая, что в искусстве нельзя останавливаться на достигнутом.

В 1911 году Лидия Владимировна выходит замуж за студента-медика Владимира Моринца. В 1913-м Мациевская поступила в Одесскую консерваторию на певческое отделение, однако училась она там недолго. Вскоре начинается первая мировая война, и мужа призывают в армию. Владимир Моринец служит в Брусиловской дивизии. Лидия Мациевская несколько раз приезжала к нему. Во время пребывания на фронте выступала с концертами перед солдатами: читала Пушкина, Гоголя, Шевченко, Лесю Украинку.

В послереволюционные годы Л.В. Мациевская сначала работает в созданном в Одессе Свободном украинском театре, а затем в передвижном Рабсельтеатре.

Когда в 1925 году была создана Держдрама, первый в Одессе стационарный государственный украинский театр, Лидия Владимировна поступила в его труппу. Она отдала этому театру тридцать лет своей жизни, период творческой зрелости. Известный литературовед и историк театра А.В. Недзведский отмечал: "В первый сезон зритель запомнил и полюбил двух актрис: Ужвий и Мациевскую. На следующий год Ужвий ушла из театра — перебралась в Харьков. Мациевская осталась в Одессе. Зритель с огромным интересом следил за каждой ее новой ролью — всегда сочной и жизненной".

Вторая половина 20-х годов в биографии актрисы — это Амиена в пьесе "Сэди" С. Моэма, Лимериха в "За двумя зайцами" — первой постановке В. Васылько в Одессе, сводница Фолурдель в "Соборе Парижской богоматери" по В. Гюго, Холоденко в "Закате" И. Бабеля, Марселина в "Женитьбе Фигаро" П. Бомарше, Дунька в "Любови Яровой" К. Тренева, тетка Форсар в "Наследниках Рабурдена" Э. Золя... Для Лидии Владимировны не существовало маленьких и больших ролей. Она создавала образы, поражавшие психологической целостностью, глубиной, узнаваемостью. В воспоминаниях Мациевская так определила смысл своей работы над каждой ролью: "Я стремилась глубоко раскрыть суть каждого образа, стремилась жить этим образом на сцене, четко определяя его место в пьесе".

В тридцатые годы мастерство актрисы ярко раскрылось в создании характеров классического и современного репертуара: Смеральдина в "Слуге двух господ" К. Гольдони, Ксения в "Егоре Булычеве" М. Горького, Бочкарева в "Платоне Кречете" А. Корнейчука, Фетинья в "Не было ни гроша, да вдруг алтын" А. Островского... Но особенно ярко дарование Ма-

циевской проявилось в национальной классике. Незабываемые образы она создала в "Лимерівні" Панаса Мирного (Лимериха), в "Безталанній" И. Тобилевича (Ганна), в "Сорочинской ярмарке" М. Старицкого (Хивря). Ее игра была одухотворена не только живыми традициями театра корифеев. Она была по-настоящему современной, потому что актриса вкладывала в каждую работу свое понимание характера.

Одна из "звездных" ролей Мациевской конца 30-х годов — Эти-Мени в комедии Шолом-Алейхема "Двести тысяч". Актриса не просто утверждала, известную истину, что деньги, особенно большие, портят людей. Она показывала процесс погрязания в мещанстве человека, прошедшего трудный жизненный путь, испытавшего бедность и унижения, но при этом всегда втайне поклонявшегося золотому тельцу. Актриса нашла не только верный внутренний психологический рисунок роли, но и адекватное ему пластическое выражение. Во всех рецензиях, а затем и в статьях о Мациевской вспоминают ее неуклюжую походку в нелепом, но очень дорогом наряде и растопыренные пальцы, каждый из которых унизан кольцами.

В конце 30-х Мациевская много и часто выступала на эстраде с чтением сатирических произведений Остапа Вишни и нашего земляка Степана Олейника. Как чтица пользовалась огромным успехом, ибо ее выступления были театром одного актера в полном смысле слова. Кроме того, Лидия Владимировна начала преподавать в Одесском театральном училище.

— Мациевская воспитывала в нас личностей, стремилась, чтобы мы как можно ярче проявляли на сцене свое "я", — вспоминает ученица Лидии Владимировны заслуженная артистка Украины Станислава Шиманская. — Она была строга и требовательна — это обусловливалось ее профессиональной честностью, ответственностью перед зрителями. А зритель доверял ей полностью: он любил ее за искусство сценической правды, за полную самоотдачу на сцене.

В предвоенные годы Мациевская с блеском сыграла миссис Форд в "Виндзорских кумушках" У. Шекспира, Улиту в "Лесе" А. Островского, создала незабываемый образ Матери в "Легенде о Матери" К. Герасименко.

Оказавшись с труппой Одесского украинского театра в эвакуации, Мациевская не только активно работала в театре, но и выступала в составе фронтовых концертных бригад перед бойцами и ранеными.

После освобождения Одессы Мациевская вместе с театром возвращается в родной город. Среди ее актерских работ второй половины 40-х особого внимания заслуживает роль в спектакле "Мораль пани Дульской". Актриса создала многоплановый образ, поражавший своей психо-

логической глубиной. Ее Дульская была одновременно палачом и жертвой. Палачом — по сути своей морали, которая не допускала ни милосердия, ни сострадания, ни уважения к личности другого человека. Жертвой — поскольку сама она как женщина никогда не была счастлива. Женское одиночество обострило ее материнский эгоизм, ожесточило душу. Ханжество — это лишь верхняя, видимая часть айсберга, на самом деле характер этой героини в исполнении Мациевской был намного сложнее.

Дважды Мациевская снималась в кино на одесской студии: в 1927 году в фильме "Борислав смеется" и в 1955 году в фильме "Тень у пирса".

Лидия Владимировна ушла из жизни в декабре 1955 года. Панихида проводилась в здании Украинского театра. Профессор А.В. Недзведский, который в молодости присутствовал на похоронах Веры Холодной, рассказывал, что количество людей, которые пришли попрощаться с Мациевской, было не меньшим. Толпы запрудили улицы Пастера, Конную. Щепкина... Многие десятилетия зрители вспоминали спектакли с участием любимой актрисы, вписавшей яркую страницу в историю театральной Одессы.



Елена ГАВДЗИНСКАЯ

Этюды художника к портрету художника

...Говорят, что родителей не выбирают, но я себе своего папу точно выбрала. Так уж у нас сложилась судьба, что мы с ним почти никогда не расстаемся. Одна профессия. Вместе работали в домах творчества, всю жизнь работаем в одной мастерской.

Рядом со мной — замечательный человек и прекрасный художник. Он очень любит природу и воспринимает ее по-детски светло и радостно. Меня всегда удивляет, как он из совершенно простого мотива делает интересную работу. Я могу долго бродить с этюдником, выискивая что-то особенное. Папа пройдет несколько шагов и тут же воскликнет: "Ты посмотри, какая красота!".

...Когда мне было 20 лет, поехали мы с папой в Седнев в Дом творчества художников. Однажды, когда я собиралась со своими друзьями пойти на этюды, папа сообщил мне, что нашел потрясающее место, и мы сейчас пойдем его писать. Я пыталась возражать, потому что настроилась уже идти работать с ребятами. Но папа настоял на своем, и я понуро поплелась за ним, заранее ненавидя это место.

Привел он меня к оврагу с грязным сползающим по склонам снегом и черными деревьями. Негодованию моему не было предела, слезы покатились у меня по щекам: "Ну и что же тут писать? Вот эту серятину, это уныние? Ну и красоту нашел!". Папа молча отошел в сторону и начал работать. Деваться мне было некуда, и я, ворча, расставила этюдник и стала с неохотой что-то мазать. И вот, чем больше я всматривалась в природу, тем больше преображался мой овраг. Мое плохое настроение, пока я писала, улетучилось. И я увидела, что это место действительно прекрасно. Я почувствовала запах весны, я увидела красоту тяжелого талого снега и деревьев, которые мягко расплывались в поднимающемся из оврага тумане. С тех пор прошло двадцать лет, но я всю жизнь буду помнить урок, который преподал мне папа: в простом увидеть прекрасное. А этот "Овраг" был отмечен как один из лучших моих зимних пейзажей.

...Петербург. Февраль. Метет метель. 22 градуса мороза. Гавдзинский стоит на площади и пишет Исаакиевский собор. Краски замерзли, он их с трудом размешивает заранее разведенными белилами. Он не чувствует холода, хотя уже весь покрыт инеем и похож на снеговика. Он не чувствует заледеневших пальцев, сжимающих кисть, да и ноги стали уже неродные. Для него сейчас существует только холст и красота этого пре-

красного архитектурного сооружения. Подъезжает автобус с интуристами. Из него выскакивают люди с фотоаппаратами и начинают фотографировать, но не Исаакиевский собор, а моего папу, наверное, тоже как достопримечательность северной столицы.

...Один из заездов нашей творческой группы в Ильичевский порт подходил к концу. Материалы были уже на исходе, и приходилось дорожить каждым оставшимся кусочком картона или холста. Как-то утром известный передовик труда, позировавший нашим художникам, не пришел на сеанс. И мы решили с папой использовать это время и поехать на этюды на лиман. Выехали мы из порта, и не помню уже, как, но вылетает из нашей машины небольшой кусок картона (все равно жалко!). Остановиться невозможно — дорога в гору, и сзади поджимают огромные груженые машины. Ну, ничего не поделаешь, вздохнули мы печально по этой картонке и поехали дальше.

И какова же была наша радость и удивление, когда, возвращаясь вечером в порт, мы увидели ее, родную, лежащую на дороге. Тут мой папа не выдержал, остановил машину и под мой смех побежал поднимать картонку. Можете себе представить ее вид, если по ней целый день ездили разные МАЗы и КрАЗы. Живого места на ней не было, сплошные грязные отпечатки автомобильных шин. Папа нежно стряхнул с картонки грязь и сказал, что пойдет и напишет на ней сегодня вечерний этюд. Я засмеялась и сказала, что в этом случае обязательно должен получиться шедевр. И представьте себе, получился. Этот этюд был приобретен одной из галерей искусств Швейцарии. Если бы они знали...

...Мой папа по натуре человек мягкий и добрый. Он любит жизнь, любит людей и с особенной нежностью относится к животным. В каждом его пейзаже обязательно должна обитать какая-нибудь живность. Если это сельские пейзажи, то там будут бродить коровы и лошади, по дворикам — бегать куры, петухи и важно разгуливать индюки. Где-то на лавочке примостится кот. Бабки будут гнать гусей домой, а на переднем плане будут бежать или что-то вынюхивать в снегу беспородные собачки, В городских пейзажах предпочтение отдается голубям. Они копошатся возле скамеек на аллеях парков, бродят по мостовым Одессы, снуют под ногами гуляющих по бульвару людей. Папа мне всегда говорит, что без людей или даже какой-нибудь птички пейзаж кажется мертвым: "А вот фигурку поставила, голубь на переднем плане сел — и пейзаж ожил".

...Я завидую своему папе. Для него не существует языкового барьера. Он одинаково прекрасно общается с японцами, немцами, канадцами.

И главное, что те его понимают. При общении с иностранцами папа громко говорит по-русски, при этом очень выразительно жестикулируя, плюс личное обаяние и большое чувство юмора.

Мы с папой несколько раз были в Германии. Не знаю, как во всей Германии, но в тех местах, где мы были, я не видела ни одного художника, который бы стоял в центре города с этюдником и работал с натуры.

...Городской пейзаж любимый папин жанр. И каждое утро он брал этюдник и шел осваивать местные достопримечательности. Возвращаясь домой, он рассказывал, как работал, кто к нему подходил во время работы, с кем он разговаривал. Я всегда удивлялась: "Как же ты мог понять, что сказал тебе этот немец?". "Ты знаешь, все понятно, — отвечал папа. — Этот человек знал несколько слов по-русски, а что неясно, можно объяснить на пальцах или нарисовать на бумаге". И действительно, несколько дней спустя, когда мы шли с папой по улице этого небольшого городка, мимо нас проехала машина, водитель посигналил и с улыбкой помахал папе рукой. А незнакомые мне фрау мило раскланялись с папой в мультимаркте.

...Но самое интересное произошло за день до нашего отъезда из Германии. Мы зашли в небольшой частный магазинчик, где милая пожилая немка предложила нам приобрести соломенное кресло. Она делала это с такой обаятельной настойчивостью, что я даже растерялась. Повернуться и выйти из магазина неудобно — человек так распинается, но и кресло соломенное тоже ведь в Одессу не повезешь. Выручил папа. Как бывший летчик он пантомимой прекрасно изобразил самолет и объяснил, что мы завтра улетаем домой, и поэтому кресло сейчас купить никак не можем. "Ja, ja, — закивала хозяйка, — ich verstehe!". Но чтобы не расстраивать такую симпатичную женщину, папа купил у нее в магазине мочалку, потому что уйти с пустыми руками было невозможно. Все остались довольны, и хозяйка с улыбкой махала нам вслед.

...Но одно дело мимолетное общение в магазине или на улице, и другое дело, когда в Одессу приезжает известный канадский художник Питер Робсон с целью познакомиться с Гавдзинским и совместно написать с ним пейзаж на одном холсте. Когда в Канаде экспонировалась выставка одесских художников, Робсону очень понравились папины работы, и ему захотелось поближе познакомиться с Альбином Станиславовичем и вместе с ним поработать. Питер Робсон приехал в Одессу с женой Элеонорой, журналистом по профессии, и переводчицей из Москвы.

...В переводчице Робсон и папа, по-моему, не нуждались. Через не-

сколько дней они прекрасно понимали друг друга. Их общим языком было искусство. Они бродили по городу, делали зарисовки для будущей работы, а потом шли в мастерскую и в две руки создавали одно произведение: зимний вечер, деревья утопают в снегу, теплым светом мерцают окна оперного театра. Сквозь кружева заснеженных веток пробивается луна, освещая идущие к театру фигуры. Работа называлась "Зимний романс".

...Питер Робсон казался истинным одесситом — веселым, добрым, с огромным чувством юмора. А когда два добрых талантливых человека одинаково воспринимают мир, духовно близки друг другу и общаются на одном, своем любимом языке живописи, то совершенно неважно, что один говорит по-английски, а другой — по-русски.

Их совместная картина была увезена Робсоном в Канаду, где успешно экспонировалась в галерее Лондона. Также она была напечатала на суперобложке книги, написанной Элеонорой Робсон, — "Восток и Запад объединяются через искусство". Сейчас "Зимний романс" находится в одной из частных коллекций Канады.

Белла ВЕРНИКОВА

Как на ветру, во времени своем
Литературно-актуальное эссе

Представляя читателям 10-й номер журнала "Артикль" (http://www.sunround.com/club/journal.htm), посвященный одесской литературе, авторы которой сегодня живут в Украине, Израиле, США, России и других странах мира, приведу высказывания критиков, утвердивших литературный статус поколения одесских писателей последней четверти 20-го — начала 21-го века:

"Никто из них, собранных на этой странице, не следует прямо той литературной традиции, которую принято считать одесской — "смешной".

Стихи Гланца, читая которые ощущаешь себя стремительно скатывающимся по американским горкам в бездну, перекликаются со стихами обэриутов. Философская поэзия Бориса Херсонского щедро питаема религиозными темами и образами. От простой разговорной фразы, банальной жизненной ситуации, нарочито лишенной всякого стиля, строит свой стих, как рассказывает свою жизнь, Белла Верникова. Как мало внешнего блеска и как много мастерства в стихах Сергея Четверткова! И только проницательному читателю видна их горькая ирония.

[...] и совсем уже в американском материале живут герои Вадима Ярмолинца.

[...] Все эти авторы разные. Они мало похожи на привычных широкому читателю "одесских" писателей. Но всех их этот город питает своей могучей энергией".

Д. Кириллов, "Новое русское слово", 11-12 сентября 1999 г.

"Когда читаешь прозу Вадима Ярмолинца, Ефима Ярошевского, Бориса Херсонского, Игоря Павлова, Юрия Овтина, Анатолия Гланца, Петра Межурицкого, то диву даешься: ведь талантливы, как черти, от первой до последней запятой — и такое скромное существование на окраине современного Парнаса!"

Валерий Сердюченко, "Южный город", 18.04.2004 г.

Наше "скромное существование" на литературной окраине имеет ряд причин — главная из них в том, что в бывшем Союзе два поколения писателей конца 1930-х — 50-х годов рождения оказались "задержанными", а потом и "пропущенными" (читайте в "Артикле 10" стихи Владимира Павловича Лукаша).

В издательской рецензии 1988 г. на рукопись сборника прозы и поэзии

"молодых одесских писателей" (нам было тогда от 30 до 40 лет) культуролог Борис Владимирский, автор концепции и сценария экспозиции Одесского литературного музея, предпринял безрезультатную попытку реанимировать региональную литературную жизнь, отметив художественную ценность не допускаемой к печати литературы:

"[...] знакомясь с рукописью в целом, явственно чувствуешь близость глубинных мотивов творчества, отношения писателей к окружающей жизни и отечественной культуре. [...] Очевидностей для них не так уж много. Все надо познать, пережить, утвердить словно впервые. Когда читаешь лирико-иронические рассказы Вадима Ярмолинца "Марлик" и "Предчувствие повести", саркастические фантазии Анатолия Гланца "Лентяй" и "Будни Модеста Павловича" (в соавторстве с Д. Мильнером), углубленно-психологические новеллы Юрия Невежина "Генерал в саду" и "Городская сказка", "странную" повесть Сергея Четверткова "Машинист", прозрачно-печальные стихи Татьяны Мартыновой, напряженно-конфликтные строфы Беллы Верниковой, возникает ощущение сложности и многообразия жизни. [...] Тревожно и актуально звучит вопрос, поставленный в одном из стихотворений Б. Верниковой:

Чему дано в одно соединить
людей живущих и когда-то живших,
архитектуру, говор, склад ума,
вечерний запах моря на остывших
от зноя улицах, где мы живем,
как на ветру, во времени своем?

Чувство жизни — "как на ветру" пронизывает почти всю рукопись. Но "на ветру" — означает не хаотично, беспривязно, а — пропуская сквозь себя все боли и противоречия эпохи и оставаясь при этом человеком. [...]

Принято говорить о рукописях нетрадиционной формы, что они имеют право на существование. Но здесь уместнее сказать о другом. Имеем ли мы — издатели, критики, представители творческих союзов — право и дальше мириться с тем, что целая группа давно и интересно работающих литераторов лишена выхода к широкой читательской аудитории? Это ненормальное положение пора исправлять. Издание предлагаемой рукописи даст возможность ее авторам представить свою работу на суд читателей и полноправно участвовать в литературном процессе. Уверен, что эта книга может стать заметным событием в культурной жизни нашего города".

Книга не вышла, и теперь, по прошествии без малого двадцати лет, можно только пожалеть об этом — некоторые тексты из нее так и не были

опубликованы, судьбы ее авторов сложились без влияния этого издания, а одесская культурная жизнь привычно лишилась еще одного явления, заметного современному читателю и будущему историку литературы.

Одесским неофициальным поэтам (неподцензурным — в терминах начала 21-го века) повезло больше, чем прозаикам. В 1991 г. местное издательство при финансовой поддержке Организации молодежных клубов выпустило поэтическую антологию "Вольный город" (составитель Юрий Михайлик), избежавшую редакторских правок и цензурных ограничений.

В моей статье "Поэтический круг" ("Вечерняя Одесса", 6 марта 1992 г.), где как один из авторов изданной антологии я представила читателям неофициальных одесских поэтов 1970-80-х гг., фиксируются очевидные для современников причины, по которым поэзия, в большинстве текстов не содержавшая прямых выпадов против системы, не допускалась к изданию. Если поэту и удавалось напечатать несколько стихотворений в московском литературном журнале, невозможно было не-члену Союза писателей выпустить книгу стихов в условиях монополии Госиздата. Единичные исключения случались в столице и подтверждали общее правило — система стремилась свести к минимуму число публикуемых авторов, работавших в литературе без оглядки на предписанный идеологический и эстетический канон.

Привожу отрывок из своей статьи, воссоздающий литературную ситуацию, какой она виделась 15 лет назад неподцензурному поэту последних советских десятилетий:

"[...] О том, что поэт не нужен обществу, что его гонит толпа и отторгает свет, достаточно много написали еще классики. В наше время классическую коллизию "поэт и толпа" сменило состояние "поэт в толпе". Все мы люди толпы и дети своего времени — плохо образованные, замотанные неустроенным бытом, обделенные судьбой и гармонией. Но шестое чувство, непонятно как доставшееся человеку толпы в наследство от великой русской поэзии, требовало служения, которое не терпит суеты и профанации.

Общество же требовало иного — если ты нормальный человек и хочешь стать литератором, будь добр, пиши о том, как хорошо в стране советской жить, отображай в литературе темы труда, родины, партии, вышивай цветки на мундире системы. Такой рифмованный набор назывался гражданской поэзией. К нему, как к паровозу, цепляли немного лирики — о любви и о природе, и чтобы все было изложено общедоступным языком — никаких тебе больных вопросов и пограничных ситуаций, лексических и ритмических сдвигов. Если ты человек понятливый, а еще лучше —

малоодаренный, тогда правила будут соблюдены, и можно ставить вопрос об издании твоей книжки и зачислении тебя по писательскому ведомству.

А не хочешь жить, "как все люди", — оставайся до седых волос молодым поэтом, и вся твоя рукописная продукция вместе с тобой сгинет в нетях.

Кто он был? Расплакавшийся гений
или подгулявший наркоман?
Среди строк газетных сожалений
мы его не встретили, Каплан.
Стиснув руль,
во мраке очевидном
бестолково маясь над страной,
он боялся старости постыдной
и добился смерти легковой.

Это стихи Анатолия Гланца, всю жизнь живущего в Одессе и написавшего за последние 20 лет много замечательных стихов и удивительной прозы. Но книги не изданы, и ты как бы отсутствуешь в литературе.

[...] Держа в уме блистательный ряд имен, не расслышанных при жизни, [...] не будем сокрушаться вслух. Мир живет по своим законам, и поэзия не входит в число первых потребностей — "ни съесть, ни выпить, ни поцеловать".

Но если живо слово, найдутся и читатели, ибо душа взыскует поэзии.

С ее горячим дыханием, пронизывающим статичную обыденность жизни, как в стихах Сергея Четверткова:

Как будто с уголка расклеив
обыденности письмецо,
горячим сквозняком повеяв,
чужая жизнь дохнет в лицо,
и величайшим откровеньем
перед тобой предстанет вдруг
курсантов бедное веселье
в глухом училищном саду.

Со спокойной верой в свое предназначение, оттеняющей нежные строки о юности и о любви, как у Анны Сон:

Семнадцать лет. По улицам кружить,
Читать Ахматову и Гумилева,
Дышать вполсилы, в четверть силы жить,
И впитывать изысканное слово
И воздух невообразимых стран.

Влюблять в себя родного человека
И принимать предутренний туман
За петербургский день начала века.

С горькой беззащитностью стихов Петра Межурицкого:

В середине недели
От всего, что болит,
Умирал в самом деле
Инженер Ипполит.
Исчезая со света,
Он прилег на кровать —
И так странно все это,
Что и не передать.

И с множеством других черт, присущих подлинной поэзии и явленных в стихах моих друзей — поэтов одного круга. Или "Круга" — так называется литературная студия объединения молодежных клубов, которую более 10 лет ведет Юрий Николаевич Михайлик.

Именно эта студия помогла многим одаренным людям в нашем городе в глухие 80-е годы обрести уверенность в своих силах, продолжать писать так, как ты считаешь нужным, пусть "в стол", но не чувствуя себя при этом человеком подполья со всеми его разрушительными комплексами. Из года в год собирались по пятницам непризнанные поэты и прозаики, кто-то уходил, приходили другие, читали друг другу только что написанные тексты, радовались удачам, без обиняков критиковали слабые вещи, говорили о литературе, о жизни. Суть происходившего здесь хорошо передает цитата из статьи немецкого философа Гадамера "Философия и литература":

"В действительности критика сводится не столько к различению хорошего и плохого в произведении искусства, сколько к тому, чтобы отличить удавшееся произведение от неудавшегося, и уж тем более от заведомой халтуры".

Замечательным итогом этого десятилетия, невозможным ранее, но и не очень доступным сегодня, стало издание в "Маяке" сборника стихов авторов "Круга". Сборник называется "Вольный город" и свидетельствует о том, что художественный феномен Одессы — не только красивая легенда, но и реальная действительность. За этой небольшой книжкой, которая продается сейчас в книжных магазинах города, стоит целая литература — больше двадцати поэтических книг, рассказы, романы, пьесы. Когда все это будет издано, можно будет всерьез говорить о литературной Одессе 80-х годов".

Хочется напомнить, что наше пренебрежение к официальному статусу советского писателя мотивировалось отнюдь не стоическим отказом от чего-то заманчивого. Поэты моего круга, с начала 1970-х гг. читавшие самиздат, не могли сочинять "паровозы", совмещая их со своими стихами, поскольку не умели и не хотели писать заведомую халтуру. Представленное в одесской поэтической антологии "Вольный город" состояние "поэт в толпе" требовало неординарного и внятного индивидуального высказывания. При недоступной для многих из нас перспективе достичь высокого положения и уровня жизни вполне реальным было осуществление интеллектуальных амбиций, к которым относится и стремление не зарыть в землю отпущенный тебе талант. Я думаю, что именно интеллектуальная амбициозность не позволяла нам опускать планку и сочинять "проходимые" в советских издательствах тексты-"паровозы", переводящие поэта и прозаика из неподцензурных авторов в разряд печатающихся писателей.

Живя в литературной провинции (см. эссе Юрия Михайлика) и, по условиям советской цензуры, не имея доступа к журналам, возможности издать свои книги, быть прочитанными и оцененными критиками, которых интересует сам текст, а не внелитературные факторы, одесские неофициальные писатели и в постсоветские годы не занимались выстраиванием иерархических отношений с законодателями литературных мод. Для человека с развитым чувством собственного достоинства такого рода отношения часто неприемлемы.

К счастью, великое техническое изобретение нашего времени и его широкое культурное распространение — русский литературный Интернет — дало нам возможность публикации, что сразу же выявило яркие дарования, оригинальность и своеобычность современной одесской литературы. Как сказал Ефим Ярошевский в интервью Дмитрию Скафиди: "Трудно переоценить громадное значение сети в деле превращения неизвестной литературы в широко известную". О наших публикациях в литературном Интернете читайте также в интервью Вадима Ярмолинца и моих, помещенных в "Артикле 10".

Художественная практика неофициальных одесских писателей и художников 1960-80-х годов подтверждает неадекватность для русской литературы последней трети 20-го века тезиса о распространении и рутинизации идей от центра к провинции и требует пересмотра понятий "столичная" и "провинциальная" литература, неизбежного при переходе от сложившейся в 19-м веке модели литературной иерархии к социокультурной модели литературного пространства. Это теоретическое построение под-

крепляется свидетельствами московских концептуалистов, отдающих должное влиянию на их творчество одесского художественного авангарда (о Валентине Хруще, Людмиле Ястреб, Станиславе Сычеве, Александре Ануфриеве, Владимире Стрельникове, Люсьене Дульфане, Олеге Соколове и других одесских художниках см. в "Артикле 10" эссе Евгения Голубовского "Там все Европой дышит, веет...").

Культурологическая модель литературного пространства наиболее приемлема в условиях безграничного расширения русского литературного зарубежья и развития Интернета. В начале 21-го века одесские авторы неизданного сборника стихов и прозы, который был высоко оценен Борисом Владимирским, и вышедшей в Одессе поэтической антологии "Вольный город" живут в разных странах. Как написала когда-то Мария Галина:

Кто смог — тот уехал,
кто в город другой, кто в страну,
кто смог — тот остался;
а ночи все глуше и тише,
но каждую южную, каждую злую весну
ложатся прозрачные тени на окна и крыши...

Проведенный в 2000-м году литературный конкурс "Сетевой Дюк" собрал поэтов и прозаиков, которые как писатели сложились в Одессе, объединив в рамках современной одесской литературы авторов разного возраста, гражданства и различных стилистических пристрастий. В первом разделе "Артикля 10" опубликованы интервью и эссе члена жюри "Сетевого Дюка" Семена Лившина (Сан-Диего, США) и победителей сетевого литературного конкурса Игоря Павлова и Ефима Ярошевского (Одесса). Эти материалы, как и эссе Феликса Гойхмана, автора предисловия к "Антологии поэзии Израиль 2005", демонстрируют непростой путь от писательской безвестности к ощутимому присутствию в литературе. Во многих текстах "Артикля 10" упоминается весомая составляющая одесского литературного мифа — одесские писатели 20-х годов. А ведь мы помним время, когда этого мифа еще не было. Как сказал Вадим Ярмолинец в интервью Леониду Делицину: "Ох, как я стар! Я суперстар!".

Я окончила среднюю школу в 1968 году, в год смерти Константина Георгиевича Паустовского. Изданная десятью годами ранее книга Паустовского "Время больших ожиданий" положила начало мифу об одесской литературе 20-х годов. Имя Бабеля, не говоря уже о других писателях-одесситах, многие узнавали из этой книжки. В сборнике Одесского литературного музея приведено письмо К. Паустовского редакции журнала "Но-

вый мир", отклонившей текст "Времени больших ожиданий" и неуважительно отозвавшейся о Бабеле и Багрицком, на что Паустовский ответил:

"В книге, по-Вашему, показаны разные "щелкоперы новой прессы". Такое заявление более пристало гоголевскому городничему, чем редакции передового журнала. Щелкоперов нет! Есть люди. Люди во всем разнообразии их качеств, и незачем клеить на них унизительные ярлыки...

Что касается Бабеля, то я считал, считаю и буду считать его очень талантливым писателем и обнажаю голову перед жестокой и бессмысленной его гибелью, как равно и перед гибелью многих других наших писателей и поэтов, независимо от их национальности. Если редакция "Нового мира" думает иначе, то это дело ее совести... Почему Багрицкого, человека шутливого, вольного, простого, Вы считаете изображенным в качестве трогательно-придурковатого стихолюба? Из чего это видно? Неужели из того, что он ненавидел чванство и спесь, ставшие одной из современных доблестей".

"Дом князя Гагарина", Одесса, 1997, стр. 170.

"Русские поэты — это поэты, создававшие произведения на русском языке, независимо от национальности, гражданства и места проживания".

Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
Категория: Русские поэты.

В моих эссе последних лет, опубликованных в ряде изданий (Иерусалим, Санкт-Петербург, Одесса), проблемы литературной идентификации писателей, живущих в странах русского зарубежья и пишущих по-русски, рассматриваются применительно к одесским поэтам нашего поколения:

"Я определяю себя словом "поэт", но соглашаюсь и с определением "поэтесса", как, например, в статье Юрия Виноградова, помещенной на сайте журнала ODESSA (7-8, 1999):

"...тут мне на память приходят строки пребывающей ныне в дальнем зарубежье одесской поэтессы Беллы Верниковой: ...им взрослым без нас на земле оставаться".

Здесь уместно сказать, что к писателям, начинающим литературную работу в одной стране и продолжающим ее в другой, применимо несколько локально-культурных определений. Мы с Феликсом Гойхманом, являясь израильскими писателями, работающими на русском языке, или, в глазах одесских читателей, одесскими поэтами, пребывающими в дальнем зарубежье, остаемся русскими поэтами по языку и культурной традиции..."
http://odessitclub.org/publications/almanac/alm_17/alm_17_214-217.pdf

"Одесский еврей Анатолий Гланц, ныне американец и житель Нью-Йорка, и белоруска Татьяна Мартынова, с 1970-х годов живущая в Одес-

се, ныне в Украине, остаются русскими поэтами по языку и культурной традиции, так как "базовые культурные модели и направляющие образцы получены ими из русской поэзии, а не из германоязычной немецкой и английской или романоязычной итальянской и французской поэзии, где подобные модели также присутствуют" (автоцитата, см.: http://odessitclub.org/publications/almanac/alm_17/alm_17_214-217.pdf).

Нечто подобное уже случалось в прошлом веке при развале империй. К примеру, Франц Кафка:

"Еврей по происхождению, пражанин по месту рождения и жительства, немецкий писатель по языку и австрийский писатель по культурной традиции" (Из предисловия Д. Затонского к сборнику прозы Ф. Кафки в московском издании 1989 г.)" http://www.netslova.ru/vernikova/kp.html, http://odessitclub.org/publications/almanac/alm_23/alm_23_218-229.pdf, http://www.era-izdat.com/lit-jerusalem-int.pdf (стр. 88)

Не случайно сетевой журнал "Артикль 10", представивший читателям весомый корпус текстов одесских писателей нашего литературного поколения, выходит в Израиле. В одесской литературе всегда присутствовала мощная еврейская составляющая — по причине истории и демографии города, треть населения которого к началу 20-го века составляли евреи, а также в силу талантливости еврейского народа. Любителям процентной нормы в литературе напомню, что все сто процентов авторов Библии были евреями, что никак не снижает достоинств Книги Книг.

Табуированность еврейской темы в официальной литературе советского периода преодолевается в "Артикле 10" в стихах Бориса Херсонского (Одесса), Риты Бальминой (Нью-Йорк), в прозе Олега Губаря (Одесса), Вадима Ярмолинца (Нью-Йорк), Петра Межурицкого, Якова Шехтера, Ефима Гаммера (Израиль) и других авторов.

Традиция фантастического реализма, жанрово близкая социальной фантастике, привлекавшая одесских неофициальных авторов в силу гротеска и абсурдности повседневной жизни, представлена в "Артикле 10" прозой Сергея Четверткова (Одесса), Анатолия Гланца (Нью-Йорк), Павла Лукаша (Тель-Авив).

В моем радиоинтервью 2006 г., вышедшем в сетевых и печатных изданиях в Италии, Израиле, в альманахе "Дерибасовская — Ришельевская" (№ 28, 2007), указан мотив собирания одесской литературы в прозе Петра Межурицкого, опубликованной в московском литературно-философском журнале "Топос" (http://topos.ru/author/774/works) и в сетевой библиотеке Александра Кобринского, составителя "Антологии поэзии Израиль 2005" (http://www.geocities.com/sibnsina04/almnh/).

Отмеченное в интервью литературное пародирование юдофобских клише в иронической прозе П. Межурицкого и Е. Гаммера, присуще и пародии Семена Лившина "Двести лет, как жизни нет", впервые опубликованной в литературном интернет-журнале "Сетевая словесность" (Санкт-Петербург, 2003, http://www.netslova.ru/livshin/200let.html).

Как заметил Марк Найдорф в эссе "Культура и мистика СМИ", напечатанном ранее в одесском альманахе иудаики "Мория" (№ 3, 2005):

"Политическая карта мира для большинства людей "заполнена" лишь частично — только теми странами, о которых больше других упоминают средства массовой информации. В Организации Объединенных Наций состоит почти две сотни государств, но о некоторых из них массы людей узнают лишь тогда, когда там происходит государственный переворот, дающий повод для телерепортажей. Есть страны, которые годами остаются вне новостей, и поэтому — для масс — как бы вне реальности, "off the map", как говорят американцы, т. е. "вне карты". http://www.moria.farlep.net/ru/almanah_03/01_05.htm

Маленькая по территории страна Израиль присутствует в новостях постоянно, причем картинки и комментарии тележурналистов часто политически ангажированы и предвзяты. Бывшая турецкая провинция Палестина в 1921 году была разделена на две части, для двух населяющих ее народов, — на арабскую Трансиорданию и подмандатную Англии Палестину, которая по декларации Бальфура должна была стать национальным центром еврейского народа, преобразованным впоследствии в еврейское государство. Арабские страны Ближнего Востока, как и Израиль, получили независимость в 1940-е годы, однако их постоянные территориальные претензии к Израилю, агрессивные войны и терроризм освещаются, в частности, российскими СМИ как нечто позитивное и обоснованное.

На нашей памяти Египет и Сирия входили в одно государство — Объединенную Арабскую Республику (ОАР). Потом они разделились, образовав, соответственно, египетский и сирийский народы. Как отмечено в моих статьях в "Вестнике еврейского университета" (Москва — Иерусалим, № 8, 2003) и в одесском альманахе иудаики "Мория" (№ 6, 2006), понятия *палестинский народ* не существовало до создания Государства Израиль:

"Жившие тогда в Палестине арабы не идентифицировали себя как "палестинский народ", такого понятия не существовало в 19 — первой половине 20 вв. Встречающиеся в литературе этого периода выражения "палестинцы", "палестинское движение", "палестинское общество", "палес-

тинская идея" относятся к евреям — приверженцам "Ховевей Цион" и сионизма". http://www.moria.farlep.net/ru/almanah_06/01_10.htm

Эти историко-лингвистические перемены соотносятся с проблематикой помещенного в "Артикле 10" рассказа Петра Межурицкого "Разум за разум".

В моей статье в альманахе "Мория" указана причина неприязненного отношения советских и постсоветских СМИ к Израилю и к сионизму:

"В советское время имя Льва Пинскера было предано полному забвению, так как несовместимый с классовой борьбой сионизм отвергался еще Лениным, а с конца 1940-х гг. становится в СССР идеологическим жупелом, пригодным для публичного выражения государственного и личного антисемитизма".

Белла Верникова.
Лев Пинскер, соредактор второго русско-еврейского журнала "Сион"
и провозвестник сионизма http://www.moria.farlep.net/ru/almanah_06/01_10.htm

По той же причине в советские годы было изъято из культурного обихода имя Владимира (Зеева) Жаботинского, и для нас не существовало его чудесной одесской повести "Пятеро" (Париж, Ars, 1936), см. в журнале предисловие Евгения Голубовского к первому одесскому изданию.

Внимание одесских поэтов нашего круга к жизненному обиходу, отмеченное в моем эссе "Кстати, о птичках" (опубликовано в России, Украине, Израиле), во многом определяет индивидуальный характер и неординарность поэзии, собранной в "Артикле 10". Поэзия, живопись и музыка сочетаются с прозой жизни в стихах одесских поэтов так же непосредственно и закономерно, как в рассказе Вадима Ярмолинца "Роковое лето" и в других текстах этого журнала.

Стихи Анатолия Гланца — уникальное явление в русской поэзии 20-го века. Его постхлебниковский "Сад" — верлибр, написанный в 1980-е годы и опубликованный в начале 21-го века в журнале "Дети РА": http://www.detira.ru/arhiv/3_2004/glanz.htm, и в Антологии литературно-художественного журнала "Футурум АРТ": http://www.futurum-art.ru/autors/glanc.php, породил в современной поэзии новую постхлебниковскую традицию, что также опровергает тезис о распространении и рутинизации идей от центра к провинции.

Никто так замечательно не написал об Одессе, как Гланц в давнем своем стихотворении:

Сохрани это счастье вдыхать акации.
И хотя ветерок проскользнул за ворот —
это ласковый город.

Гланц, Анатолий Франкович

Стихи Бориса Херсонского, получившие сегодня широкую известность, я помню несколько десятилетий:

На планете лишний рот
мой народ.

http://www.vavilon.ru/texts/khersonsky1-1.html

Уникальность поэзии Бориса Херсонского, на мой взгляд, прежде всего в том, что воссоздав на русском языке тексты классических культурных традиций — еврейской (псалмы Давида) и китайской (книга Дао), поэт насыщает тематикой и стилистикой этих поэтик свои современные стихи.

В "Артикле 10" Херсонский представлен новыми стихами, опубликованными в его авторском журнале: http://borkhers.livejournal.com.

Верлибры и рифмованные стихотворения Сергея Четверткова, постоянного сценариста фильмов Киры Муратовой (http://arthouse.film.ru/person.asp?id=450), вошедшие в антологию "Вольный город" и написанные сегодня, в своем обращении к повседневной жизни начисто лишены стилистической обыденности. Как написал мне в письме Петр Межурицкий при обсуждении содержания "Артикля 10":

"Сережа, например, пишет о выходе из запоя. Казалось бы, уж для русской-то литературы пласт из наироднейших, затронутый и перепаханный вдоль и поперек. А читаешь эту вещь — читать и перечитывать.

И в целом во всех материалах собственно экзотики нет никакой — явление о самом себе как об экзотическом повествовать не станет, если, конечно, будет искренним и точным. Для себя-то самого оно самое натуральное из всего сущего. И вот эта натуральность сущего — в самых разнообразных формах передается".

Я включила в раздел *Поэзия* малоизвестное стихотворение Бориса Пастернака "Одесса" и поэтический фрагмент, заканчивающийся вопросом, предвещающим роман "Доктор Живаго": "Было ли это? Какой это стиль? / Где эти годы? / Можно ль вернуть эту жизнь, эту быль, / Эту свободу?" — оба стихотворения впервые напечатаны в газете "Красный Флот" весной 1944 г.

Родители Бориса Пастернака переехали из Одессы в Москву за год до его рождения. Боль, ощутимая в стихотворении "Одесса", связана с биографической ситуацией поэта — видимо, в Одессе в годы фашистской оккупации оставались его родственники, убитые в массовых акциях уничтожения евреев, о чем Пастернак узнал, приехав в апреле 1944 г. в освобожденный город.

По биографическим причинам в "Артикль 10" включены также стихи и проза живущих в Израиле Семена Гринберга, родившегося в Одессе до

второй мировой войны, и Ефима Гаммера, родившегося в семье, в 1941 г. эвакуированной из Одессы.

Современное распространение Интернета позволило восстановить прерванные дружеские контакты писателей нашего круга, оставшихся в Одессе и уехавших за пределы Черноморского региона. Что имело позитивные последствия не только в деле публикации и собирания одесской литературы, как в конкурсе "Сетевой Дюк" или в моих сетевых проектах — "Литературный архив" на сайте издательства Э.РА: http://www.era-izdat.com/arhiv.htm и "Антология одного стихотворения" на сайте ИЕРОГЛИФ: http://hiero.ru/Bv, но и в создании новых книг.

Я в Иерусалиме и Татьяна Мартынова в Одессе в соавторстве сочинили по e-mail-переписке детскую и взрослую книжку "Мурка тебе написала письмо!", изданную с авторскими иллюстрациями в 2006 г. в международном издательстве Э.РА и представленную на сайте издательства: http://www.era-izdat.com/detsk1.htm, а также на специализированном российском сайте для детей и родителей "Детки-74": http://www.book.detki-74.ru/?p=6.

Героиня этой книжки Мурка ведет литературную e-mail-переписку с другой симпатичной кошечкой — Хатулькой, уехавшей со своим хозяином в Израиль (читайте "Муркины письма" в "Артикле 10"). При написании нашей с Таней Мартыновой Муркиной книжки, совсем по Ильфу и Петрову, — загадочная славянская душа встретилась с загадочной еврейской душой — благодаря наличию электронной почты.

Проще всего сказать, что авторы "Артикля 10" развивают лучшие традиции одесской литературы. Но можно и сравнивать. Такой поэзии, какую создали одесские поэты моего поколения, в этом городе не было никогда (читайте раздел *Поэзия и публикации*, представленные линками на поэтических страницах).

Одесская литература 20-х годов — миф, в первую очередь потому, что вся она создавалась писателями-одесситами уже в столице. Корректнее говорить о том, что в послереволюционные годы Одесса дала русской литературе несколько больших писателей — Бабеля, Олешу, Ильфа и Петрова, одного большого поэта — Багрицкого, и ряд хороших писателей, связанных с ними биографически.

Имена значительных писателей моего поколения указаны в критических отзывах Д. Кириллова и В. Сердюченко, приведенных в начале эссе и в других текстах этого издания. К тому же, мы живы и продолжаем работать. Сегодня об авторах "Артикля 10" нельзя сказать — неофициаль-

ные писатели. Издав свои книги, публикуясь в печатных и сетевых литературных журналах и поэтических антологиях разных стран мира, сохраняя неординарность индивидуального высказывания и демонстрируя современные возможности обновления стиха и прозы, мы возвращаемся к одесскому читателю известными писателями.

Два выходящих в Одессе толстых журнала, альманахи "Дерибасовская — Ришельевская" и "Мория", с удовольствием печатают наши тексты, так как с их публикацией издание становится интереснее, переходит на более высокий качественный уровень. Выпускают эти журналы одесские публицисты и прозаики, чьи произведения также вошли в "Артикль 10" — Феликс Кохрихт, Евгений Голубовский и Олег Губарь делают альманах "Дерибасовская — Ришельевская", мы с Марком Найдорфом входим в редколлегию одесского альманаха иудаики "Мория". Ряд авторов "Артикля 10" связаны с литературной периодикой, выходящей в других странах: Борис Херсонский — с журналом "Крещатик" (Германия), Рита Бальмина готовит к выпуску нью-йоркский "Членский журнал", Петр Межурицкий и Павел Лукаш входят в редколлегию интернет-журнала "Артикль", размещенного на сайте Тель-авивского клуба литераторов и журнала "22", благодаря чему состоялась сетевая публикация "Артикля 10". Предполагается также его печатное издание.

Свою задачу составителя "Артикля 10" я могу определить словами из эссе Евгения Голубовского — существенная работа была проделана мною (при участии Петра Межурицкого и Вадима Ярмолинца) "во имя родного города — собрать не случайные картины, а целостный мир, дающий представление" о ценности и значительности одесской литературы нашего задержанного поколения.

* * *

Литературный Интернет-журнал "Артикль" № 10 (Тель-Авив, 2007)
http://www.sunround.com/club/journal.htm

Содержание

Эссе, интервью

• Белла Верникова. *Как на ветру, во времени своем*
• Юрий Михайлик. *Из вольного города поэзии*
• Семен Лившин. *Дом, который построил "Дюк"*
• Дмитрий Скафиди. *Интервью с Ефимом Ярошевским, победителем конкурса "Сетевой Дюк — 2000"*
• Игорь Павлов. *Хаджибей и Фонтан — источники моей поэзии*

• Феликс Гойхман. *Несколько предварительных признаний*

• Вадим Ярмолинец. *Не Бабель и Олеша, а "Зеппелин" и "Роллинги"*

• Леонид Делицын, Вадим Ярмолинец. *Профессионалы придут в Интернет*

• Феликс Кохрихт. *Лили Голден с Утесовым*

• Марк Найдорф. *Культура и мистика СМИ*

• Белла Верникова. *Популярные литературные интернет-журналы*

• Евгений Голубовский. *Там все Европой дышит, веет...*

Предисловие к одесскому изданию повести В. Жаботинского "Пятеро"

Проза

• Петр Межурицкий. *Разум за разум*

• Вадим Ярмолинец. *Роковое лето. Как говорят в Одессе. Антология одного стихотворения*

• Ефим Ярошевский. *Ветер века*

• Сергей Четвертков. *Главы из романа "Стень"*

• Яков Шехтер. *Царь, царевич, сапожник, портной*

• Семен Лившин. *Двести лет, как жизни нет. Дерибасовская угол Монмартра*

• Белла Верникова, Татьяна Мартынова. *Муркины письма*

• Анатолий Гланц. *Покушение. Прокурор города Гайворон. Вы еще о нас пожалеете!*

• Павел Лукаш. *Новый ТЕРМОТРУП*

• Ефим Гаммер. *Главы из сатирического романа "Засланцы"*

• Олег Губарь. *Маркус*

Поэзия

• Анатолий Гланц

• Игорь Павлов

• Борис Херсонский

• Белла Верникова

• Татьяна Мартынова

• Юрий Михайлик

• Петр Межурицкий

• Сергей Четвертков

• Мария Галина

• Валерий Бодылев

• Рита Бальмина

- Феликс Гойхман
- Анна Сон
- Павел Лукаш
- Владимир Лукаш
- Ефим Ярошевский
- Ольга Ильницкая
- Олег Губарь
- Анна Божко
- Семен Гринберг
- Сусанна Ланс
- Елена Гассий
- Борис Пастернак

Составитель номера Белла Верникова
при участии Петра Межурицкого и Вадима Ярмолинца



Целан и Мандельштам. Диалоги

От редакции. Представлять нашему читателю О. Мандельштама нет нужды — он стал классиком поэзии XX века. А имя Пауля Целана еще недостаточно известно, так как переводы его на русский чрезвычайно сложны. П. Целан родился в 1920 году в Черновцах, тогда входивших в состав Австрии. Покончил с собой в 1970 году в Париже. И он стал уже классиком поэзии XX века.

Где-то в 20-е годы Мандельштам в статье "Слово и культура"[1] писал, что поэты говорят на языке всех культур. С этой точки зрения многоязыкие и поликультурные Черновцы, родина Целана, и в самом деле — город поэтов. Поэты из этого города не остались безвестными. Наряду с такими именами, как Роза Ауслендер, Альфред Маргуль-Шпербер, Альфред Киттнер, Иммануэль Вайсглаз, Мозес Розенкранц, классики украинской литературы Юрий Федькович и Ольга Кобылянская, появляются новые имена. Следует упомянуть хотя бы пишущего по-русски Игоря Померанцева или современного украинского поэта Моисея Фишбейна. Оба они родились в конце сороковых годов и, как Целан, перед тем как уехать навсегда, провели в этом городе детство и юность. В те годы существовала еще возможность ощутить пусть лишь привкус того особого воздуха прежних Черновцов (Черновиц — при Австрии, Черноуцы — при румынах), в составе которого немецкие, украинские, румынские, еврейские компоненты, смешиваясь, ухитрялись сохранять свою форму и структуру. Знаменитая впоследствии поэтесса Роза Ауслендер, старшая современница Целана, писала, имея в виду этот дух города, о "глубоких разветвленных корнях различных культур, что тесно сплелись друг с другом ..."[2]. Именно этой атмосферой и этим культурным пространством были означены детство и юность Целана. Слова Мандельштама он удостоверил своей поэзией и жизнью.

Целан открыл для себя Мандельштама во второй половине пятидесятых годов. Как отмечает Христина Иванович, внимание Целана к поэтам

[1] Здесь и далее: Осип Мандельштам. Собрание сочинений в трех томах. Под ред. Г. Струве и Б. Филиппова. Inter-Language Literary Associates, Washington/New York, 1967-1971.

[2] Rose Ausländer. Erinnerung an eine Stadt. Die Nacht hat zahllose Augen. Prosa. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt/Main, 1995.

Здесь и далее — мои переводы с немецкого. — **М. Б.**

Серебряного века, в том числе и к Мандельштаму, привлек филолог-славист родом из Буковины Эммануил Райс[3].

Целан не только приобрел вышедшее тогда в Нью-Йорке собрание стихотворений и прозы Мандельштама, но и отыскал у букинистов все его прижизненные сборники. Излишне подробно останавливаться на том, как высоко оценивал поэзию Мандельштама один из первых в Европе его переводчиков и популяризаторов. Целан пишет для радио эссе о Мандельштаме, читает по радио и на своих поэтических вечерах переводы его стихов. Процитирую лишь письмо Глебу Струве от 29 января 1960. "Я не знаю другого поэта поколения Мандельштама, который бы как Мандельштам *был во времени*, и пребывая помыслами вместе с временем и вне этого времени, додумывал бы его до конца в каждое мгновение, во временной предметности и событийности. Причем додумывал в словах, равным образом открытых и герметичных, что становятся предметом и событием и должны за них стоять"[4].

Известно, какое глубочайшее воздействие оказала на Пауля Целана поэтика Мандельштама, его видение мировой культуры и его трагическая судьба. Речь пойдет о взаимодействии, о перекличке, о внутренней близости двух поэтов, принадлежащих к разным мирам, эпохам и поколениям. Целану не исполнилось 18, когда Мандельштам умер в лагере в 1938 году.

Высказываясь о его творчестве, Целан, по сути, говорит о себе и своей поэзии. В конце упоминавшегося уже письма к Струве : "Следует ли мне упомянуть, что я сам пишу стихи...". А в послесловии 1959 года к мандельштамовским переводам можно прочесть о том, что у Мандельштама "стих является местом, где посредством языка соединяется воедино ощущаемое и умопостигаемое, оно обретает форму и подлинность, чтобы воплотить в себе собственное время и время мира, биение сердца и вопрошающее вечность бытие этой единичности"[5]. В свою очередь, о Целане и его поэтике удается говорить словами самого Мандельштама, обращаясь к его эссеистике. Когда Мандельштам подчеркивает в статье "О природе слова", что "по существу нет никакой разницы между словом и образом", это может быть в полной мере отнесено к поэзии Целана. Порой эта общность в постижении природы творчества и слова представляется беседой поверх временных и языковых

[3] Christine Ivanovic "Im Grunde bin ich wohl ein russischer Dichter". Dichtung und Poetik Celans im Kontext seiner russischen Lektueren. Lyrik Kabinett, Muenchen, 1998.

Для упомянутого в прим. 1 издания Мандельштама Э. Райс написал статью "Творчество Осипа Мандельштама".

[4] Briefe an Gleb Struve. Paul Celan. Materialien. Suhrkamp, Frankfurt/ Mein, 1988.

[5] Paul Celan. Uebertragungen aus dem Russischen. Alexander Blok, Ossip Mandelstam, Sergej Jessenin. S.Fischer Verlag, Frankfurt/Main, 1986.

границ, когда собеседники с полуслова понимают друг друга. И Целан говорит по-русски ("По сути я, пожалуй, русский поэт [...]" — в письме к Владимиру Маркову 1961 г.), а Мандельштам, конечно же, по-немецки ("Чужая речь мне будет оболочкой"). Если Целан в "Бременской" речи[6] объявляет, что стихотворение по самой своей сущности диалогично, Мандельштам тут же отзывается в статье "О собеседнике": "Нет лирики без диалога", а Целан уточняет в "Меридиане"[7]: "Для стихотворения, устремленного к Другому, всякий предмет и каждый человек — образ этого Другого".

Говоря об особой сосредоточенности стихотворения, Целан цитирует там же, в "Меридиане", Вальтера Беньямина: "Внимание — это естественная молитва души". Немедленно следует реплика Мандельштама из "Записей 1935-1936 годов": "Внимание — доблесть лирического поэта". "В поисках действительности, израненный ею, он [поэт] устремляется вместе со своим бытием к языку", — говорит Целан под конец Бременской речи, "актуализированному языку", — добавляет он в "Меридиане". Мандельштам в ответ отмечает "чудовищно-уплотненную реальность" произведений искусства. "Эта реальность в поэзии — слово, как таковое" ("Утро акмеизма").

Нельзя не обратить внимание, как совпадают и пересекаются трактовки обоими поэтами насущных задач поэзии, причем даже в форме их изложения. Думаю, еще более очевидны эти соответствия внутреннему зрению Целана, "...для меня Мандельштам означает *встречу*, какая редко бывает в жизни. Это — братство, явленное мне из дальнего далека"[8]. Так пишет он критику Владимиру Маркову.

Сборник "Роза-Никому", 1963 года, появившийся через несколько лет после публикации переводов из Мандельштама и посвященный его памяти, — развернутая в целую книгу метафора этого братства. Четвертая из восьми поэтических книг, составленных самим Целаном, она возникает перед поворотом, на середине отмеренного пути поэта. Следующий сборник, 1967 года, — "Поворот дыхания", где Целан явственно меняет поэтику, отказываясь от тропов в поэтической речи. "Роза-Никому" становится помышлением о пройденном пути, помышлением вместе с Мандельштамом и в сторону Мандельштама. "[Эти стихи] проделали вместе со мною нелегкий путь", — отмечает Целан в письме к Бригитте Берманн-Фишер

[6] Речь при вручении литературной премии Вольного Ганзейского города Бремена, 1958

[7] "Меридиан" — речь в связи с присуждением литературной премии им. Георга Бюхнера, 1960 г.

[8] Из письма от 31.05.1961 г. John Felstiner. Paul Celan. Eine Biographie. Verlag C.H.Beck, Muenchen, 1997.

в год выхода сборника (письмо от 3.10.1963). В стихах Целан словно проходит заново путь по "черновицкому меридиану"[9], ведущий через утраты и унижения юности в бездомность пожизненной эмиграции. В стихотворении из "Розы-Никому" говорится о "погорельце", изгнаннике, жителе несуществующей — а может, никогда и не существовавшей — Померании:

[...] дом родной ему\
ему песенка о майском жуке,\
а она все мамой и летом, светло-\
цветом на краю\
крутых\
нестынущих-холодных\
слогов.\

Лишь язык матери и поэзии, *Muttersprache*, "остался неутраченным среди стольких утрат"[10].

Следует отметить, что на этом же пути Целан попадает ненадолго в советскую жизнь. Он постигает ее студентом университета в советских Черновцах 1940 и 1944-1945 годов вместе с углублением в русский язык. Между двумя датами была немецко-румынская оккупация, черновицкое гетто, смерть в лагере родителей. Именно таким образом у "черновицкого меридиана" начинается "дорога в Россию" ("Все иначе..."), дорога в русскую поэзию, а значит, к Мандельштаму. И она, эта дорога, образ пути в его многомерности и трагической протяженности проступает на страницах книги. От вопроса в начале сборника: "Куда этот путь, если он никуда не ведет?" ("Земля была в них...") через "Слово про-движение-вглубь" в одноименном стихе до "[...] тех, кого вели через звездные пустыни души", — в завершающем стихотворении "Здесь в этом воздухе ...".

Отсюда главный лейтмотив книги, ее дыхание и мотор: судьба поэта в этом мире, обретающая свой смысл и назначение в жизни слова. Еврейская, так сказать, судьба поэта. У Целана неоднократно в письмах, что еврейское для него — означает человечное[11]. Для Пауля Анчела, еврея из гетто, мальчика из трижды оккупированного города, жертвы тотального на-

[9] В письмах к друзьям юности Целан нередко упоминает "мой черновицкий меридиан". Вообще, "меридиан" как образ довольно часто встречается в стихотворениях и письмах Целана, не говоря уже о названии речи, посвященной вручению Бюхнеровской премии. Он для поэта воплощает особо значимую случайную и не случайную взаимосвязь вещей и явлений.

[10] Бременская речь, см. Прим. 6

[11] Письмо к Ханне и Герману Ленцам от 26.12.1961 г. Paul Celan. Hanne und Hermann Lenz. Briefwechsel. Suhrkamp Verrlag, Frankfurt/Main 2001.

силия, наконец, апатрида и скитальца, и для Пауля Целана, слагающего стихи после Аушвица, два эти образа — поэта и еврея — сливаются воедино. Эпиграфы к двум стихотворениям, вошедшим в сборник, возможно, лучше всего определяют его общую направленность и сокровенный смысл. Один — к стихотворению "Benedicta", благословение. Это еврейская песенка на идиш, языке скитания и рассеяния.

А можно взобраться на небо
и спросить у Бога: должно ли все так быть?

Другой эпиграф к стихотворению "С книгой из Тарусы" Целан взял из Марины Цветаевой. Он, видимо, по памяти, неточно процитировал "Поэму Конца":

В христианнейшем из миров
поэты — жиды.

Под названием "С книгой из Тарусы" написано кириллицей "Все поэты — жиды" — оговорка значимая.

Думается, что страшная участь Мандельштама, собрата-поэта, еврея, пишущего по-русски, гонимого изгоя и лагерника, была для Целана в каком-то роде проекцией, возможным вариантом его собственной судьбы. В стихотворении "Все иначе..." их судьбы, эти два изгойства, два внутренних одиночества и отчаяния, пересекаются и соединяются. В "метаморфозе свертывающегося и развертывающегося *литературного времени*" — сказал бы Мандельштам — каждому достаются обе судьбы.

имя Осип подступает к тебе [...],\
ты его руки отделяешь от плеч, правую, левую,\
ты приставляешь на их место свои, с ладонями, с пальцами,
с линиями [...]\
имя с именем, рука с рукой,\
возьми в залог их с собой,\
и он это берет, и ты обретаешь\
вновь то твое, что было его [...]

Целан своим стихотворением прорывается в лагерную зону, теперь это и его место.

[...] по ягельному морю ныне
ведет она, наша
дорога в бронзе.
Там лежу я и говорю с тобой,
и ободрана кожа
на пальцах.

("Сибирское")

Он выкрикивает вместе с Мандельштамом "В уши тундры Петрарку", сонеты которого Мандельштам читал соузникам в своих переводах. Довольно редко Целан включает в лирический контекст чье-либо имя. В сборнике "Роза-Никому" имя Мандельштама упомянуто дважды. Об одном стихотворении "Все иначе..." только что шла речь. В другом — "После полудня, цирк и цитадель" — Мандельштам явлен и назван: "...я тебя, Мандельштам, увидал". В последней строфе "русское слово" — несомненно, слово Мандельштама — соотнесено с сердцем как последней твердыней и упованием.

Я русским словом приветил
Франции триколор,
была беспросветность просветом,
мне сердце оплот и упор.

Это "слово" таит в себе возможность не устранения, но просветления "беспросветности".

Вслушиваясь и вглядываясь в словесную ткань "Розы-Никому", можно различить отголоски речи Мандельштама — некий слепок его голоса, вовлеченный в синтаксис и образный строй Целана. "Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма", — просил Мандельштам. Это не повторение интонаций другого поэта, лишь оклик, отсылка в пространство его поэзии, его времени, обращение к его свидетельству. Поэт, по Целану, свидетельствует. Во всей книге — дыхание Мандельштама, но есть стихи, где оно учащенней, и след его зримей. Целан "коагулирует"[12], сгущает в пространстве стиха разновременные и разноплановые события и явления, сплачивая их в образы. Например, в стихотворении "Воедино", где в "Феврале, тринадцатого" соединились Мадрид 1936 года (день начала гражданской войны в Испании), Вена 1934 (восстание венских рабочих) и антиоасовская[13] демонстрация в Париже 1962 года. Ведь "[стих] верен памяти своих дат"[14]. Приведу последнюю строфу и попытаюсь очертить контуры возможных ассоциаций и аллюзий, не предполагая их исчерпать.

в свете ледяном, с "Авроры", \
братская машет рука, \
повязкой, сорванной с отверстых \
как слова очей: \

[12] "Я коагулирую, пытаюсь добиться коагулирования..." — письмо к бухарестскому другу Петре Соломону 23.11.1967 г. Pettre Solomon. Zwanzig Jahre danach. Erinnerungen an Paul Celan. Neue Literatur (Bukarest) Nr. 11, 1982.

[13] ОАС — военизированная организация профашистского толка во Франции начала 60-х годов.

[14] См. прим. 7.

Петрополь, тех, незабытых, странничества город, \
и тебе тоской запал тосканской в сердце. \

Петрополь в стихах Мандельштама не пышный Петербург, названный Северной Пальмирой, — это призрачный и обреченный город. Столица поэзии быстро промелькнувшего и кончившегося в одночасье Серебряного века. В нем нельзя сойтись ("В Петербурге мы сойдемся снова [...]"), можно только расстаться. *Петрополь* звучит как *Некрополь*. ("Твой брат, Петрополь, умирает"). Вообще, в русской поэтической традиции от Пушкина до акмеистов и Петербург-Петроград ("Достоевский и бесноватый" — Ахматова) — гибельное и заклятое место, где — возможно, поэтому — хрестоматийный крейсер возвестил новую эру. В 1916 году Мандельштам, томимый предчувствиями, пишет:

В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина,
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час нам смертная година.

Существенно, что стихотворение впервые появилось по-немецки в переводе Целана, причем перевод во всем мандельштамовском цикле один из лучших. Но вернемся снова к строфе из "Воедино". Строка "тоской тосканской и тебе на сердце" отсылает, вероятно, еще к одному стихотворению Осипа Мандельштама "Не сравнивай: живущий несравним...". Привожу лишь последнюю строфу, поскольку именно она может быть соотнесена с текстом Целана, тем более что эти строки стали эпиграфом к неопубликованной "Валлисской элегии", написанной тогда же, в начале 60-х.

Где больше неба мне — там я бродить готов,
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых еще воронежских холмов
К всечеловеческим — яснеющим в Тоскане.

Стихотворение возникло в недоброй памяти 1937 году в воронежской ссылке. Мандельштам — изгой в своей стране, ставшей сталинским царством Прозерпины. Отсюда, из Воронежа, он тянется сердцем в Тоскану, к италийской колыбели "всечеловеческой" культурной традиции, родине любимых им Петрарки, Данте, Торквато Тассо. Так в сгустившемся времени одной целановской строфы замыкается круг от Петрополя — царства Прозерпины — до Прозерпины-России, в несколько слогов лишь длиною оказывается путь из Петрограда 1917 года до Воронежа 1937.

Мандельштам в этом поэтическом тексте — следом тропа, знаковым словом — выступает как собеседник Целана, как "Другой". "Стихотворе-

ние тянется к Другому. [...] Еще в Здесь и Сейчас стихотворения [...] еще в этой неопосредованности и близости позволяет стихотворение и тому, Другому, со-высказать самое собственно-свое: его — Другого — время"[15]. Этот разговор (на самом поверхностном уровне), возможно, о том, что демоны революции, которых в 1917 с ужасом и восторгом заклинал и призывал Мандельштам, — не он один тогда и после в русской, да и в европейской культурной среде, — завладев властью, принялись за уничтожение крестьян и философов вкупе с поэтами. Впрочем, и Целану его советский опыт не помешал исповедовать до конца жизни левые взгляды. Он подчеркивал и помимо "Меридиана", что воспитан на сочинениях Петра Кропоткина и Густава Ландауэра. "И мы пели "Варшавянку"[16] . "Помнишь, как я пел вам в поезде на обратном пути русские революционные песни — мой репертуар все тот же"[17], — пишет он Петре Соломону. Революционные песни — не только дань времени. В гимназические и студенческие годы Целан всерьез увлекается социалистическими учениями, в том числе марксизмом. Как большинство европейских интеллигентов, он был в конце тридцатых на стороне испанских республиканцев и видел в СССР единственную альтернативу волне фашизма и насилия, захлестывающей Европу.

Да и потом, в своей парижской жизни, Целан обособлял себя от "золотого" Запада"[18], где ему виделись ростки "неонацизма". "В Федеративной республике происходит возрождение национализма со всеми его старыми приспособленными к требованиям времени мифами"[19]. Его манила в начале 60-х оттепельная Москва, там ему чудился иной дух. С горечью он пишет о своем разочаровании в Западе — "Все мои надежды на Востоке"[20]. В письмах разных лет почти декларируемая непримиримо юношеская "левизна". "Да, я снова там же, именно там же. Вместе с тем же самым "*no pasaran*"[21], — в письме к наставнику и другу поэту Альфреду Маргуль-Шперберу от 9.03.1962 г. "...я всегда противостоял нацизму, где бы он ни

[15] Меридиан. См. прим. 7.

[16] В стихотворении "Вывенчан выплюнут в ночь..." из сб. "Роза-Никому".

[17] Письмо от 23.11.1967 г., см. также прим. 12.

[18] Письмо Эриху Айнхорну 24.04.1962 г. Paul Celan — Erich Einhorn. Einhorn: du weisst um die Steine... Briefwechsel. Fridenauer Presse Berlin, 2001.

[19] Письмо к Петре Соломону 25.04.1962 г. Petre Solomon. Briefwechsel mit Paul Celan 1957-1962. Neue Literatur (Bukarest) Nr. 11, 1982.

[20] Письмо Петре Соломону 22.03.1962 г. См. также прим. 19.

[21] Briefe an Alfred Margul-Sperber. Neue Literatur (Bukarest) Nr. 7, 1975.

являл себя"[22] — в письме Петре Соломону 25.04.1962 г. "Ты — не шовинист, и ты никогда им не будешь"[23] — письмо подростку-сыну 25.07.1969 г.

Целан не остается равнодушен ни к студенческой революции парижского мая 1968 года, ни к грустному финалу "Пражской весны" в августе того же года. На протяжении всей жизни он будто твердит про себя мандельштамовскую "Присягу чудную четвертому сословью / И клятвы крупные до слез", которыми сам Мандельштам пытался и никак не мог все в той же "курве-Москве" поладить с веком "массы и власти". За этой присягой у обоих стоит отчаяние.

Мне хотелось бы остановиться еще на одном стихотворении Целана. Лейтмотив его — камень. Этот образ часто встречается в стихах разных периодов.

Стало что? Отринул гору камень.
Вспрянул кто? Да я с тобой....
Слово. Со-Земля. Звезда, что с нами.
Нищее. Открытый дом родной.

В статье Мандельштама "Утро акмеизма", написанной за два года до рождения Целана, в 1918 году, можно найти емкий и точный комментарий к этим стихам: "Но камень Тютчева, что "с горы скатившись, лег в долине, сорвавшись сам собой или низвергнут мыслящей рукой", — есть слово. Голос материи в этом падении звучит, как членораздельная речь". Можно процитировать еще одно стихотворение из той же книги "Роза-Никому", "Светлые камни...":

Светлые
камни пронизывают воздух, светло-
чистые, свето-
носные.

Они
не летят, не падают,
не попадают.

Высказывание Мандельштама о Тютчеве приложимо к стихам Целана — хоть он в своей статье таким образом говорит об акмеизме — потому что и для него "реальность в поэзии — слово как таковое". У Мандель-

[22] См. прим. 19.

[23] Paul Celan — Gisèle Celan-Lestrange. Briefwechsel. Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main, 2001.

штама каменное кружево собора, камень, задевающей небо башни, камень как противопоставление праху, — это камень-речь, камень-слово. Мандельштамовский "камень" и "камень" Целана, невзирая на гравитацию, устремлены к небу. Но у каждого из них свое небо и свои траектории. Поэзия, взыскующая "человечьего овечьего тепла", рвущаяся к "отрогам Пиерии", пытающаяся в страшном мире опереться на "ценностей незыблемых скалу", и слово Целана, проходящее снова и снова "сквозь страшное онемение", отчужденное, отторженное от самого себя и разъятое, о котором сказано:

Слово, знаешь,
оно — мертвец.

Воистину, эти два мира существуют под разными звездами. Но если это так, откуда берется соприкосновение в поэтике? Ответ, наверное, в особо обостренной сверхчуткости Мандельштама, как и Целана, к времени, о которой, собственно, и говорит Целан и в письме к Струве, и в "Меридиане". Кажется, будто все свои зрелые стихи проговорены ими, "С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук". Но вот какой звук раздается для каждого?

"Псалом", на мой взгляд, — один из самых значимых отзывов поэзии Целана на тот звук. Псалом, слово-образ из которого вынесен в название сборника "Роза-Никому", образует световую ось книги, он словно освещает другие стихотворения в ней и дает "ключ" к их образам и смыслам. Начало почти библейское:

Кто вылепит снова нас из земли и глины, —
кто заговорит наш прах — никто.
Никто.

Здесь, как и во всей лирике Целана, по замечанию Хорста Вернике[24], обретают новое качество и завершенность стихи Рильке из Девятой элегии:

Один раз
все, единственный раз. Раз и только. И мы
один раз. Больше никогда.

Из щемящей одномоментности, неповторимости хрупкого бытия, из обреченного на безвестность праха возникает Никто, божество забвения и всепоглощающей вечности.

Восславен же будь, Никто.
Ради тебя мы

[24] Horst Wernicke. Abschiedlichkeit und Nichtvrgessen. Zwei Reflexionfiguren bei Celan und Char. NZZ Nr. 89, 18/19.04.1998.

хотим расцветать.
Навстречу
тебе.

Никто — бог мистиков и каббалистов, постигаемый через отрицание. Никто, по Гершому Шолему (его книги по каббалистике у Целана в библиотеке), означает "высочайший венец"[25] божественности. Но Никто у Целана является богом богооставленных и отчаявшихся, тех, что мечутся по запачканным кровью страницам истории минувшего столетия. И мы, одномоментное, сиюминутное ничто, постигаем себя в движении навстречу, в цветении навстречу, в умирании навстречу этому божеству. Кто же такие мы? В каббалистической традиции роза — символ Израиля как религиозной сакральной общности. У Целана она становится символом претерпевающих страдания здесь и сейчас евреев и не-евреев. (Еврейское — человечное, об этом уже шла речь.) А роза "Псалма", не из того ли она сада, в котором расцветает роза-гетто в стихотворении "Вывенчан, выплюнут в ночь"?

[...] во всех\\

чашах-чашечках той большой \
розы-гетто, откуда \
ты глядишь на нас, бессмертный от стольких \
смертельных смертей на утренних дорогах. \

Целан заканчивает это стихотворение, как уже отмечалось ранее, упоминанием о Петрарке, и тем самым о Мандельштаме, потому что и его кровью окрашена чашечка этой розы. Где-то совсем рядом роза из "Псалма", что с

За-
вязью душевно светлой,
пыльцою небесно пустынной,
венчиком рдяным
от слова-раны, что возвещали мы
над, о над
тернием.

Роза, возникающая из праха (Когда б вы знали из какого сора [...]), роза, где в завязи вызревает словесная вязь (в оригинале слово *Griffel*, означающее и *пестик*, и *орудие письма*), включает в себя рдяное слово поэта.

[25] Joachim Schulze. Celan und die Mystiker. Bonn, 1976.

Свое слово-рану, страдающее от боли мира и ранимое терниями этого мира, поэт приносит в мир. Когда Целан говорит "мы", он говорит в самом сущностном стихотворении сборника "Роза-Никому" и о Мандельштаме. Для Целана — об этом уже шла речь — Мандельштам своей творческой позицией, своей жизнью и смертью — являл путь поэта.

Но наряду с тем "слово-рана", возвещаемое над тернием, разве не видится воплощенным Логосом, распятым во искупление? Целан утверждал, что действительности нет, ее следует искать и обретать. Может быть в пространстве, очерченном двенадцатью строками "Псалма", происходит такой поиск и претворение: "ничто" становится Розой — атрибутом и символом Христа.

Известно, что Целан отрицал возможность христианских мотивов в "Псалме", однако произведение поэта живет своей жизнью. В статье Мандельштама "Пушкин и Скрябин" есть один пассаж, который едва ли не подсказывает такое прочтение "Псалма": "[...] блуждать по тропинкам мистерии, чтобы мы как бы от себя напали на искупление, пережив катарсис, искупление в искусстве".

Мне кажется, что в "Псалме" еще таятся смыслы, не прослеженные метафорические пересечения и связанные с ними реминисценции. Все его "слои", однако, не пребывают друг над другом, а образуют, словно лепестки, цветок — розу-псалм. Но все же не объяснить, почему от прикосновения к этой печальной розе охватывает радость, подобная той чистой радости, о которой говорил Франциск Ассизский. Объяснение отчасти, если вообще радостное чувство объяснимо, можно отыскать у Мандельштама в статье "О собеседнике", где он пишет о стихотворении Боратынского: "[...] кто из тех, кому попадутся в глаза названные строки [...], не вздрогнет радостной и жуткой дрожью, какая бывает, когда неожиданно окликнут по имени". Так окликает "Псалм". "Стихотворение может стать бутылочной почтой", — вслед за Мандельштамом сказал Целан в Бременской речи — и в этом качестве когда-нибудь, возможно, прибьется к "берегу сердца". Мартин Брода, французская переводчица Целана, писала, что "Мандельштам, хоть он и не мог этого знать, писал для Целана"[26]. Есть, стало быть, надежда, что берег сердца для поэзии и поэтов существует. Потому что "в поэзии, — подтверждает Мандельштам, — разрушаются грани национального, и стихия одного языка перекликается с другой через головы пространства и времени"[27].

Марк БЕЛОРУСЕЦ

[26] Martine Broda. An niemand gerichtet. Paul Celan als Leser von Mandelstamms Gegenueber. Paul Celan. Materialien. Suhrkamp, Frankfurt/Mein, 1988.

[27] "Заметки о Шенье".

Марк Белорусец, г. р. 1943, переводы из Пауля Целана, Георга Тракля, Гюнтера Айха, Роберта Музиля, Элизабет Аксманн, Бернда Кольфа, Герты Мюллер, Юлиана Шуттинга, Манеса Шпербера.

Отдельные издания: Пауль Целан. Стихотворения. Гамаюн, Киев, 1998; Юлиан Шуттинг. Попытка чтения. Гамаюн, Киев, 2000; Манес Шпербер. Напрасное предостережение (Из трилогии "Все минувшее"). Гамаюн, Киев, 2002.

Участие в сборниках и основных журнальных публикациях: Золотое сечение. Австрийская поэзия XIX-XX ст. М., Радуга, 1988 (Пауль Целан); Лира семи городов. Стихи. М., ИХЛ, 1992 (Элизабет Аксманн, Бернд Кольф); Георг Тракль. Стихи. Проза. Письма. Симпозиум, С.-Петербург, 1996; Новый круг, Киев, №№ 1, 2, 1992 (П. Целан, Г. Айх, Г. Тракль); Ковчег, Киев, 1995-1997 (Т. Бернгард, Ф. Кафка, Р. Музиль, В. Бирманн); Нева, № 6, С.-Петербург, 1997 (Пауль Целан); Комментарий, № 11, М., 1997 (Целан, "Меридиан"); До и после, № 6. Литературный альманах, Берлин, 2002 (Герта Мюллер); "Иностранная литература" № 4, М., 2005 (Пауль Целан, Герта Мюллер).

Премия Австрийской республики для переводчиков 1998.

Живет и работает в Киеве, Украина.

Пауль ЦЕЛАН

Валлисская элегия

Где больше неба мне — там я бродить готов —
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых еще воронежских холмов
К всечеловеческим — яснеющим в Тоскане.
Осип Мандельштам, 1937 г.

Nad Babim Jarom pamjatnikov net.
Евгений Евтушенко, 1961 г.

Порывы, надрывы, немые \
триумфы вспомненных \
полночей и ночей. Одинок фаллически \
час в снегах на вершинах. \
Regina vagina. \\

Марк Белорусец, г. р. 1943, переводы из Пауля Целана, Георга Тракля, Гюнтера Айха, Роберта Музиля, Элизабет Аксманн, Бернда Кольфа, Герты Мюллер, Юлиана Шуттинга, Манеса Шпербера.

Отдельные издания: Пауль Целан. Стихотворения. Гамаюн, Киев, 1998; Юлиан Шуттинг. Попытка чтения. Гамаюн, Киев, 2000; Манес Шпербер. Напрасное предостережение (Из трилогии "Все минувшее"). Гамаюн, Киев, 2002.

Участие в сборниках и основных журнальных публикациях: Золотое сечение. Австрийская поэзия XIX-XX ст. М., Радуга, 1988 (Пауль Целан); Лира семи городов. Стихи. М., ИХЛ, 1992 (Элизабет Аксманн, Бернд Кольф); Георг Тракль. Стихи. Проза. Письма. Симпозиум, С.-Петербург, 1996; Новый круг, Киев, №№ 1, 2, 1992 (П. Целан, Г. Айх, Г. Тракль); Ковчег, Киев, 1995-1997 (Т. Бернгард, Ф. Кафка, Р. Музиль, В. Бирманн); Нева, № 6, С.-Петербург, 1997 (Пауль Целан); Комментарий, № 11, М., 1997 (Целан, "Меридиан"); До и после, № 6. Литературный альманах, Берлин, 2002 (Герта Мюллер); "Иностранная литература" № 4, М., 2005 (Пауль Целан, Герта Мюллер).

Премия Австрийской республики для переводчиков 1998.

Живет и работает в Киеве, Украина.

Пауль ЦЕЛАН

Валлисская элегия

Где больше неба мне — там я бродить готов —
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых еще воронежских холмов
К всечеловеческим — яснеющим в Тоскане.
Осип Мандельштам, 1937 г.

Nad Babim Jarom pamjatnikov net.
Евгений Евтушенко, 1961 г.

Порывы, надрывы, немые \
триумфы вспомненных \
полночей и ночей. Одинок фаллически \
час в снегах на вершинах. \
Regina vagina. \\

Понтийское Однажды на краю \
татарского поселенья. Фигура \
из песка, волосы песчаные, песчаный рот: \
будто не всегда, не всегда будто, \
слово, давно-слученное, \
рядом с нами \
корчится в схватках. \\

Мы лежали. Я плыл, в глазу \
наши ночи, к твоим плыл глазам. \
Твое сердце \
горело свечой в фонаре на молу. Мы путем возвращения \
летим, светясь, за водою. Скользим \
отраженьем в оконном стекле, это — \
дом имени некого: Христиан \
Раковский. — Понтийское, \
понтийское Однажды. Никогда \
от сплошь Всегда. Море \
с зеленым отливом тайги. \\

Назад теперь. К тебе, Всегда- \
близкая потерянность. \\

Тихие, тишайшие \
глаза цвета Исхода, \
еле слышная, \
из Семипалатинска\
возвратившаяся горечь: \
я видел, Идущий, \
твой приход. Пережито \
немало нами. \\

Мыты-мауты. Родины мытницы. Запах \
дерева лета на краю одного \
детства. *Стояла некогда* — \
в книге стояла и в букве, под буками — *некогда* \
стояла
в лесу лесопильня. На серпах \
и на косах \

там они проносили тебя — как было \
имя твое, обезглавленная? Звалась ты \
Юдифь. *Стояла некогда* \
в лесу лесопильня. \\

Мауты-мыты и, по ту сторону \
мытов и маутниц, Маут- \
хаузен. Ступеней \
тысяч, там шаг \
был, один, глаз, \
иначе стоял он в плетеньи, \
в клубленьи корней, зрел \
эту пашню, \
выросшее, — знаешь, \
оно стоит, \
торчит оно \
вверх при жидовском семени, если кто \
повидал это, если \
кто это снова увидит, — когда \
он увидит себя, еще \
душа одна расцветет у того \
во взгляде его души. \\

Я видел ту душу, она пришла \
в лунатическом взоре, не кроясь, \
пришла \
вместе \
с неколебимою памятью, свет, \\
раз десять погасший, несла \\
просветленно она \
в своем лоне, свободно, \
сестрой шла, поднимаясь дорогой теней, мытномаутной \
тысяч дорогой \
незримой — Неподобная ты, Не- \
уклонная. Шла светолонно. \
Salve \
regina. \

Я видел и душу иную, явилась \
с обетом, \

данным тысяч ступеням, \
легко, \
перебросила бремя \
через порог мне. Я спал \
верой своей у нее. \
Пришла она — \
с блудом \
краплено— \
ублюдочных клятв. \
Стоит оно, выросшее, — ступай, \
иди ищи себя, мое \
сокрушение в тебе, \
в тебе — \
мое благословение. \
Vale \
vagina). \\

Порывы, надрывы, немые \
триумфы вспомненных полночей \
и ночей. Всегда— \
близкая потерянность, сегодня, \
здесь. Страстной \
пятницы путь с тобой, под \
иглами осевшее \
отчаяние. Ларон. \

Перевод Марка БЕЛОРУСЦА

Примечание переводчика:

Стихотворение написано в январе 1961 года в швейцарском кантоне Валлис, там же находится и селение Ларон, где похоронен Рильке. При жизни Целана оно не публиковалось.

...Понтийское Однажды: Этот образ и "татарский" мотив вошел в стихотворение "Пепельный ореол..." из сборника 1967 года:

...Понтийское Однажды: здесь,
капля,

вдоль
затонувшей лопатки весла,
глубоко
в окаменевшей клятве
прошелестит.

(Тогда, на отвесном
канате дыхания,
выше верха,
между двумя узлами боли, пока
сверкающий
татарский месяц к нам ввысь карабкался,
я зарывал себя в тебя, в тебя)...

...Христиан / Раковский: Христиан Георгиевич Раковский (1873-1941), болгарин по происхождению, врач по образованию, первую половину жизни прожил с перерывами в Румынии; профессиональный революционер-марксист, активно участвовал в социал-демократическом движении в Болгарии, Румынии, Швейцарии, Германии, Франции, России. Среди прочего Христиан Раковский возглавил кампанию по защите матросов с броненосца "Потемкин", высадившихся в румынской Констанце в 1905 году.

С 1917 года — советский политический деятель, эмиссар правительства РСФСР в Одессе и Севастополе (1918), Предсовнаркома Украины (1919-1923), советский посол в Англии и Франции. Христиан Раковский — сторонник Л.Д. Троцкого, с которым его связывали давние дружеские отношения. После отстранения и высылки Троцкого Х. Раковский сослан в Казахстан. В 1938 году осужден по т. н. делу "Антисоветского правотроцкистского блока" и расстрелян в начале Великой Отечественной войны.

Троцкий в очерке "Поездка в Добруджу" (1913 г.) описывает поездку в том же году с "доктором Раковским" на поезде из Бухареста в полутатарскую Мангалию, город и порт на румынском черноморском побережье, где находился родительский дом Раковского, в котором они останавливались. В разноплеменном приморском городе еще можно встретить, отмечает Троцкий, бывших матросов с мятежного броненосца. В пространные примечания к репортажам из Румынии, сделанные намного позднее, он включает достаточно подробную биографию "т. Раковского" (Троцкий Л.Д. Перед историческим рубежом. Балканы и Балканская война. Сочинения, т. 6. Москва-Ленинград, 1926). Первые два года эмиграции Целан провел в Бухаресте (1945-947), он ездил на море в Мангалию, о чем есть свидетельства в его письмах, в воспоминаниях бухарестских друзей и в стихах, по тому же, скорее всего, маршруту. Мангалия стала одним из топосов его юности. Возможно, поэт читал эти публикации Троцкого, но так или иначе, Мангалия означила его левые убеждения, которым он всегда оставался верен. Не случайно, видимо, в 1940 году, еще дома в Черновцах, недавно "освобожденных" Красной Армией, он, двадцатилетний, на вопрос: "Ну что ты теперь скажешь?" — ответил: "Теперь я троцкист". Из письма 1967 года к Петре Соломону в Бухарест: "Помнишь революционные песни, которые я вам пел, когда мы возвращались на поезде, — у меня ведь тогда и не было никакого другого репертуара, и именно этим песням я учу Эрика, который, со своей стороны, научил меня полному тексту песни о партизанах, о макизарах, — анахронизмы, катахронизмы...

На стр. 68 "Поворота дыхания" ты найдешь что-то вроде анамнеза Мангалии...".

...Мыты-мауты: Maut (нем.) означает то же, что и мыт.

...Стояла некогда: Выделенные курсивом строки — слегка измененная цитата из стихотворения австрийского поэта Франца Верфеля (1890-1945) "Романс тоски".

сестрой шла, поднимаясь дорогой теней,
мытномаутной \

Киев

"Стрелы"



В период Февральской революции и временного правительства, когда уже прозвучал манифест Николая II об отречении от престола, в Одессе очень короткое время (апрель-июнь) в 1917 г. выходил буржуазный сатирический журнал "Стрелы", по позиции близкий к конституционно-демократической партии. Вероятно, одесситов прельщало в ее программе, в частности, "культурное самоопределение народностей, входящих в состав Российской империи". В короткой редакционной статье слышалось наивное ликование: "Мы живем в республиканское время... в дни братания армии и народа, в минуты счастья освобожденных от рабства граждан...". Лозунг редакции: "Стрел не жалеть... острых, колючих, режущих толстокожих врагов свободы, агентов царизма и кайзеризма...".

И они летели, эти "стрелы" (их хватило на восемь номеров журнала), пущенные сатириками с благословения редактора-издателя А.Х. Рабиновича (Чивонибара) и заведующего художественной частью С.Г. Гольдмана.

Именно последнему мы обязаны настоящим пиром рисунков и карикатур профессиональных талантливых художников. Масса экспрессивных работ Сигизмунда Олесевича, политических, бытовых, актерских зарисовок, запрещенные прежде рисунки Mad, эскиз маслом Петра Нилуса "Манифестации в Одессе", зарисовки Филиппа Гозиасона, Фра-Филиппо, С. Солнцева, А. Кальнинга и др.

Редакция призывала авторов не присылать старых анекдотов "про тещ и стрелочников". Стихи и проза в журнале зачастую полны гражданского пыла и страсти, но нужно честно отметить, художественные достоинства их оставляют желать большего мастерства.

Однако портретная галерея современников, талантливые зарисовки "театрального альбома", некоторые стихотворные опусы, как, например, сатирический "диалог" Романова и Ленина на тему "мы с вами оба пораженцы", возвышенные стихи, посвященные А. Керенскому, и многое другое все же дают нам представление о трудной весне 1917 года, когда одесситов донимали бесконечные митинги и пустая говорильня, когда действительно хотелось пустить острые стрелы "и в "решетку", и в "орла".

Татьяна ЩУРОВА



Тріумфъ А. Ф. Керенскаго въ Одессѣ

Игра жизни.

Жизнь — шалунья, жизнь — проказникъ,
То мрачна, то свѣтла,
Жизнь играетъ (точно въ праздникъ)
И въ "рѣшетку", и въ "орла".
Были дни, — припомню кротко, -
И дышало все враждой
И царила лишь рѣшетка
Надъ россійскою землей!
Но иные дни настали,
Нѣтъ былой кровавой мглы
И сидятъ, полны печали,
За рѣшеткою... орлы...

Як. С-съ.

Крайности сходятся.

(Разговоръ, который могъ бы произойти, если бы они встрѣтились).

Романовъ (съ завистью).
Счастливый Ленинъ, васъ съ экспрессомъ
Везли германцы въ русскій край.
О васъ прочелъ я съ интересомъ...

Ленинъ (гордо).
Да, васъ, товарищъ Николай,
Германцы такъ не повезли бы,
Они вамъ вѣрить не могли бы.

Романовъ (горячо).
Нѣтъ, извините, дорогой,
Я вамъ ручаюсь головой,
Что если бы выбраться до Ковно
Мнѣ удалось со всей семьей,
Меня бы приняли любовно.
Вопросъ, кого еще изъ насъ
Любезнѣй встрѣтили бъ сейчасъ,
Мы съ вами оба — пораженцы.
А такъ какъ нѣмцы — не младенцы,
То одинаковый пріемъ
Намъ оказали бы во всемъ!

Р. Респ.



Запрещенная.

Каррикатуристъ Мадъ рисовалъ, а цензоръ хохоталъ. Хохоталъ, потому что интересный рисунокъ.

И потому, что онъ самъ становился рисовальщикомъ.

Цензоръ на каррикатурѣ рисовалъ:

—Запрещаю.

Одесская картинка.

Изъ коллекціи рисунковъ Mad, запрещенныхъ цензурой.

Окт. 1916 г.

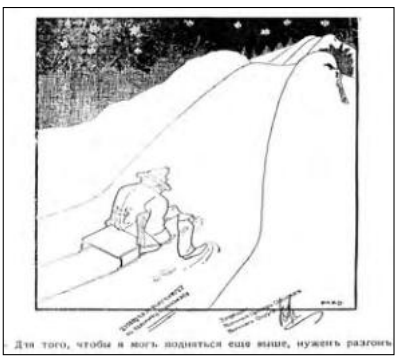


Третій.

У отца родились дѣти.
(Божья воля! Богъ великъ!):
Двое умныхъ, ну, а третій—
Ну, а третій — большевикъ.

РУССКІЯ ГОРКИ.

Каррикатура Mad на Протопопова, нарисованная въ февралѣ с. г. передъ разгономъ Гос Думы и запрещенная тогда цензурой.





Можно-ли убрать эти подпорки, когда надвигается буря?

Полезные совѣты.

Строго считаю гражданскимъ долгомъ дать нѣсколько практическихъ совѣтовъ лекторамъ, агитаторамъ, пропагандистамъ и ораторамъ.

Лекторъ, пропагандистъ и пр. долженъ имѣть видъ озабоченный и всей своей фигурѣ придавать характеръ устремленія:

— Ждутъ еще на 11 митингахъ.

Голосъ долженъ быть обязательно трубный, но осипшій:

— На 7 митингахъ уже говорилъ.

Для сего полезно предварительно дома "переговорить" съ женой, по дорогѣ побесѣдовать съ извозчикомъ или просто выпить бутылку "чистаго клюквеннаго квасу".

Движенія лектора, оратора и пр. должны быть порывисты и энергичны. Позволяется изрѣдка стучать кулакомъ по столу, но онаго отнюдь не разбивать, чтобы не вводить устроителей въ расходъ.

Самое главное, что требуется отъ лектора, — это находчивость.

Во дни оны одинъ ораторъ выступалъ "на массовкѣ" и говорилъ о соціализмѣ. Времена были такія, что за эти рѣчи особой благодарности ждать не приходилось. Настроеніе слушателей было мало любезное.

Тогда находчивый ораторъ обратился къ нимъ съ такою рѣчью:

— Вамъ говорятъ, чтобы вы не слушали соціалистовъ, разсказываютъ о нихъ всякіе страхи, увѣряютъ насъ, что соціалисты — это не люди, а черти. Васъ обманываютъ. У чертей есть хвосты, а вотъ я соціалистъ -есть у меня хвостъ?!

И изумленные слушатели имѣли возможность убѣдиться, что у соціалистовъ хвостовъ нѣтъ. Всѣ они записались въ партію.

Другой ораторъ былъ разъ прерванъ вопросомъ съ мѣста:

— Что такое соціализмъ?

Говоря совсѣмъ о другомъ предметѣ и будучи

Ораторша въ собраніи женъ.
Рис. Л. Солнцева.



— Плевать на милицію!..
— Плевать на газеты!..

къ вопросу неподготовленнымъ, ораторъ, тѣмъ не менѣе, нашелся и сразу отвѣтилъ:

— Соціализмъ былъ выдуманъ римскимъ кардиналомъ по имени Соціа, откуда и произошло это слово.

Вотъ какъ много значитъ находчивость.

Даже входя въ азартъ, ораторъ, однако, никогда не долженъ забывать, гдѣ онъ находится. Такъ, напримѣръ, на митингѣ студентовъ нельзя говорить даже нечаянно:

— Мы, кухарки...

А на митингѣ кухарокъ неудобно говорить:

— Мы, пожарные...

Ибо послѣднее могутъ принять и за намекъ.

Большое значеніе для оратора имѣетъ внѣшность, но это само собой понятно и о семъ распространяться не будемъ.

Кромѣ всего перечисленнаго ораторъ долженъ знать:

1) О чемъ его пригласили говорить?

2) Что на эту тему было уже сказано и написано другими умными людьми?

При соблюденіи всѣхъ этихъ условій, ораторъ, лекторъ, пропагандистъ и пр. можетъ вполнѣ разсчитывать на успѣхъ.

Old Man.

Сказки жизни.

Иванъ Ивановичъ Женатый шелъ со службы домой, помахивая тросточкой и мечтая о борщѣ съ пирожками.

Едва Иванъ Ивановичъ открылъ дверь, какъ старая родственница жены взволнованно сообщила:

– Экстренно нужна акушерка!

Иванъ Ивановичъ въ одно мгновеніе очутился на углу Ришельевской и Б. -Арнаутской. И одна только мысль не выходила у него изъ головы:

– Скорѣй попасть на 23 номеръ.

Иванъ Ивановичъ сталъ ждать.

Прошелъ 27 номеръ, потомъ опять 27-й, и опять 27-й, потомъ 16-й, потомъ снова 27-й, потомъ шестнадцать разъ 16-й, потомъ 23-й, но не въ ту сторону, куда надо было Ивану Иваиовичу, потомъ снова 27-й и...

Тутъ прибѣжала запыхавшаяся горничная:

– Елена Ивановна сказали: акушерки уже не надо, нуженъ докторъ, чтобы вы скорѣе ѣхали.

Къ доктору надо было ѣхать двадцать седьмымъ номеромъ.

И Иванъ Ивановичъ сталъ ждать.

Ждалъ мучительно долго.

Но тутъ прибѣжала горничная:

– Елена Ивановна сказали, докторъ самъ пришелъ, а чтобы вы ѣхали за мамкой.

За мамкой надо было ѣхать 16-мъ номеромъ.

И Иванъ Ивановичъ сталъ ждать.

Шестнадцать разъ прошелъ 16-й номеръ въ обратную сторону и шестнадцать разъ туда, куда надо было Ивану Ивановичу, и шестнадцать разъ сказала кондруктриса Ивану Ивановичу:

– Нѣтъ мѣстовъ!

А когда настала ночь, добрый милиціонеръ посадилъ Ивана Ивановича на штейгера и отвезъ въ сумасшедшій домъ.

Old Man.



Анна Петровна сегодня волнуется, –
Анна Петровна не будетъ на "лэнчѣ",
Анна Петровна любуется
Новенькимъ френчемъ.
"Только подумать. Какъ правили нами
Шляпки, модистки, плерезы...
Грезится, манитъ кровавое знамя,
Бурный призывъ Марсельезы.
"Битвы... лишенья... Изъ вашей ли области?
Вы, вѣдь, не знали военщины?"
– "Нѣтъ, на военныя доблести
Мы ль не способны, о, женщины!"
"Чортъ его съ нѣмцемъ!"
въ большомъ возбужденіи
Анна Петровна нечаянно влѣпитъ.
Павелъ Антонычъ такимъ выраженіемъ
Приводится въ трепетъ.

.....

Анна Петровна грустна и разсѣянна.
– "Поль и Гликерія! Тише, вы черти!"
Анна Петровна печалью овѣяна,
Анна Петровна готовится къ смерти.
...Трескъ пулеметовъ... Коварные газы...
...Пуля шальная... Злодѣйка-зараза...
Анна Петровна ласкается къ Полю,
Анна Гликерію гладитъ любовно...
"Если умру за родимую волю..."
Милая Анна Петровна!

Автос

Аркадий ЛЬВОВ

Праздничный вечер

От редакции. В нынешнем ноябре исполняется 90 лет событиям 1917 года, изменившим судьбы стран и народов, наших дедов и отцов. Писатель Аркадий Львов передал в редакцию страницы, написанные в 1967 году, накануне 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

Шествие закончилось в два часа. Когда шли колоннами, дорога была строго обозначена заранее — после площади Октябрьской революции обязательно улица Пироговская и конец улицы Свердлова. Оттуда можно было, уже по своему усмотрению, выйти на Среднефонтанскую, проспект Шевченко или Белинского. А теперь, в два часа, прошла последняя колонна — физкультурники — и можно было идти через площадь, привокзальный сквер, по Пушкинской, Ленина и любой другой улице. Колонну физкультурников возглавляли три человека — мужчина и две женщины, с широкими и яркими, как свадебные, рушники, перевязями, на которых раскачивалось множество золотых, серебряных и бронзовых медалей. Люди с медалями, пока они двигались в строю, вызывали восхищение, и странно было, что теперь ничего от их прежней строгости и значительности не осталось: поддерживая обеими руками перевязь с золотом и серебром, они бежали торопливо, опасаясь, видимо, упустить своих товарищей.

Пятитонные грузовые машины и цистерны, которые с восьми утра перекрывали улицы, образуя коридоры для колонн, запустили свои моторы, и воздух, только что по-осеннему, от обильного листопада, терпкий, вмиг пропитался бензином и выхлопными газами. Машины, по первому впечатлению, разъезжались бестолково и мешали друг другу, пугая пешеходов, которые забыли всякую осторожность и по-праздничному беззлобно, весело бранили растяп шоферов. Шоферы, однако, сердились не на шутку, потому что затемно, часов в шесть, сели за баранку и, понятное дело, по этому обстоятельству не могли позволить себе, хотя праздник для всех, никакой вольности. А кроме того, во время долгого шестичасового стояния они должны были еще помогать милиции к дружинникам, следя за тем, чтобы пацаны, да и взрослые, которые успели подзаправиться спозаранку, не скакали через машинный барьер и не пролазили под ним.

На площади военный оркестр собирал своих музыкантов, и те, порядочно усталые, суетились вокруг ослепительного, с четырьмя кистями

Печатается с сокращениями.

в орлиных клювах, медного бунчука, вместо того чтобы четко, по-солдатски, произвести построение.

Пробило полтретьего — короткий удар исполкомовских часов на Приморском бульваре, где полвека назад заседала городская Дума, фарсовый орган, державший в своих руках игрушечные вожжи с игрушечными колокольцами.

Пошли троллейбусы и трамваи. Они двигались гуськом, один за другим, нетерпеливо названивая, потому что график опять получил силу, и надо было поторапливаться, чтобы восстановить привычный ритм.

Часам к пяти после недолгого отдыха началось праздничное веселье. Хотя было еще достаточно светло, над Дерибасовской забегали и завертелись цветные огни. В Городском саду огни окаймляли газоны, и горожане, когда лампочки только зажглись, прянули в стороны: первое ощущение было совершенно ошеломляющее, вроде огни сами, по собственной воле, выскочили из-под земли и ударили человеку в ноги.

Над огромным, с двадцатиэтажный дом, пересыпским элеватором повисла красная огневая гирлянда, чуть приглушенная морским туманом, а дальше, в сторону Дофиновки, отдельных огней уже не было — полыхали с внезапными всплесками гигантские поля света.

Суда за брекватером опоясывались гибкими и подвижными, как анаконда, неоновыми полосами, на верхних палубах и грот-мачтах вспыхивали слова приветов и добрых пожеланий...

Перед оперным театром, двухлетняя реставрация которого была завершена к празднику, бешено вращались ослепительные кольца с переменной цветовой гаммой.

Люди, завороженные огнями, смотрели не отрывая глаз, и только потом, когда проходил первый столбняк, принимались строить догадки насчет механизма этого чуда.

Техника, однако, недолго занимала умы людей — улицы города вдруг, в несколько минут, заполонило прошлое.

Из-за поворота на булыжную мостовую вылетел эскадрон конницы — с гиканьем, свистом и лихой солдатской песней "Эх, щи горячие да с кипяточечком!". Кони нетерпеливо грызли удила, а всадники в новых буденовках с пятидюймовыми шишами свирепо натягивали поводья и вонзали стремена в тугие холеные бока. От боли или по другой причине лошади били копытами по булыжнику и негодующе ржали, но заглушить песню красных кавалеристов не могли. Напротив, это конское ржание придавало песне степную удаль и неукротимость, пропитывало ее запахами полыни и свежего, только что скошенного сена.

Кавалеристы обросли щетиной, черной, рыжей, седой, забранной пылью тысячекилометровых путей-дорог; сабли, истомленные в бесчисленных не на жизнь, а на смерть боях, держались буднично, безо всякого парадного лоску, и люди на улицах города кричали отважным бойцам ура, а бойцы отвечали им словами песни: никто пути пройденного у нас не отберет!

Потом из-за того же поворота гривастые широкогрудые кони вынесли три тачанки с пулеметами. Остервенело нажимая гашетки, пулеметчики, все трое с окровавленными, наспех перевязанными головами безостановочно переводили стволы по дуге в треть окружности, так что не было никакой возможности укрыться от свинцового ливня.

Отстрелявшись, бойцы запели про тачанку, про четыре ее колеса, и хотя песня была из другого времени, попозже, в воздухе потянуло гарью фронтовых дорог незабываемого девятьсот девятнадцатого.

Конники спешились, пулеметчики оставили свои тачанки и разбили походный лагерь — к связанным в конус дрекольям подвесили закопченные казаны, мятые солдатские котелки, кривыми ножами и шашками распарывали консервы и, дуя на хворост, разводили огонь. В ожидании горячего харча люди жадно прикладывались к флягам, отирали рукавом гимнастерки, от самого локтя, спекшиеся губы и хриплыми голосами окликали друг друга, приглашая испить трошки самогону али спирту, кто чем богат.

Когда над казанками повалил пар, бойцы сбились в кружок и, вынув из-за голенищ деревянные ложки, зачем-то хлопали ими, как пересохшей таранью, по ладоням, а затем тщательно, до глянцу, зачищали их полой гимнастерки. Хлебали по-братски, из общего котла, никто не брезговал и не возмущался, только потешались, когда соседу делалось невтерпеж от смачного духа, и он голыми пальцами, обжигаясь, норовил выхватить кусок.

После обеда, от которого между лопатками прошибло теплым потом, вспомнилось давнее, родное, и звонкий, как криничная вода, голос запел: звезда полей, звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука...

Было ощущение, что война закончилась, что все смертя уже позади, и кто остался живой, тому и жить, до самой своей, от бога, а не от пули или шашки, смерти.

Но покой этот и благополучие были обманчивые, вдалеке ударил выстрел, и тотчас отозвался на него пронзительный степной голос:

— По коням!

Кавалеристы вмиг оседлали коней, бешеный цокот встал над городом. Тачанки с пулеметами держались, как положено, в арьергарде, прикрывая:

эскадрон с тыла, стволы бешено метались из стороны в сторону, прижимая врага к земле.

...Под зеленым знаменем на допотопном грузовичке явились смешные долговязые люди с болтающимися на боку маузерами. Хриплыми голосами они кричали "анархия — мать порядка!" с ударением на слове "мать" и орали песню про цыпленка, который вареный, который жареный, который тоже хочет жить, а его споймали, арестовали, велели пачпорт предъявить.

За анархистами следовали, тоже на грузовичках, солдаты в драных мундирах, конфедератках, прусских касках с шишаками, огромных азиатских папахах, а среди них сновали растерянные сэры и мистеры. Сэры и мистеры были при полном параде — во фраках, цилиндрах, с моноклем, который беспрерывно выпадал, обнажая круглый удивленный глаз джентльмена.

Замыкал обоз черный барон Врангель: держась одной ногой на краю обрыва, он приготовился к прыжку в море. За ним, прижимая фельдшерские саквояжи к животам, теснились белогвардейские отпрыски с гаденькими усишками и ярко напомаженными, как у публичной девки, губами.

Над городом опять встал цокот: красные конники возвращались из последнего похода против белой гвардии и Антанты. Они были утомлены, как все люди после большой дороги, песня рассказывала про эту их большую и трудную дорогу: разгромили атаманов, разогнали воевод и на Тихом океане свой закончили поход.

Мирная жизнь пришла сначала в образе крестьянской клячи, мертвых труб завода и беспризорных детей. Одинокий тоскливый голос вспоминал свою молодую загубленную жизнь: родился на форштадте — там и сдохну, буду помирать, друзья, не охну; мне бы только не забыться, перед смертью похмелиться, а потом, как мумия, засохну, да-да!

Но уже вслед за ними, голодом и разрухой, двигались впритык динамо Каширы, плотина Волховстроя, автомобили АМО, тракторы ХТЗ, турбины Днепрогэса. Рабочий в новой спецовке высоко над головой занес молот, перед рабочим стояла гигантская наковальня. Напряженно всматриваясь в горизонт, крепко обеими руками механизатор держал штурвал комбайна производства знаменитого завода "Ростсельмаш".

Внезапно поток заводских труб и комбайнов оборвался: опять появились тельняшки и гимнастерки. У противотанкового рва за колючей проволокой стояли плечом к плечу двое — матрос и солдат, стоял сорок первый год.

А через минуту брешь в потоке была заделана: снова пошли заводские трубы, нефтевышки и плотины. Между вышкой и плотиной держались

в фарватере два судна: чумазый буксирчик, на борту которого было обозначено "1913 год — тоннаж Черноморского торгового флота 18 тысяч тонн", и дизельэлектроход с огромными, вполборта, цифрами — 1400000! На палубе стояли улыбающиеся мальчики из детского сада басскомфлота, в бушлатиках и бескозырках...

Днем, когда за тучами светило солнце, небо над городом было серое, а сейчас, когда солнце зашло, и свет давала только земля, небо вздрагивало и вспыхивало, как клубы желтого газа, разогретого и подсвеченного изнутри.

...В ресторане "Юбилейный", на всех его четырех этажах, одновременно зажглись окна — дюралевые переплеты смотрелись, как гигантские стальные рамы, рассекавшие панораму на десятки самостоятельных, не зависящих одна от другой картин. В каждой раме был мужчина с бокалом, бокал безостановочно в такт человеку наступал, отступал и кланялся. Наконец он поднялся вверх, люди встали, в коридоре, огражденном головами мужчин и женщин, повисла хрустальная цепь бокалов, грянул туш, люди закричали ура. Теперь, после туша, уже не было надобности держаться общей цепи, бокалы поднимались и опрокидывались каждый врозь, так что в их движении появился новый, почти неуловимый с первого взгляда ритм, складывавшийся из множества отдельных ритмов.

Из кафе "Алые паруса" напротив вышли четверо — все в черных костюмах, белых рубашках и черных с блестками галстуках.

— Швейцар, — сказали они, — чтоб посторонних сюда ни-ни, мы на полторы секунды в "Космос" — и обратно.

"Космос" — это прежнее название ресторана "Юбилейный", которое переменили вдруг, в самый последний день, когда на крыше был уже сварен каркас из шести букв, и в экстренном порядке пришлось доваривать еще три буквы.

Швейцар козырнул: есть, товарищи начальники, никого постороннего! Швейцара похвалили: молодец, знаешь службу, держи, старик, карбованец.

Четверо пересекли дорогу и забарабанили в стеклянную дверь. Подошел швейцар и показал руками, что свободных мест нет, все занято. Ты чего руками разговариваешь, обиделись четверо, ты дверь открой и поговори с нами по-человечески.

Швейцар повернулся и занял место на своем круглом стульчике, с которого хорошо просматривались дверь, ведущая на улицу, и лестничный марш, ведущий в залы ресторана.

Открой, снова забарабанили в дверь к прилепили к стеклу трешку, есть дело, старик. Швейцар развел руками: не могу, велено — никого посторон-

них. Тот, что стоял впереди, попробовал носком туфли стеклянную дверь. Перестань, сказали трое, чего трепать человеку нервы, службу делает.

Старик подошел к двери и выдохнул в щелочку: хлопцы, по совести говорю, сегодня хоть от самого градоначальника — ничего, ни одного места, приходите завтра пораньше, до фонарей, чего-нибудь сообразим.

Ладно, махнули четверо, только не сиди, батя, на сквозняке — продует, а больница выходная.

У "Алых парусов" посторонние переговаривались через дверь со швейцаром. Сначала швейцар сокрушенно качал головой, но сочувствие его, породив пустые надежды, лишь осложнило дело, и тогда он сказал, что недалеко отсюда, на Греческой, отделение, а телефон — вот он, под рукой, так что в два счета.

Четверо, подойдя к толпе, не стали протискиваться, а остановились в сторонке и сделали знак швейцару. Тот немедля открыл дверь, засвистел в милицейский свисток и потребовал, чтобы посторонние дали проход людям. Посторонние ударились в амбицию и взялись доказывать, что они тоже люди, но швейцар опять крикнул: "Дайте проход людям!" — и засвистел, взглядывая поверх голов в поисках милиционера. Но это было уже лишнее: посторонние сами расступились и дали дорогу. Когда дверь захлопнулась, четверо опять, хотя и без особой нужды, наказали швейцару, чтобы посторонних сюда ни-ни.

В кафе "Алые паруса" на кремовые гардины падали огромные, во весь проем, тени — веселые угловатые тени с очень длинными ногами.

У конечной остановки восемнадцатого трамвая, где он делает кольцо, чтобы вернуться на Большой Фонтан, показывали кино. Экран подвесили к дереву, метрах в десяти от тележки мотороллера, на которой укрепили проектор, а динамики поставили наземь, так что звук вырывался прямо из-под ног зрителей. Сперва это отвлекало, но минут уже через пять-шесть люди вполне освоились и негодовали на всякого нового зрителя, который обязательно начинал с того, что выражал вслух свое недовольство.

Показывали хронику тридцатых годов, и трамваи уходили полупустые, потому что многие, хотя только что торопились к праздничному столу, не могли оторвать глаз от экрана, где укладывали последние метры Турксиба, и люди в тяжелых бараньих папахах нетерпеливо колотили в бока своих ишаков и верблюдов, чтобы не прозевать самого торжественного момента — смычки. Когда прошел первый паровоз, вдоль железной дороги помчался отряд джигитов. Некоторое время джигиты держались вровень с паровозом, и люди на верблюдах изо всех сил подбадривали их,

как будто всерьез верили, что обыкновенная лошадь может состязаться с машиной, у которой стальное сердце.

Зрители смеялись и говорили про людей на экране, что они, наверное, первый раз в жизни живой паровоз увидели, и не надо удивляться: кто вел бы себя в такой ситуации иначе?

После Турксиба демонстрировались уникальные кадры — о первых электростанциях в стране, затем показали монтаж и установку турбины в полмиллиона киловатт, которая одна вырабатывает столько электроэнергии, сколько вся Россия до 1913 года. К большим цифрам привыкли, но все-таки это нелегко было понять — одна турбина дает столько, сколько давала целая страна, — люди качали головами и говорили: вот это паровичок!

Кино закончилось, фонтанские бросились к трамваям, а те, что вышли из трамвая, побежали к троллейбусам, которые по пути в центр города останавливаются у главных ворот центрального парка. Собственно, ворот, как и заборов, давно уже нет, но по старой привычке, когда за вход брали полтинник, говорят: главные ворота.

Городок аттракционов и танцевальная площадка освещались цветными прожекторами. Самолеты и лодки, перемещаясь в вертикальных плоскостях, попадали в зоны синего, красного и зеленого света, и хотя прожекторы были неподвижны, возникало отчетливое ощущение сказочной феерии, даже не феерии, а просто уже шабаша красок, хохочущих человеческими голосами.

На танцевальной площадке, окруженной решетчатой оградой, джазист Борис Шпирт исполнял перед микрофоном соло на барабане. Через каждые пятнадцать-двадцать секунд он подбрасывал палочки, но барабанная дробь становилась все гуще, все быстрее. Это казалось непостижимым, появилось чувство тягостного напряжения, когда каждый миг опасаешься срыва, и едва солист сделал последний удар, сбросив палочки на барабан, люди перевели, наконец, дыхание и неистово захлопали. Барабанщик потряс правой рукой в воздухе, приветствуя толпу, но восторг не терял своего накала, тогда он простер обе руки к зрителям, пытаясь сделать невозможное — единым движением заключить всех в свои объятия.

— Мо-ло-дец! — скандировала площадка в один голос. — Мо-ло-дец!

К микрофону на помосте подошла ведущая.

— Дорогие друзья, — сказала она, — а сейчас мы предлагаем каждому из вас продемонстрировать свое мастерство. Победители получают ценные подарки. Итак, начинаем конкурс! Начинаем конкурс!

По просьбе ведущей двадцать человек взошли на помост, стали в одну

шеренгу и вытянули правые руки ладонями кверху. Продвигаясь вдоль шеренги, ведущая клала на каждую ладонь резиновый шар и громко, чтобы все хорошо слышали и не возникало недоразумений, объясняла: первое место и ценный приз присуждаются тому, кто надует самый большой шар, на состязание дается три минуты, по истечении этого времени прикасаться губами к шару нельзя — нарушители исключаются из конкурса.

— Внимание, — скомандовала ведущая, — старт!

Пятнадцать человек принялись сходу на предельной скорости наполнять шары воздухом. Пятеро остальных спокойно разминали и прогревали резину, эти пятеро опасались только друг друга, потому что у семи из пятнадцати шары уже лопнули, и участь восьми, которые еще держались, тоже была предрешена.

Когда шар лопался, зрители смеялись и норовили заглянуть в будущее: а сейчас зеленый, давай, зеленый, не тяни резину!

За удачный прогноз не требовали ни награды, ни признания, ограничивались похвалой пострадавшему: молодец, зеленый!

Пятеро, как и следовало ожидать, держались дольше всех, но только двое пришли к финишу — парень и девушка. Причем у парня случилось что-то непонятное: ведущая развела руки, чтобы определить размеры, и шар вдруг лопнул. В этот раз никто не смеялся, напротив, возникло чувство досады и несправедливости, хотя, с другой стороны, судьба и есть судьба, винить некого.

Первое место и приз — глазированная деревянная миска с глазированной деревянной ложкой — достались девушке. Получив награду, девушка спустилась с помоста, все смотрели на нее, на шар, который принес ей победу, и говорили восхищенно:

— Первое место взяла. Молоток!

Победительница держалась с достоинством, успех нисколько не вскружил ей голову, и когда из толпы посылали поздравления, она в ответ только улыбалась, чуть-чуть пожимая плечами, как будто ничего такого особенного не сделала.

После конкурса продолжали танцы. Танцевали вальс, танго, медленный и быстрый фокстроты, твист, шейк. Больше всего шейк, и ведущая, объявляя его в третий, в пятый и даже десятый раз, обязательно делала паузу, заговорщицки улыбалась, а публика неизменно отвечала ей аплодисментами.

В Дюковском саду, который главный парк для двух больших районов города, Молдаванки и Красной Слободки, шейк не пользовался таким

успехом — здесь больше танцевали твист, и потому ведущая, которая хорошо знала вкусы здешней молодежи, приглушенным интимным голосом объявляла твист.

В саду было очень тепло, много теплее, чем в парке у моря. С прудов поднимался пар, белые и черные лебеди скользили плавно, бесшумно, и оттого что при движении их не возникало никаких звуков, хотелось бросить в пруд камень, чтобы у воды появился свой привычный голос.

На стене возле биллиардной афиша напоминала посетителям, что в саду их ждет золотая листва, озерная гладь, прозрачный воздух, белые и черные лебеди, а на площадке "Снежинка" — современные, бальные и народные танцы, а также игротека, где каждый может получить шашки, шахматы, домино, словом, что пожелает.

— Дорогие друзья, — голос ведущей был торжественный, как всегда при добрых больших вестях, — а теперь объявляется конкурс! Победители получают очень ценные подарки. Начинаем конкурс! Бег в мешках!

У ног ведущей на помосте лежало двадцать мешков, поэтому, объяснила она, в конкурсе одновременно могут участвовать только двадцать человек.

...На последней четверти дистанции вперед вышли трое — две девушки и парень в мичманке, курсант мореходного училища. Мужчины подстегивали парня свистом и требовали обязательно победы, потому что иначе он опозорит рябчик, а женщины требовали от своих, чтобы те непременно обошли рябчик и взяли первый приз. Но метрах в десяти от финиша реальный разговор мог быть уже только об одной девушке в оранжевой куртке, которая шла, как говорят специалисты, голова в голову со своим соперником — курсантом из мореходки.

Те, которые стояли подальше, теснили передние ряды, и ведущей приходилось беспрерывно напоминать публике, что коридор должен оставаться достаточно широким, иначе конкурс можно сорвать в самом интересном месте.

Строго говоря, напоминания эти были излишни, потому что никто не желал срыва конкурса, но некоторые нарушения, как всегда при большом накале, были просто неизбежны.

Когда до финиша оставалось не более четырех с половиной — пяти метров, девушка в оранжевой куртке упала. Это была полная неожиданность: видимо, сказались нервное напряжение и усталость, которые проявляют себя иногда внезапно. Моряк по инерции продолжал двигаться вперед, и женщины поникли головами, а мужчины с беспощадной откровенностью праздновали победу, которая была уже почти в кармане. Но вдруг

курсант остановился, сделал несколько шагов назад и сказал девушке: "Поднимайтесь, я подожду".

Чтобы встать на ноги, девушке понадобилось секунд пять, и это было очень хорошее время, поскольку правилами запрещалось пользоваться при подъеме руками. В результате девушка шла вначале даже с некоторым опережением, потому что первый шаг моряк сделал не одновременно с ней, а чуть попозднее. Теперь ликовали женщины, а мужчинам оставалось только негодовать на их неблагодарность, но факты всегда убедительнее отвлеченных рассуждений, и приверженцы курсанта воспряли духом опять лишь у самого финиша, когда тот сделал фантастический рывок вперед и минимум на полкорпуса опередил свою соперницу.

Как ни странно, преимущество в полкорпуса многим показалось недостаточно убедительным: одни говорили, что дистанция неточно измерена, другие, что мешки разные, и по предложению ведущей было избрано специальное жюри.

После недолгого совещания жюри объявило свое решение: учитывая справедливые возражения многочисленных зрителей, разделить первое место и приз пополам.

Как и следовало ожидать, нашлись такие, что были недовольны, но публика в целом одобрила решение жюри, и когда победителям вручили приз — одеколон "Черемушки", — моряк тут же передал его целиком девушке, — площадка разразилась аплодисментами и криками "мо-лод-цы!".

Призерам было предоставлено право выбрать по собственному желанию танец. Выбрали твист, оба, девушка в оранжевом и курсант, танцевали сдержанно, без выкрутасов, но со страстью, которая выявлялась в темпе и напряженном ритме.

Потом танцевали краковяк, казачка, медленный и быстрый фокстроты, женское танго, вальс и один или два раза шейк. На казачка был объявлен конкурс, за лучшее исполнение получил приз — мыло "Семенное" и зубную щетку — ремесленник из училища номер семнадцать при заводе "Красная гвардия".

В первом часу ведущая подошла к микрофону и печально шепотом сказала:

— А теперь, друзья, спокойной ночи, до завтра.

Курсант и девушка в оранжевом остановились у пруда, где белые и черные лебеди устроились под ивой на ночлег.

— Наше общежитие за мостом, — сказал курсант, — моя комната на пятом, девятое окно слева.

Он поднял ее руку и, держа на весу, пересчитал окна слева направо.

Потом они пошли в город. Сначала долго петляли по пустынным переулкам с длинными одноэтажными домами, передразнивали собак, которые рады были случаю полаять на чужих за воротами, а у Комсомольской, где кончается Молдаванка и начинается центр, она сказала, хватит валять дурака, не то люди бог знает что подумают.

На углу Дерибасовской и Советской Армии они остановились у афишной тумбы с красным флажком на маковке.

Всем, всем, всем! Временное правительство низложено! Власть в столице захватил Петроградский военно-революционный комитет! Одесский союз рабочих железнодорожных мастерских целиком поддерживает Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов!

"Солдатская мысль", 26 октября 1917 года, № 182: положение в Петрограде в точности еще неизвестно, но ясно, что время бессовестного обкрадывания трудового народа в его правах и векового обмана народа в его вере навсегда кончилось. Редакция извещает своих подписчиков и всех читателей, что за строку объявления впереди петита — один рубль, позади петита — 70 копеек, для ищущих труда — 20 копеек за три строки. Адрес редакции: Одесса, улица Троицкая, 23.

— Смотри, — сказал он, — уже без десяти два, а иллюминацию не выключают.

Она пожала плечами: праздник, Октябрю полвека, потому не выключают, и до самого утра гореть будет.

В два часа иллюминацию выключили, но света все равно было много: горели лампы в витринах, в окнах и за огромными стеклянными стенами нового ресторана в четыре этажа — "Юбилейный"...



Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК

"Городок" — пятый угол!

От редакции. Недавно Юрию Стоянову и Илье Олейникову исполнилось 110 лет на двоих. Друзья родились в один день — с разницей в 10 лет. Перевалив вековой рубеж, они этого как бы и не заметили. А мы желаем им "взять и вторую сотню".

Сегодня Стоянов и Олейников предстают перед нами как персонажи уморительной драмы, развернувшейся на шести дачных сотках.

На 170 миллиардах соток

Драма в 10 актах и без единого действия

Основана на реальных событиях, имевших место в Городке № 160 в 2007 году

Бездействующие лица:

ПРОФЕССОР — профессор-ботаник на пенсии, лет 65. Типичный ботаник.
МУЖЧИНА — человек без определенных занятий, лет 50. Типичный тип.

Акт № 1

Посреди зеленой лужайки на подстилке с нехитрым закусоном расположился простой мужичок. Рядом воткнута в землю лопата — в извечной войне с ленью здесь явно объявлено перемирие. Мужик жует, с трудом отмахиваясь от назойливой мухи, вдруг выражение его лица меняется.

М.: Эй, дедуля! Ты что тут бродишь? Это МОЙ участок. Мой!

Неподалеку стоит Профессор — "божий одуванчик" в панамке, с рюкзачком и сачком. Он идет к мужику.

П.: Ваш? Странно... Мне когда-то тут под огород 6 соток выделили. Раньше приехать все времени не было, а теперь вот вышел на пенсию и сразу как-то потянуло...

М.: Так это возраст у тебя такой, уже к земле тянет. Только это мои 6 соток. Там (*Показывает в сторону.*) возле моей развалюхи 6, ну и тут еще 6.

П.: Погодите, но это мне же тут сотки выделили. По закону... А у вас документ есть?

М.: Ха! По закону? А у меня бери выше. (*Гордо.*) Я их занял САМОВОЛЬНО! Понял?

П.: Не понял! Вы, видимо, рассчитываете на так называемую дачную амнистию? Так это не выйдет!

М.: Не выйдет? Да я уже вышел! И как раз по амнистии. Документ показать?

П. (*несколько струхнув*)**:** По амнистии? Ну ладно... Мне и рядом тут где-нибудь места хватит. (*Оглядывается по сторонам.*)

М.: Точно, хватит! У меня вот карта. Заброшенной земли — куча. Выбирай! Сейчас... (*Достает из-под закуски карту.*) Найдешь себе 6 соток.

П.: А ну-ка, ну-ка... Можно глянуть?

М.: А вот... (*Разворачивает карту — это карта России.*) Тут этих соток... 170 миллиардов! Должно хватить.

Акт № 2

Мужик жует, продолжая отмахиваться от назойливой мухи, поднимает голову и снова видит Профессора.

М.: Опа! Чего вернулся, дед? Зачем меня от работы отвлекаешь?

П.: И все-таки это нехорошо — занимать чужие сотки. Можно сказать, вы меня ограбили среди бела дня! Это беспредел! (*Сам испугался своих слов.*) Ой...

М.: Зачем такие слова говоришь? А вот если б я тебя ночью в темном переулке ограбил? Это как?

П. (*растерялся от неожиданного вопроса*)**:** Э-э... Нет, ну, если ночью, и в безлюдном месте... Это нормально. А вот так — это уже никуда не годится. Это уже вообще!

М.: Не пыхти! Дед, ну чему ты удивляешься — мало тебя за твою жизнь грабили? Вот тебе сейчас пенсию назначили?

П.: А как же! Как положено.

М.: И много тебе положено?

П.: Вообще-то, гроши, конечно.

М.: Вот! Разве это не грабеж? Так что же ты не кричишь и в милицию не бежишь? А? (*Машет рукой и ловит муху в кулак, говорит, обращаясь к кулаку.*) Ну всё, сейчас я тебя прибью... (*Профессор в испуге семенит прочь.*)

Акт № 3

Мужик кричит Профессору, который с опаской выглядывает из-за забора.

М.: Эй, дед! Иди сюда, а? Поболтаем! А то скучно мне тут одному.

П.: А вы один живете? Без жены?

М.: Да сбежала она, зараза такая.

П.: Понимаю... Это пока вы сидели, да?

М.: Нет, потом уже. Пока я с ее подружкой по югам мотался. Не повезло мне с женой.

П.: М-да... Ой, извините, наверное, не совсем деликатно мне было интересоваться.

М.: Да ладно тебе извиняться. Ты, похоже, единственный человек во всем мире, кого это вообще интересует.

П.: Да? Ну, а соседи? Соседи у вас как? Хорошие?

М.: Обычные соседи. Нормальные.

П.: Вот! Хоть с соседями вам повезло! В наше время это не всегда бывает.

М.: Да люди как люди. Как везде! Только вот сильно они мне завидуют.

П.: Вам?!

М.: Ну да. Я же попал под амнистию, а им за убийство еще сидеть и сидеть...

Акт № 4

П.: Я смотрю, вы копать собрались? Может, я помогу? Заодно разомну старые кости.

Профессор берется за лопату, но не может ее вытащить из земли.

М.: Ты, дед, лучше садись, поболтаем перед работой, как у нас заведено. А земля это ничья, от города же далеко, про нее все и забыли, так что занимай любой участок.

П.: Неужели забыли? Ну ничего, тут еще такой урожай будет, мы еще всем покажем!

М. (*удивленно смотрит на профессора и качает головой*)**:** Дедуля, ты в какой стране всю жизнь жил? Забыл? Сиди тихо — никому мы ничего не покажем.

П.: Почему?

М.: Если у нас кому-то что-то кем-то забытое показать, завтра же об этом вспомнят и отнимут...

П.: Что вы, нет! Сейчас все уже не так. Все поменялось! Завтра ничего не отнимут!

М. (*иронично*)**:** Ага. То есть пока можно спать спокойно. Отнимут послезавтра.

Акт № 5

М.: Садись, дед, угощайся. Слушай, тебя как зовут?

П. (*протягивает руку*)**:** Извините, я не представился. Профессор Уткин Ювеналий Аполлинарьевич.

М.: Как?

П.: Можно просто профессор.

М.: Ага. Семенов Василий Дмитриевич. Можно просто Вася.

П. (*скороговоркой*)**:** Василий, мне как отечественному ученому с огромным опытом работы с людьми, прежде всего, необходимо задать вам один важный вопрос, который определит специфику отношений между нами на ближайшие несколько часов.

М. (*офонарев*)**:** Чего?

П.: Короче, вы пьете? (*Достает из рюкзака бутылку водки.*)

Акт № 6

Они сидят на подстилке. Уже выпили по парочке.

П.: Ах, как же хорошо на природе! (*Потягивается, лениво.*) Ну что, может, начнем что-нибудь копать-сажать?.. У вас еще одна лопата есть?

М.: Э-э, а еще профессор... Нельзя так! То за одно дело, то за другое. Мы же еще это дело не закончили. (*Показывает полбутылки водки и наливает.*) Слушай, а сачок ты зачем взял? Как маленький, ей-богу.

П.: Вы тут, я вижу, телевизор не смотрите. Недавно показывали, как один гражданин случайно поймал за городом красивейшую бабочку. Прославился на всю страну.

М.: М-да. Больше им показывать нечего... А вот я как-то тоже поехал за город на маевку и там поймал сразу пару красивых бабочек. Правда, потом на одной из них мне пришлось жениться...

Акт № 7

Чокнулись, выпили.

М.: Хорошо! Но...

П.: Неужели пора за работу?

М.: Но... душа песни просит.

П.: Замечательно! Наша земля полна талантов!.. Жаль только, что я лично не пою. Слушаю вас!

М.: Так и я тоже не пою. М-да... А говорите, что наша земля полна талантов.

П.: Просто, видимо, все таланты уже в ней, в земле... Ха-ха! Наливайте!

Акт № 8

Мужик вытирает пот со лба.

М.: Фу! Жарко сегодня. Невозможно пить в таких условиях. Но для нашего человека нет ничего невозможного!

П.: Это все глобальное потепление. Вообще, положение в мире хуже некуда. Реки загажены, земля загажена, в воздухе черт знает что. Экологи бьют тревогу!

М.: Кто?

П.: Борцы за природу. Не слышали? Их еще называют зеленые.

М.: А, эти. Так они не только тревогу бьют. Они бьют витрины, машины и полицейских, я по телику смотрел.

П.: Ну, это за границей. У нас в России такого безобразия нет!

М.: Это верно. У нас реки загажены, земля загажена, в воздухе черт знает что... Но безобразия нету!

Акт № 9

П. (*не вставая с подстилки*)**:** Ну, всё! Давайте работать! Руки труда требуют!

М.: Не, еще не все. (*Показывает, что в бутылке еще есть и доливает остаток.*) А ты, профессор, нормальный мужик. Хоть и профессор.

П.: Вы извините, но раз уж мы так по-свойски... А почему вы попали в тюрьму?

М.: Статья 158, кража. Оказалось, что мы с директором завода вместе воровали — я тырил с завода лампочки, и мне за лампочки дали три года. А директор стырил весь остальной завод.

П.: А ему сколько дали?

М.: А ему за завод дали три миллиона долларов.

Акт № 10

Мужик приносит Профессору лопату.

М.: На! Раз уж тебе так хочется — копай!

Профессор собирается копать, но останавливается, слышны трели птиц, он поднимает голову.

П.: Знаете, а ведь тут действительно такая природа, что даже ничего не хочется нарушать, тревожить, ранить эту землю лопатой...

М.: Скажи честно — копать не хочу!

П.: Честно? Ха-ха! Копать не хочу! Хотя вначале эта идея показалась мне такой привлекательной: природа, лопата, огород...

М.: Вот ты — видно, что профессор. Очень правильное слово сейчас сказал — идея! Я вот здесь обитаю и все думаю, чего мне не хватает? Чего? Сейчас понял — идеи!

П.: А что если идея такая — построить здесь на этих 6 сотках маленькую сказку? А? Хороший сад, огород, колодец, а?

М.: Отличная идея! Очень! Но скажу честно — КОПАТЬ я тоже не хочу!.. Еще идеи есть?

П.: Сейчас... (*Думает.*) Есть! Пойти в гастроном!

М.: Гениально! Ты врешь, ты не профессор. Ты академик! Точно!

Они в обнимку уходят, оставляя воткнутые лопаты, слышно, как они переговариваются.

П.: А на самом деле копать смысл все-таки есть!

М.: Да ну... Разменять жизнь на огурцы? А для души что?

П.: Нет, насчет огурцов я согласен — это нонсенс и бездуховность. Но вдруг копнем, а там нефть или газ?

М.: А вот это уже пошел серьезный разговор, профессор! Вот тут надо будет напрячься и поработать так поработать... Но закуски у меня хватит!

Конец



Феликс КОХРИХТ

Пушки Спиналонги

В блаженные времена, когда на Крите царила Минойская династия, здешние дворцы строились без сторожевых башен и крепостных стен. Критяне не воевали друг с другом, а от внешних врагов их охраняли не только бушующее море, но и покровительство богов, охотно создававших временные семьи с местными красавицами. Предметом межвидового скрещивания может служить Минотавр — чудовище с головой быка и телом человека. Более удачные варианты — герои-мутанты вроде Геракла, прославившегося своими подвигами...

Увы, те времена (а было это тысячелетия назад) минули. Минойская цивилизация погибла под пеплом грандиозного взрыва вулкана острова Санторини, где, по мнению некоторых современных ученых, находилась легендарная Атлантида. Крит стал ареной единоборства могущественных сил, сражавшихся за господство над Средиземноморьем. На протяжении веков остовом владели эллины, римляне, арабы, венецианцы (600 лет!), турки. С тех пор здесь сохранились крепости, в одной из которых мы побывали во время очередного путешествия на Крит.

Цитадель Спиналонга расположена на восточном побережье, неподалеку от современного фешенебельного курорта Элунда. Ее возвели в 17 веке венецианцы — последние защитники христианства в этом регионе. К тому времени под натиском турков пали защитники Родоса и Кипра, и лишь гарнизон Спиналонги держался. Этому способствовали не только мужество солдат и местных жителей, опыт генералов — соратников Отелло, но и искусство лучших фортификаторов Республики дожей во главе со знаменитым инженером Микеле Санмикели. Он спроектировал и построил стены крепости под особым углом, и вражеские ядра отлетали от них с меньшим ущербом для оборонявшихся. Пушки, установленные на бастионах, простреливали кинжальным огнем и морское пространство, и подходы с суши.

Спиналонга продержалась пятьдесят лет, но все же пала — не в результате очередного штурма, а благодаря восточному коварству турецких военачальников. Им удалось уговорить уставший гарнизон сдаться на почетных условиях, но своих обязательств они не выполнили — убили офицеров и взяли в рабство солдат...

Турецкий флаг реял над крепостью почти триста лет, но в начале 20-го века уже критянам удалось перехитрить захватчиков. Местный магистрат волевым порядком внезапно перебросил за крепостные стены секретное

оружие — несколько сотен больных проказой, которая тогда была неизлечимой и внушала ужас даже янычарам...

И те в панике бежали из цитадели, а на месте казарм и фортов расположился лепрозорий. Нам показали бухту, куда подходило суденышко с продуктами и лекарствами для несчастных. Матросы сбрасывали тюки и бочки в воду, и больные крючьями подтягивали их к берегу...

Перед первой мировой войной лепрозорий перевели вглубь острова, и местные жители начали понемногу вновь обживать кварталы поселения за крепостными стенами. В 1940 году Греция выступила на стороне антигитлеровской коалиции. Ее армия и английские войска мужественно сражались против немцев, которым удалось взять Крит лишь с воздуха: на остров был высажен парашютный десант — самый крупный за всю войну. В подземельях и секретных ходах Спиналонги обосновались партизаны, здорово досаждавшие оккупантам.

Я взбирался на крепостные стены, заглядывал в орудийные казематы и вспоминал другой греческий остров, на котором разворачивались захватывающие события, ставшие основой любимой книги моей юности, а затем и фильма — "Пушки острова Наварон", герои которого — английские коммандос (Грегори Пек) и греческие патриоты (Энтони Куин) — сорвали крупнейшую операцию гитлеровцев на Средиземном море...

Участников критского Сопротивления, доживших до наших дней, можно узнать по одежде. Поджарые усатые мужчины (язык не поворачивается назвать их стариками) с завидной выправкой носят черные рубахи, жилеты, брюки, заправленные в высокие сапоги, пояса с серебряным убранством украшают старинные кинжалы, а в их гостиных на коврах висят ружья и сабли, с которыми они и их предки шли в бой с врагами, о которых мы рассказывали вам выше...

Мы видели бывших партизан на улицах горных селений, куда добирались и пешком, и верхом на добрых критских лошадях. В разгар сиесты, когда все население прячется за стенами белых домов с синими ставнями, в их тени можно увидеть ветерана с супругой, потягивающих ледяное фраппе — кофе с мороженым, а то и домашнее винцо...

Его-то (красное, розовое, белое), а также местные водки — виноградную ракию (до еды) и анисовую узу (после трапезы) мы вдоволь и с особым удовольствием пили 9 Мая — в День Победы, который свел за праздничным столом в прибрежной таверне бывших граждан СССР — ныне подданных России, Украины, Беларуси, Молдавии, Казахстана, Армении, отдыхавших на Крите.

Местные жители смотрели на нас с удивлением — они отмечают окончание второй мировой на день раньше и, честно говоря, не особенно бурно...

Впрочем, за тысячелетнюю историю Крита здесь прогремело столько сражений...

* * *

Когда на Крит с утра летишь
над бездной синей-синей,
под крылом самолета о чем-то грустит
палач Атлантиды вулкан Санторини...

* * *

Попасть ко Всеблагим на Пир!
И избегая рифмы "кир",
надраться нектаром без страха и лени...
Уснуть на Пиру, сунув голову Ей —
Елене Прекрасной — в благие колени...

* * *

А вы когда-нибудь дерзали
в объятьях греческих азалий?

* * *

В городе Маля — Первое мая!
— Кошка больная?
— Не знаю, не знаю...

* * *

Легендарный Херсониссос!
Ты когда-нибудь приснишься:
твои пляжи-полускалки,
дым сувлаки* полусладкий,
сувенирное узу...
И консьержки нашей профиль,
так похожей на козу...

* Греческие шашлыки

* * *

Восьмое — День Победы европейский...
Но помнят наши деды день другой —
Девятое.
Рисует Теркина Верейский,
горит поверженный Рейхстаг,
и немки перепуганно лепечут: "Guten Tag!".
Гречанки нынче — НАТО членки:
мелькают резво смуглые коленки...
А ведь грозили им гестаповски застенки,
когда бы не упрямство англичан,
не злость и грусть друзей-однополчан...
В Херсониссосе — простите за названье...
Не правда ли, в нем есть очарованье?
В отеле "три звезды", что тянет на старлея,
не требуем, а просим мы вниманья...
Но здесь в почете пацифисты-геи!
А нам хотелось утром — спозаранку —
спеть грекам про печурку и землянку,
и принявши ракии до обеда,
тухмановский исполнить "День Победы"...
И мы девятого уходим в горы, как когда-то
в атаку шли герои фильма "Аты-баты..."
В ночь на десятое я видел дивный сон —
Про пушки и про остров Наварон...
Мне снились Леня Быков, Гриша Пек...
Одесса. Крит. Май. Двадцать первый век...

* * *

Когда тяну я критское вино,
взгляд устремив на критских гор отроги,
прошу: "Не беспокой, не тереби меня,
румяный критик мой и строгий..."

Тайны одесских катакомб могут поспорить с "Петербургскими тайнами"



Во Всемирном клубе одесситов состоялась презентация сразу двух книг известного одесского краеведа и писателя Олега Губаря.

"Новые вопросы о старой Одессе" — продолжает начатый в книжке "Сто вопросов об Одессе" увлекательный рассказ об интересных эпизодах жизни нашего города. Эти книжечки просто необходимо иметь каждому интересующемуся своим городом одесситу, их очень приятно дарить гостям и удобно брать с собой в поездку в качестве сувениров. Книга вышла в издательстве "Optimum" с иллюстрациями Геннадия Гармидера и Татьяны Поповиченко.

Вторая, а по значению, очевидно, первая, — "Одесские катакомбы". Сокращенный вариант этого "Сценария с комментариями по мотивам одноименного романа В. Правдина" печатался прошлым летом в "Вечерней Одессе". Почему сценарий? Почему с комментариями? Кто такой Правдин?

Сценарий — потому что мысль об использовании "нарытого" материала из истории Одессы для создания телесериала посетила автора при просмотре известных "Петербургских тайн". С комментарием — потому что хотелось рассказать о совершенно документальном соответствии описанного в сценарии подлинным одесским событиям, имевшим место в Одессе последней четверти XIX века.

Задели эти события исследователя одесской старины (и думаю, заденут каждого читателя) своей невероятной схожестью с тем, чем ознаменовалась жизнь нашего города в конце XX — начале XXI веков. Коррупция, рэкет, торговля людьми, дележ сфер влияния в экономике и торговле, заказные убийства... Только терминология у всех этих и других темных явлений была иная. Олег Губарь уверяет, что использованный в книге сленг (со сносками-пояснениями) — собранный им по крупицам подлинный одесский сленг того времени, абсолютно эксклюзивный (до сих пор, говорит, ему доводилось читать слабые подделки этого сленга). Автор не злоупотребляет сленгом, но аромат времени вносит. А историко-бытовой

фон, как пишет автор в комментарии, "максимально приближен к реальному на основании всех имеющихся исторических первоисточников".

Конечно, как в любом литературном произведении, каковым является сценарий фильма, наряду с реальными лицами и событиями здесь присутствуют персонажи и события, домысленные автором, но все они не отступают от сюжетной канвы, зафиксированной в исторических документах, в газетных публикациях тех времен.

В общем, читать будет интересно и любителям "мыльных опер" с таинственными (в том числе любовными) приключениями, и почитателям документального жанра.

Во время презентации высказывались мнения, что за экранизацию этого сценария не стыдно было бы взяться Голливуду... Есть сведения и о вполне реальных переговорах о создании телесериала с некоторыми московскими продюсерами. Так что поспешите приобрести книгу — как известно, интерес к изданию сильно повышается с его экранизацией, а тираж невелик — тысяча экземпляров.

Вышла книга в издательстве "Зодиак". Она элегантно иллюстрирована Сергеем Юхимовым. В оформлении Анны Голубовской использованы документальные элементы — цитаты из газет, реклама, афиши того времени.

Людмила ГИПФРИХ

От коллекции до поэзии



"Тарасів дім"
Український культурологічний
музейно-виставковий центр
Одеса, 2006

Собрание "Одещина — Шевченко" принадлежит коллекционеру Тарасу Максимюку, автору этого альбома. Многие годы собирая материалы, связанные с биографией Шевченко, с украинской культурой, он мечтал о создании музея. И сегодня эта мечта остается не воплощенной. Но "виртуальная реальность" все больше обретает черты задуманного исследователем и коллекционером. И один из шагов навстречу подлинной реальности — издание облгосадминистрацией этого альбома.

фон, как пишет автор в комментарии, "максимально приближен к реальному на основании всех имеющихся исторических первоисточников".

Конечно, как в любом литературном произведении, каковым является сценарий фильма, наряду с реальными лицами и событиями здесь присутствуют персонажи и события, домысленные автором, но все они не отступают от сюжетной канвы, зафиксированной в исторических документах, в газетных публикациях тех времен.

В общем, читать будет интересно и любителям "мыльных опер" с таинственными (в том числе любовными) приключениями, и почитателям документального жанра.

Во время презентации высказывались мнения, что за экранизацию этого сценария не стыдно было бы взяться Голливуду... Есть сведения и о вполне реальных переговорах о создании телесериала с некоторыми московскими продюсерами. Так что поспешите приобрести книгу — как известно, интерес к изданию сильно повышается с его экранизацией, а тираж невелик — тысяча экземпляров.

Вышла книга в издательстве "Зодиак". Она элегантно иллюстрирована Сергеем Юхимовым. В оформлении Анны Голубовской использованы документальные элементы — цитаты из газет, реклама, афиши того времени.

Людмила ГИПФРИХ

От коллекции до поэзии



"Тарасів дім"
Український культурологічний
музейно-виставковий центр
Одеса, 2006

Собрание "Одещина — Шевченко" принадлежит коллекционеру Тарасу Максимюку, автору этого альбома. Многие годы собирая материалы, связанные с биографией Шевченко, с украинской культурой, он мечтал о создании музея. И сегодня эта мечта остается не воплощенной. Но "виртуальная реальность" все больше обретает черты задуманного исследователем и коллекционером. И один из шагов навстречу подлинной реальности — издание облгосадминистрацией этого альбома.



Василий РЕШЕТНИКОВ
Смешные приключения серьезных людей
Одесса, "Печатный дом", 2006

Василий Решетников — киносценарист. Вся его творческая жизнь связана с одесской киностудией. Но до этого было детство, затем ВГИК, а сейчас — то ли сельская жизнь, то ли жизнь дачников. И все эти этапы — встречи с интересными людьми. Будь то Василий Шукшин, Владимир Высоцкий... Дар Василия Решетникова таков, что из всякой встречи он извлекает комедийное зерно, улыбку. Так появилась и эта веселая книга невыдуманных историй, только, может быть, чуть-чуть приперченных и присоленных.





Николай ДРОННИКОВ
Клошары
Игорь ПОТОЦКИЙ
Новые стихи о Париже

Поэт Айги
и художник Дронников
Одесса, "Друк", 2007

Только недавно вышел двухтомник сочинений Игоря Потоцкого. И вот реализован новый проект. Это уже не тома, вобравшие "избранное", и книжки-альбомы, где Игорь Потоцкий скорее составитель, а главный автор — замечательный русский художник Николай Дронников, живущий в Париже.

Дружба Н. Дронникова со знаменитым поэтом Геннадием Айги позволила в Одессе издать и вторую книгу, куда вошли дневники Дронникова, стихи Айги и новые стихи Игоря Потоцкого.

Книги великолепно изданы в издательстве "Друк" и получили заслуженные награды на выставке "Зеленая волна" в Одессе.





Евгения ПЛАТОНОВА
Задворки
Одесса, "Полиграф", 2007

Евгения ПЛАТОНОВА
Такая игра
Одесса, "Полиграф", 2007

Две книги одного автора, помеченные нынешним годом. Миниатюрные рассказы и рассказы традиционные. Но главное не форма — главное, в Одессе появился новый прозаик с доброй душой, стремящийся сказать всем нам, как правильно (и неправильно) мы живем. Думаю, у этих книг будет много читателей, хоть небольшой у них тираж — 300-500 экземпляров. Потому что разговор в них ведется от сердца к сердцу, так, чтобы затронуть наши души.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

Содержание

От редакции 3

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ
На памятник Бабелю — всем миром 4

ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ

Александр ТРЕТЬЯК
Граф Рошешуар 8

Олег ГУБАРЬ
Пассаж 16

Валентина ОНОПРИЕНКО
Шабо 36

Александр ЧАЦКИЙ
Точность суждений 49

Лада ПРОКОПОВИЧ
Не понимаю! 56

ПРОЗА

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ
Саша из Белого города 60

Алекс СУКОНИК
Имитация дневника 82

Александр МАРДАНЬ
Разгрузочный день 94

Елена КОРНИЦКАЯ
Нинель 106

Елена САВИЛОВА
Яблоки твоего детства 113

Наталья КАУФМАН
Потерянный кот, или Естественный отбор 118

Ольга КИСЕЛЕВА
Две стороны окна 126

ПОЭЗИЯ

Илья РЕЙДЕРМАН
"Поет невидимая птица..." 140

Анатолий ГЛАНЦ
Одесса 153

Анна СТРЕМИНСКАЯ-БОЖКО
"Холодно нынче, любимый..." 157

Ирина БЕНЬКОВСКАЯ
Переводы с испанского 160

Елена ПАЛАШЕК-СТОРОЖУК
Уходи 169

Оксана МАКАРЧУК
Белые одежды 172

Татьяна ОРБАТОВА
Моветон 176

ДРАМАТУРГИЯ

Нина ПРИБУТКОВСКАЯ
Песни для детей старшего возраста 180

ЖИЗНЬ – ИСКУССТВО – ЖИЗНЬ

Амшей НЮРЕНБЕРГ
Одесса — Париж — Москва 208
Публикация Ольги ТАНГЯН

Валентина КОГАН
История одного портрета 226

Анна БИЛЫК
Театрально-критическая элита "Одесского листка" 230

Роман БРОДАВКО
Народная артистка 239

Елена ГАВДЗИНСКАЯ
Этюды художника к портрету художника 245

Белла ВЕРНИКОВА
Как на ветру, во времени своем 249

ПУБЛИКАЦИИ

Марк БЕЛОРУСЕЦ
Целан и Мандельштам. Диалоги 266
Пауль ЦЕЛАН
Валлисская элегия 278

НАШИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Татьяна ЩУРОВА
"Стрелы" 284

АХ, ОДЕССА

Аркадий ЛЬВОВ
Праздничный вечер 290

Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК
"Городок" — пятый угол! 301

ПУТЕШЕСТВИЕ

Феликс КОХРИХТ
Пушки Спиналонги 308

ИЗДАНО В ОДЕССЕ

Людмила ГИПФРИХ
Тайны одесских катакомб могут поспорить с "Петербургскими тайнами" 313

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ
От коллекции до поэзии 314

Литературно-художественное издание

ДЕРИБАСОВСКАЯ — РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Одесский альманах

Книга 30

DERIBASOVSKAYA — RISHELIEVSKAYA

Odessa almanac

Book 30

Издается с 2000 года

Технический редактор Андрей Вишненко
Корректор Татьяна Коциевская

Оригинал-макет, верстка
ТИА "Вікна-Одеса"
Тел. 77-33-705

Подписано в печать 24.09.2007.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Формат 60x84/16
Физ. печ. л. 20,75. Усл. печ. л. 19,2
Зак. № 2. Тираж 500 экз.

www.odessitclub.org

Отпечатано в типографии издательства "Печатный дом"